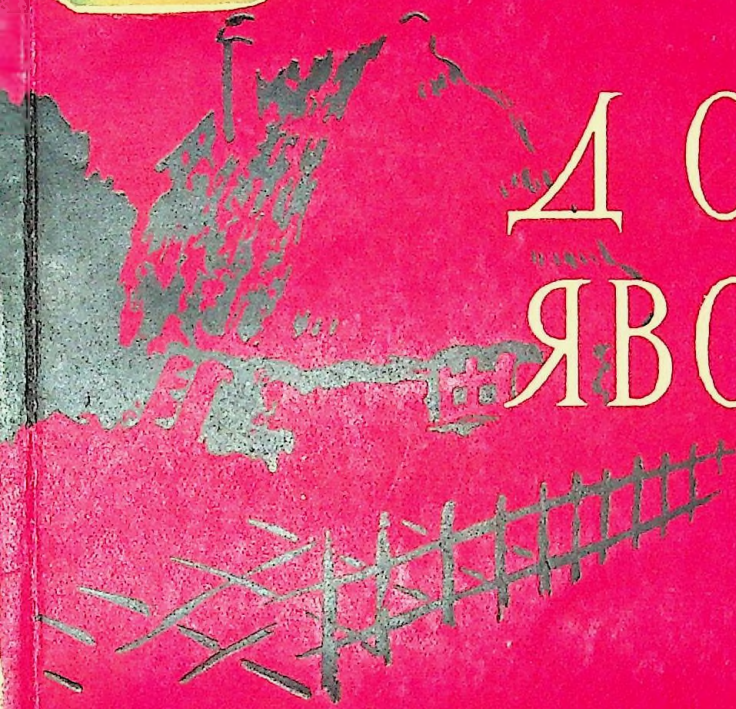


84.4 (Польс)
М-36

ВИЛЬГЕЛЬМ МАХ

ДОМ ЯВОРА



WILHELM MACH
JAWOROWY DOM
POWIEŚĆ

WARSZAWA, 1955

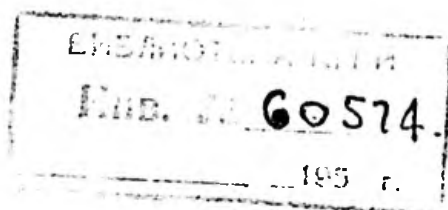
84, 4 (поль.)
М 36,

ВИЛЬГЕЛЬМ МАХ

Дом Явора

Перевод с польского
Ю. МИРСКОЙ

Редактор
Е. ЕГОРОВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1956



I

В БЕЛЯВЕ

Время у Яворов узнавали по солнцу. Если тень от стрехи подходила ко второй ступеньке крылечка, значит, наступил полдень. Часы в этом доме отслужили свой срок, Рапач принес их еще с первой мировой войны. Они часто останавливались. «Девушки, — кричала старая Рапачиха, — поглядите на часы! И несите пойло скотине». Так продолжалось много лет. Пастухи сменялись чуть не каждый год, но все они одинаково торопились к обеду: едва хозяйка успевала оповестить о наступлении полудня, как в приоткрытые ворота уже проталкивались возвратившиеся с пастбища коровы и, ревниво отпихивая друг друга рогами, совали жадные морды в лохань. Пойло всегда ставили в тени, под высоким тополем. С северной стороны дома огромные ветви тополя доставали до гребня крыши. Дверь и маленькое окошко комнаты выходили на запад. Под тополем, куда сливали из кухни воду, буйно разрослась трава, и Рапач вкопал там одноногий столик и три скамеечки, чтобы отдыхать по вечерам в летнюю пору. Тут не раз сиживал Константин Явор, когда стал бывать у Альдоны. Старика со старухой уже не было в живых, Тереза вышла замуж и переехала в Рыбки, следить за Альдоной было некому, дом стоял на отшибе. Убрав посуду и услав пастуха в деревню, девушка без всякой опаски выходила к Константию под тополь. Озябнув от ночной росы, они прощались, а иногда заходили в дом, не зажигая огня. Они поженились в середине августа 1939 года. Спустя две недели Явор ушел на войну. Родные Альдоны втайне надеялись — авось не вернется. Но он вернулся.

Болек Явор родился в июле 1942 года. В тот день, когда он появился на свет, пастух Щепанек пригнал коров

на добрый час раньше времени. Его удивил шум моторов на обычно тихой белявской дороге. Облако пыли, которое он увидел вдалеке, остановилось и рассеялось около лавки Сикоры. Щепанек подумал, что нужно поскорее сказать об этом учительнице панне Гожек. Он побаивался, как бы ему не влетело от хозяина, — у ворот он сразу заметил, что до полудня не хватает еще целой половины ступеньки. Две коровы и телка уже спешили к тополю и, обманувшись в своих ожиданиях, недовольно фыркали, раздувая горячие ноздри.

— Скотину поить! — набравшись храбрости, крикнул Щепанек.

Вышел Явор — лицо у него было красное, он, словно спросонок, часто моргал глазами.

— Не ори, Щепанек, — добродушно сказал он пастуху. — Ребенок родился.

Только теперь Щепанек заметил, что к стене прислонен велосипед, и сразу смекнул, в чем дело.

— Косоротая Сайдачка, — сказал он, похваляясь своей догадливостью, и, совсем как взрослый, деловито прибавил: — Наверно, дочка.

— Дурак. Сын! — напыжился Явор, ни о чем не стал спрашивать и вернулся в дом.

От дома Яворов до школы было не очень далеко, если пойти напрямик по лесным тропинкам. Щепанек бежал всю дорогу, запыхался. Дверь школы была заперта. Щепанек почему-то решил, что панну Гожек надо искать у Мруза. Смолистые бревна хаты лесника блестели на солнце. На поляне верещали невидимые сверчки и кузнечики. Мруз вышел из сарая, стряхивая с рук пыль и паутину. Узнав Щепанека, он шагнул назад и несколько раз топнул по отстающей доске настила, потом отодвинул стремянку от лаза на сеновал и положил ее на землю под стеной. Его суровое лицо смягчилось, и Щепанек почувствовал себя счастливым при мысли, что Мруз ему доверяет.

— Учительницы нет, — сердито сказал лесник. Но тут же добавил: — Да ты не беспокойся, Щепанек. Мы ведь следим.

— Так как же? Может, я вам нужен?

— Вечером сходи в Рыбки. Передай Терезе Соляж, что ее мужа ищут. Пусть он домой не возвращается. Мимо Сикоры не проходи, не нужно, чтобы тебя видели.

— Ах, да! — вспомнил Щепанек. — У меня для Соляжей есть новость. Тереза стала теткой, Сайдачка у нас в доме хлопочет...

— «У нас в доме»? — насмешливо прервал его Мруз. — Тебя что, в семью приняли?

— Ну, у Яворов... — Щепанек смутился и помрачнел.

— Что ж, — проворчал лесник, — два года прошло. Пора и ребенку быть. — Он сплел свои узловатые пальцы так, что они хрустнули, и Щепанек с удивлением, даже с испугом увидел, как побледнело его лицо и сверкнули глаза...

Сайдачка осталась на ночь. Альдона несколько раз теряла сознание. Из боковушки несло карболкой. Явор, подгоняемый окриками сварливой повитухи, приносил то холодную, то горячую воду. Ребенок родился хилый, и от стараний Сайдачки пока что было мало проку. В конце концов Явору надоела эта возня, он сорвал одеяло, висевшее на спинке кровати, махнул рукой и ушел на сеновал. Когда Щепанек выводил из сеней велосипед Сайдачки, до Константия донесся тонкий, протяжный, похожий на мышинный писк. «Ничего, выживет мальчонка...» — успокоился он.

Альдона долго болела. Не зря говорили люди, что семейная жизнь не для младшей дочки Рапачей. С детства она была хрупкой, и к ней очень подходило необычное имя, вычитанное старым Рапачем в книжке стихов. У девушки и ум был бойкий, и способности, но только не к крестьянскому делу, не к хозяйству. Отец выписывал газету; Альдона посылала в эту газету повестушки собственного сочинения, написанные тайком на листочках писчей бумаги. Бумага в лавке Сикоры все убывала, а в газете однажды появилась описательная поэма о крестьянской свадьбе, подписанная инициалами «А. Р. из Белявы»; тайна раскрылась, получив широкую огласку. Если бы дочка не была такой худой и болезненной, Рапач дал бы ей образование; но Альдона часто кашляла, и соседи, с тех пор как она прославилась, все вели мрачные разговоры насчет ее здоровья. Кто добрее, тот просто говорил, что у нее слабая грудь, а кто позлее и позавистливей, тот сулил девушке близкий конец от чахотки.

Может, она и не была так плоха, трудно сказать, ведь пока человек держится на ногах, он не обращается ни к знахарю, ни к врачу; даже самые просвещенные жители

Белявы предпочитали верить свое здоровье божьему попечению, что стоило недорого. У старого Рапача хватало других забот. Хозяйство его, прежде процветавшее, пришлось в упадок. От послевоенной инфляции Рапач ничего не выиграл — он дал себя облапошить Сикоре, который приехал тогда в их края и, не нарушая закона, начисто ограбил Рапача с такой же ловкостью, с какой вырывал больные зубы у членов своей семьи и близких знакомых. Сикора открыл лавку, потом взял у Рапачей в аренду пруд и стал разводить рыбу. Он был инвалид войны, сильно хромотал; ревностно поддерживая политику любого правительства, он без труда добивался нужных ему льгот и преуспевал. Как раз в ту пору единственный сын Рапачей без памяти влюбился в самую бедную девушку, какую только можно было сыскать в этом нищем, песчаном крае, бежал из дому и уехал вслед за нею в Америку. Девушка вышла там за другого, а Роман, видно, разбогател и жил холостяком. Время от времени он, точно в насмешку, присылал отцу заморские газеты и странные книжки, как будто божественные, а на самом деле невесть какие — от них только в голове мутилось. Старый Рапач, лишившись наследника, стал чудить и под конец притащил с чердака запрещенные американские брошюры. Как-то он заснул над иллюстрацией, изображавшей звездный дождь, да так и не проснулся. Рапачиха пережила мужа на два года. Сестра Альдоны, Тереза, жила уже на своем хозяйстве. Альдона осталась одна.

Когда-то Альдона мечтала об одиночестве, хотя никому и в голову не пришло бы заподозрить ее в этом. У Рапачей всегда было весело и шумно. У них часто собирався на спевки костельный хор, а кружок молодежи готовился к спектаклям. Когда в приходе начали коситься на вечерние собрания у вольнодумца Рапача, хор распустили. Кое-кто из молодежи вступил в церковное братство, остальные затаили упрямый, смутный протест.

Тогда у Рапачей почти каждый вечер бывал Павел Хмель, которого потом стали называть Профессором. Лозунги «Вицей»*, с которыми он выступал, поначалу увле-

* «Вици» — союз деревенской молодежи, организованный партией «Стронництво людове»; эту партию правые элементы во главе с руководством тянули в лагерь реакции, в то время как низы ее тяготели к союзу с рабочим классом. — *Здесь и далее примечания редактора,*

кали своим бунтарством. Белявская молодежь мало в чем разбиралась. Читать не было времени, учиться было не к чему — на белявских песках ничего, кроме ржи и картофеля, не родилось; беседы Хмеля о разведении садов и огородничестве нравились, как детские сказки. Помидоры, которые он как-то принес, решительно всем показались противными — кто ни пробовал их, все тут же под общий смех выплевывали с притворным ужасом. Не вязались ученые новшества с безысходной мужицкой нуждой. Хмель не поддержал даже Тадек Мруз, самый смелый во всей Беляве, и Хмель тогда еще не понял почему. «Неуч, дикарь, неотесанный мужик!» — с презрением ругал он мысленно Мруза. Они поссорились при всем народе. Хмель перестал бывать в Беляве. Ходили слухи, что они не поладили из-за одной из дочек Рапача, но толком никто ничего не знал. Над деревней словно пронесся порыв ветра и затих. И когда тревоги молодежи улеглись, как песок на лесистых холмах, все вернулись к «Янтарю Каси», «Цвету папоротника» и даже к «Посиделкам под крестом». Церковное братство пополнилось новыми членами. Сам ксендз настоятель просматривал пьесы, предназначенные для постановки. Тадек Мруз зарылся в лесу, словно пропал.

Незадолго до своего исчезновения Мруз, провожая Альдону лунной ночью домой с гулянки, объяснился ей в любви. Тадеуш открыл перед ней свои самые сокровенные мысли. Мруз-отец, старый лесничий, служивший в графском поместье, утратил бы душевный покой, если бы эти мысли стали известны Шиц-Нивискому — его господину и благодетелю. Но до поместья в Ружанцах было далеко, лесники, находившиеся в подчинении у старшего Мруза, были люди незлобивые и не интересовались делами, не связанными с браконьерством и кражей леса, а белявским крестьянам было выгодно жить в мире с Мрузами. Ксендз молчал до поры до времени, хотя много лет напрасно ждал, когда молодой Мруз придет в костел, не говоря уж об исповедадьне.

На Альдону напал страх. Безбожие, ожесточение и ненависть, которыми дышали слова товарища детских игр, испугали ее. Она не захотела его слушать и запретила приходить к ней. Не задумываясь, она очень резко отвергла его предложение. Нечаянный поцелуй обжег ее щеку. Она безутешно плакала... Он ушел рассерженный. — Так

Альдона впервые отказалась от счастья, и самоотречение ее было тем более мучительным, что она никому не поверила своей тайны.

Еще некоторое время все шло по-старому. Потом Альдона как-то увяла. Ей уже не хотелось быть первой в забавах и играх. По утрам она просыпалась в холодном поту, лоб у нее горел. Ее мучили кошмары. Она дала клятву, что не пойдет замуж. В доме попрежнему было одиноко и пусто.

За несколько лет до второй мировой войны крупные крестьянские волнения потрясли весь край и докатились до Белявы. Старого Мруза уволили. Тадеуша посадили на полтора года в тюрьму. Когда он вернулся в Беляву — не сразу, потому что сперва искал счастья где-то в городах, — у него уже не было ни отца, ни дома. Новый лесничий перестроил хату старого Мруза и поселился в ней. На клочке собственной земли в лесу Тадеуш поставил маленький домик — больше он уже ничего не успел сделать. Был август 1939 года. Вышел приказ о мобилизации, и Мруз оказался в одной части с Константием Явором. Константин отвоевался через неделю. Он привез домой две пары новых казенных сапог. Тадеуш дошел до Грубешова. Вернулся он спустя год с лишним, когда уже наступила вторая военная зима.

Они встретились неожиданно на лесной дорожке. Явор шел к новому лесничему Хетте. Тадеуш пристально посмотрел на сапоги Явора, спокойно сказал:

— Ты, Явор, думал тогда, что я мертвый. А?

Он подошел и ударил Константия по лицу. Явор кинул в него самодельный нож из обломка косы. Задев острием ухо Тадеуша, нож вклинился в ствол сосны, с дерева посыпался снег.

Альдона, наконец, оправилась от болезни; ребенок был слабый, и Яворы решили поскорее справиться крестины. Но они никак не могли договориться, кого позвать кумом. Явор настаивал на том, чтобы пригласить Сикору, Альдона об этом и слышать не хотела. Она упрямо твердила, что надо позвать Соляжа, мужа Терезы.

— Глупая баба! — кричал Явор. — Опомнись! Зачем нам нужен уголовник, большевик. Да его в костел не пустят. Пусть благодарит бога, что его еще не забрали.

— Не бреши. За что его брать?

— Он-то знает, за что. Раз в полгода дома ночует.

Щепанек кашлянул в своем углу, и они замолчали.

В конце концов Яворы позвали тетку Теклю и вдового старика Котовского.

Тетка Текля была младшей сестрой покойной Рапачихи и много лет прожила в ее доме. Она была не намного старше своих племянниц, так что Альдона и Тереза, когда подросли, стали звать ее по имени. Впервые начал величать ее теткой маленький сын Соляжей. Текле это было приятно — она чувствовала себя моложе на целое поколение.

Старик Котовский был сосед Сикоры. Не богатый и не бедный, он, пожалуй, только тем и был известен, что на его землю все время зарился ненасытный лавочник. Когда-то Сикора сватался к одной девушке, рассчитывая с помощью ее приданого округлить морги*, которые ему удалось выманить у Рапачей. Но девушка ему отказала и вышла за Котовского. Прошли годы, и сын Сикоры, Эбышек, совсем еще молокосос, влюбился в Гонорку Котовскую, девушку на выданье. Но и Гонорка не полюбила его.

Гонорка с детства дружила с Альдоной и Терезой. Текля, которая почти все свои девические годы провела у Рапачей, тоже была из их компании. Со временем у Гонорки осталась только одна подружка — Альдона. По ее примеру Гонорка поклялась, что не пойдет замуж. Не нравилось ей, что Явор часто навещает Альдону, не одобряла она их вечерних встреч под тополем. Но томимая тревогой Альдона вопреки дурной славе Явора уступила ему.

Она поняла, что напрасно понадеялась на свою гордость, что ей не под силу слишком уж непреклонные решения. Впрочем, Альдоне не на ком было и испытывать свою непреклонность — в Беяве стало пусто. Жизнь в одиночестве, всегда в одиночестве рисовалась ей в мрачных красках. Альдону пугала ее неприиспособленность, вечный полутраур, отсутствие близкой души в будущем, когда уйдет молодость. Всякий раз, когда Константий к ней наклонялся, она чувствовала исходившее от него здоровое тепло. Губы у него были яркокрасные и легко расплывались в улыбку. Она любила делать из бумаги искусственные цветы, Явор без труда перекусывал зубами проволоку,

* Морг — мера земли, равная 0,56 гектара.

которая нужна была ей для этой работы. Весной он приносил из Жджор огромные букеты сирени. Она прижимала к лицу упругие, ласково щекочущие, пышные кисти. Константи́й был сильный и покорный. Альдона во многом превосходила его: она была девушка обходительная, родом из зажиточной крестьянской семьи, которая славилась своим богатством. Однако Альдона всем сердцем была благодарна Константию за то, что он выбрал именно ее, и в этом чувстве не было и тени высокомерия.

Гонорка издевалась над Альдоной. Уже она-то открыто смеялась над ухаживаниями Збышека Сикоры и старалась, чтобы все видели, как она непреклонна. Но вдруг она притихла и перестала упрекать Альдону; со стороны могло показаться, что ее дружеские чувства остыли. Случилось это как раз в ту пору, когда в доме Котовских все чаще стал появляться некий Рафал Мысонь.

На свадьбах и вечеринках Рафал Мысонь играл на гармонике. Он был молод, недурен собой, приятен в обращении, умел понравиться девушкам. Збышек Сикора при виде его просто бледнел. Котовские ждали окончательного объяснения; Гонорка не очень убедительно оправдывала медлительность Мысоня неопределенностью военного времени. Рафал приходил, исчезал, снова приходил. Народ видел, как он в соседних городишках играл на гармонике немецким шуцманам. Рафал не опровергал слухов, но и не подтверждал их, он щерил мелкие зубы в беззаботной усмешке. «Чего бояться? — смеялся он. — Как пришли, так и уйдут. Каждый хорош, покуда платит». Он приносил Гонорке маленькие подарки. Так прошло два года.

Альдона ждала ребенка. Как-то она зашла к Котовским; старика не было дома, зато на одном стуле с Гоноркой сидел пригожий музыкант. Он поцеловал Альдоне руку. Она разговаривала с ним довольно холодно. Но с того дня ее стал раздражать облом и грубиян Явор. После женитьбы Константи́й утратил всякую деликатность в обращении, которой, впрочем, никогда особенно не отличался. Говорил он зычным, отрывистым голосом, точно валком бил, ходил вразвалку. Смеялся он во весь рот, плевал куда попало, сморкался в руку. Часто приходил в ярость и тогда топад ногами и ревел, как сильный, глупый бык. «Если бы Рафал даже разозлился, — думала Альдона, — то вел бы себя как...» Она не знала — как, но в смутных мечтах ей виделись почему-то кошачьи черты, заго-

рались и гасли глаза цвета меда с удлинненным разрезом.

Вопреки прежним планам, даже вопреки желанию Константия, который экономии ради предпочел бы на этот раз только как-нибудь соблюсти приличие, Альдона решила, что крестины без музыки ничего не стоят. Гонорка поддержала подругу; Рафал не баловал вниманием молодую Котовскую, стоило заманить его на пирушку к добрым соседям. Мысоня позвали на крестины и попросили привести какого-нибудь скрипача. Явор согласился на это, но угрюмо, неохотно, хоть и любил гульнуть.

II

КРЕСТИНЫ

Все уже было приготовлено, и вдруг снова начались недоразумения. Легче всего оказалось решить спор об имени. Июльские святые не понравились ни Альдоне, ни Константию. Явор хотел назвать мальчика в честь своего деда Урбаном. Но Альдона не согласилась, так как день рождения сына приходился позднее. «Дурная это примета, — сказала она, — поворачивать календарь вспять. Еще ребенок у меня заболит или вырастет разиней». Она мечтала об имени более простом и приятном, таком, чтобы и выговорить его можно было с чувством. Нашла она такое имя только в особых святцах — славянских. «Болек, — проверяла она себя шепотом, — Болюсь». Альдона еще не окрепла после родов, и в этом имени звучали для нее пережитые страдания. В нем словно затаилась жалоба на окружающий ее печальный мир. «Пусть оно напоминает об этом времени, — решила она. — И пусть хранит малыша, чтобы рос здоровым».

В первых числах сентября, незадолго до сева озимых, Сикора, подавив обиду, приковылял к Яворам с новостью. В Немже, деревне их прихода, «лесовики» напали на солтыса *, крепко избили его, забрали двух свиней и бочонок самогону и припугнули, что убьют, если не будет служить как полагается.

— А как полагается служить? Исправно, усердно, сообразно с порядком, так ведь? — доказывал Сикора. —

* Солтыс — сельский староста.

Им-то хорошо болтать да людей запугивать! В лесу сидят, на чужих хлебах, обязанностей никаких. Мой вам, Константин, совет...

Чтобы дать этот совет, Сикора увел Явора на улицу, а когда тот вернулся, Альдона узнала, что на крестины нужно пригласить Кулика, коменданта полиции в Немже.

— Эй! — рявкнул Явор в сердцах на Щепанека. — Ты у меня под ногами не вертись. Живо за работу, на конюшню! И бога благодари. Кабы не я, давно бы тебя в Германию услали. Таких только ищут!

Два дня спустя кто-то перерезал телефонный провод между Рыбками и уездным городом Невыховом. Эту новость привезла Текля прямо с железнодорожной станции Рыбки. Она приехала на извозчике, потому что Явор не прислал за нею лошадей: Теклю ждали в канун торжества.

— Что я пережила! — начала она рассказывать прямо с порога. — Хотела взять ящик пива, не пустили меня со станции в город, всех задерживают. Только в буфете выпросила, буфетчик знакомый, да и то содрал с меня, ворюга. Едем, а тут нас опять посреди дороги останавливают. Патруль какой-то. Я уж им десять бутылок посулила — целую дюжину забрали, черти. К счастью, наши, наши, так хоть тринадцать бутылок осталось, тьфу! Хотела в Рыбках к Терезке заглянуть...

Только сейчас она заметила Терезу.

— Ты здесь? — удивилась Текля и как будто даже испугалась. — Вот и хорошо, я тебе все расскажу. Буфетчик шепнул мне...

Но Тереза не захотела слушать. Она пришла к Яворам еще утром, видно было, что ей не по себе, она все жаловалась, что Соляж не заботится о детях, о доме. Даже при Яворе не сдержалась, точно радуясь и его неприязненному молчанию и скупым, брюзгливым словечкам. Бранила она и мужа Текли, торговца Пореша, который распускает дурацкие слухи. Теперь, увидев тетку, Тереза смутилась, еще больше насупилась и быстро поднялась.

— Лошадь я тебе дать не могу, Тереня, разве только... — начал Явор.

— Извозчик еще не уехал.

— Да, правда, извозчик.

Все вздохнули с облегчением, когда Тереза, споткнувшись в спешке о порог, ушла. Альдона с горечью подума-

ла, что Тереза ей сегодня не мила, что тетка Текля ее раздражает и Константин, может быть, прав. «Все потому, что я боюсь, — призналась она сама себе в глубине души. — А чего мне бояться?»

Константий хлопнул себя по лбу и выбежал во двор.

— Терезка, Терезка, привези еще ящик пива, я заплачу!

В тот же день вечером Тадеуш Мруз послал за учительницей. Когда Анна Гожек пришла, он разводил на кухне огонь. Стоя на одном колене и наклонившись к дверце плиты, Мруз ломал широкие сосновые щепки, наступая на них ногой. Отсвет вечерней зари падал из окна на его спину с напряженными от усилия мышцами. Анна глядела на загорелую шею Тадеуша, на черные прядки волос около ушей, вздрагивавшие, когда он нетерпеливо раздувал огонь в упорно не разгоравшейся плите. Резкие черты его лица то озарялись отсветом пламени, когда вспыхивал огонь, то исчезали в темноте. Не поворачивая головы, он заговорил и отвлек ее внимание.

— Помогите мне, ладно? Яичницу надо на пятерых парней и для вас. Ну, хлеба, колбасы, сами знаете.

— Чаю...

— Можно. Есть немножко водки. Всё в шкафу. Вы знаете, где.

— Знаю, знаю.

Теперь он повернулся к ней лицом.

— Сплетен боитесь? Люди брешут?

— Не дури, Мруз. — Помолчав, она прибавила: — Пусть брешут. Да ведь не о чем. Сам знаешь.

— Знаю. Что со школой?

— Ничего. Люди запуганы. А может быть, даже довольны, что школы нет. Ведь когда войны не было, и то дела шли кое-как.

— Надо что-нибудь придумать... Так не годится. Одичают все, черт возьми!

— Меня хотят отсюда перевести. Может быть, в Рыбки, а может, и подальше.

— Придется вам из школы выехать.

— Куда? К тебе?

Они стояли теперь, хмуро и печально глядя друг на друга. Тадеуш отвел глаза и негромко сказал:

— Это уж все равно. С нами пойдете.

— А как же дети? Ведь совсем одичают...

— Не всё сразу. Как-нибудь и это уладится.

Он снял крышку с кипящего горшка, бросил в воду горсть липового цвета, потом горсть сушеной земляники и оставил горшок на край плиты.

— На крестины пойдете?

— К Яворам? Нет. Жена Явора меня не любит. А ты пойдешь?

— Нет. Явор меня не любит.

Они дружно рассмеялись, и Анна, должно быть, не расслышала, как Тадеуш сказал:

— Вам очень к лицу... этот платочек...

— Что? Что ты говоришь?

— Надо завесить окошко и зажечь лампу. Идут.

Когда все собрались, Тадеуш вышел из хаты. Он постоял, осмотрелся, затем проскользнул в сарай, выгреб из-под соломы стремянку и приставил ее к лазу на сеновал.

— Товарищ, пожалуйста ужинать.

Когда Мруз с новым гостем появились в дверях, Анна едва не выронила из рук тарелку с хлебом. Заметив ее изумление, делегат района громко рассмеялся.

— Не ожидали, а? Мы сегодня уже виделись, да, да...

— Ведь это вы возвращались от Яворов с женой Соляжа!

— А как же! На таратайке. Что же, клячу погонять дело нетрудное. Я много лет кирпичи возил, мне оно знакомо.

Все развеселились, когда гость рассказал, как, выйдя из поезда в Рыбках, он сразу сел на козлы вместо поджидавшего его извозчика и таким образом удачно вышел из затруднительного положения. Всем понравилась находчивость Соляжа. Умный мужик, умеет расставить своих людей, где нужно.

— Жаль только, что с самим Соляжем не удалось повидаться, — заключил делегат. — Но и тут мне повезло — жену его встретил, и самое важное она ему передаст. Толковая женщина. Даже виду не подала, когда я с козел поздоровался с нею. А я заметил, что она меня сразу узнала. Довез ее до Жджор, дальше она поехала уже одна, а я лесом сюда.

И вдруг, меняя тему разговора, он спросил:

— Что за человек новый лесничий Хетта?

— Он вас видел? — встревожился Мруз.

— Кажется, нет. Я прошел мимо него в лесу, он
встривал там новые порубки.

— Где это было? — раздался вдруг голос из самого
пого угла. Все повернулись к леснику и увидели, что
оставил рюмку, которую поднес было к рту. Несколько
капель упало на скатерть.

— Ты не пугайся, Жондлик, — сказал Тадеуш хрип-
ливым, неприятным голосом, — Хетта с Явором — одна
шайка. Ты Хетте услуги оказываешь — он-то не дурак,
— чтобы самому красть. Ему куда удобнее втихомолку от
воров получать свою долю.

— Ну знаешь, Мруз! — вскочил лесник. При све-
тле лампы все увидели теперь, как он побледнел и как
дрожат у него челюсти.

— Потихе, Жондлик, потихе, это дело десятое. Мо-
жет, обстригать с Явором свои делишки, нас это не
касается. Чем больше у немцев из-под носа утащите строе-
вого лесу и дров, тем меньше им достанется. Это даже хо-
рошо. Но только если Хетта попадетсЯ, он спрячется за
твою спину, он тебя утопит. А это уже для нас плохо. Не
нужно было таиться, Жондлик, когда ты к нам пришел.
Мы должны все знать... Ведь если что...

— Вы мне не верите?

Тогда встал Гдовяк, по прозвищу Испанец, черново-
лосый, высокого роста мужик, командир боевой группы в
Немже.

— Все это пустяки. Об этом после поговорим. Знаете
ли вы, товарищ Мартин, — обратился он к гостю, — что у
нас тут творится? — И ко всем: — Плохи наши дела...
Только мы расшевелились — и уже осечка. В Немже двое
наших сидят в участке. Как бараны, дали себя взять.
Стыд и срам! Плохо я их обучил. Первое дознание со-
стоитсЯ на месте. Солтыс, может, их узнал, а может, и
нет, боится давать показания. Через два-три дня их пове-
зут в Невыхов, и, если солтыс их выдаст или они сами
проговорятся, с ними расправятся. И с ними и с их
семьями.

— Не выдаст, не повезут, — мрачно проворчал другой
человек из Немжи, Михал Фирус, худощавый блондин с
острыми, как буравчики, глазами.

— Людей у нас мало! — крикнул Гдовяк. — Сколько
наших в Беляве, в Жджорах? По пальцам можно пересчи-
тать. Люди здесь запуганные, темные. Не то что, к приме-

ру, в Ружанцах, где народ всегда дрался с любыми властями. А в деревушках, где богачи верховодят, в такой вот Немже по нашим следам идут люди, которые тоже считают себя боевиками. Но вы знаете, что это за боевики. И ваш Хетта из Беявы тоже знает.

Мартин прервал его. Он разжал пальцы рук, лежавших на скатерти, решительным движением провел по жестким, тронутым сединой волосам. Голос у него был теперь тихий, словно сонный.

— Мы должны запастись терпением. Надо продолжать дело, надо продолжать начатое дело. Прошло всего несколько месяцев. И что же? В районе создана организация, налажена связь с руководством, действуют первые отряды, проведены первые боевые операции. Это не так уж мало! Людей не хватает. Людей надо привлекать. Войну ведут не только винтовками и гранатами. Нужно агитировать, разъяснять. Из округа пришлют к нам людей...

— Для пустых разговоров? — сорвался с места Фирус. — Жаль на них время тратить! Пусть укрепят наши отряды, пусть дадут оружие... — Под суровым взглядом делегата и Гдовяка он смутился и замолчал.

— Это хорошо, что пришлете людей, — сказала Анна. — Не забудьте о листовках. Все уже разошлись...

Тадеуш не дал ей договорить.

— Я думаю, нечего ждать, нечего медлить и канителься. Есть срочные дела, боевые, они важнее всего. Двое наших сидят в Немже...

— Освободить их! — обрадовался Фирус.

— Дурак, — прервал его Гдовяк. — Лучше уж отбить в пути.

— А по-моему, — продолжал Мруз, — с комендантом полиции надо потолковать. Кулик собирается к Яворам на крестины. Случай подходящий...

И он изложил свой план.

Жондлик не досидел до конца собрания. Похоже было, что он выпил лишнее. Никто его не удерживал. Когда он ушел, Гдовяк выразил свои опасения. Несколько дней назад, уже после случая с солтысом, те два парня, что сидят в Немже, должны были взорвать железнодорожное полотно за Невыховом. Но ни одна мина не взорвалась. На следующую ночь за парнями пришли гестаповцы. Кто раздобыл эти мины? Кто их принес?

— Погодите! — крикнул Мруз. Он выбежал на улицу тихонько свистнул.

— Щепанек, это ты? Послушай, Щепанек...

Явор ждал в условленном месте. Разговаривали они с Жондликом громко, не опасаясь, что глухой ночью в лесу кто-нибудь их услышит...

— Ну, как, проболтался Жондлик? — допытывался Явор у Щепанека.

— Нет. Почти ничего не сказал. Крепко ругал Явора за то, что он его обманывает. Они все о порубках говорили с Хетте. Только когда Явор поклялся, что с Хеттой никаких делишек не обделывает, Жондлик сказал, чтобы осторогался... Потом я уж не слышал, о чем они шептались.

— Надо быть начеку, — заявил Мруз, вернувшись в Явор. — Жондлик человек ненадежный.

Они еще долго совещались и под конец изменили первоначальный план Мруза. Теперь уже не стоило подстеречь коменданта в Беляве у Яворов, раз Жондлику известны их намерения. Сражение выигрывает тот, кто ударит первым, и сильно ударит.

Фирус сиял. Анна с затаенным страхом смотрела на Явора...

Баба Жондлика с ужасом слушала бессвязные признания мужа.

— К Хетте я больше не пойду, — упирался Жондлик. — Боюсь, они уже пронюхали. Мруз знает...

— Ничего они не могут знать, — убеждала его жена.

— А Хетта поумнее их. Настоящий барин, не то что эта голытьба. Чего ты хочешь? Он ведь тоже против нас. Ты должен ему подчиняться, иначе он выгонит нас с работы, и что тогда с нами будет? Ах, зачем, зачем только ты впутался в это дело...

Признавшись во всем жене, Жондлик успокоился и перестал думать, а она принялась обдумывать план спасения мужа и в конце концов решила тайком от него сходить к Хетте. Легко ей было на это решиться. Она знала, что нравиться Хетте, он не раз зазывал ее к себе, уговаривал прийти на свидание. Пока Жондлик спал, она выгладила праздничное платье...

На следующий день Яворы справляли крестины. День выдался ясный, но до костела в Немже было довольно далеко, поэтому туда отправились только родня и

кумовья, без которых нельзя было обойтись. Ксендз-викарий, которого из вежливости тоже пригласили, отказался прийти, должно быть, прослышал, что Явор ожидает коменданта Кулика. Такое общество духовному лицу было бы не слишком приятно. Ксендз-викарий не мог знать, что Кулик согласился навестить Яворов, но вместе с другим полицейским и только вечером.

Часам к двенадцати приехали в наемной телеге Соляжи. Оба вопреки тайным расчетам Явора. Альдона радостно приветствовала зятя. Константин подавил неприятное удивление. «Авось к вечеру, — подумал он, — Соляжи распрощаются и уедут». Намеренно и не без злорадства он упомянул о Кулике. Юзеф Соляж не только не растерялся, но, казалось, с удовольствием принял это известие.

— Я его давно знаю, — сказал он. — Что ж, выпьем с представителем власти, это дело неплохое.

Даже Тереза поддакивала: хорошо, мол, пусть народ видит, что Соляж такой же человек, как все, не кусается.

Старый Сикора обиделся, что его не пригласили в кумовья, и не скрывал этого. Он посидел часок, не больше; вид у старика был кислый, от угощения он отказался. Соляжа встретил с плохо скрываемым возмущением и, уходя, забыл с ним попрощаться.

У Яворов весь день было полно гостей: одни уходили, а на смену им приходили другие. Обед затянулся далеко за полдень, пили и ели до отвала. День стоял для сентября жаркий. Наконец гости понемножку разбрелись, и, когда стемнело, остались только избранные. Константин кликнул Мысоня и Гонорку, которые что-то уж очень долго лакомились в саду сливами. Начались танцы.

Рафал Мысонь пришел один, без скрипача. Гонорка дулась оттого, что ей не удастся потанцевать с Рафалом. Он играл на гармонике, а между раздвинутыми столами кружились пары: багровый, как всегда, Котовский с теткой Теклей, Тереза с белявским солтысом Грелей, Гонорка с Кубой, младшим братом Константия. Но усерднее всех отплясывали Явор с женой. Константия нельзя было узнать, он как будто сегодня впервые увидел Альдону и танцевал без передышки. Рафал даже стал сбиваться с такта. «После родов хозяйка здорово похорошела», — подумал он. Альдона в тот день казалась совсем молоденькой и с виду похожа была на горожанку. Напрасно убеж-

дала она Явора, что еще слаба, он не слушал, требовал, чтобы Рафал играл польки, да самые лихие. Когда музыка умолкала, Явор звал жену в кладовку пить пиво, но она что-то не очень торопилась.

Гости из немжанской полиции, к общему удовольствию, не шли. Даже Явор, который еще третьего дня придавал особое значение их посещению, теперь был бы доволен, если бы они не пришли. Явора напугали туманные предостережения Жондлика: он чувствовал, что присутствие Соляжа может навлечь на него беду. А Соляж, как назло, и не думал уезжать.

Только с наступлением сумерек Збышеку Сикоре удалось незаметно от отца достать из шкафа праздничный костюм. Старик запретил сыну идти к Яворам на крестины. По счастью, к Сикорам явился лесничий Хетта — редкий, почетный гость! Жена Сикоры засуетилась в кухне, а старик с Хеттой прошли в другую комнату. Збышек переделся в сарае и кратчайшей дорогой, через лужайку и сад, побежал к Яворам. Притаившись в густом орешнике, он с бьющимся сердцем слушал, как Гонорка любезничает с Мысоном. Когда они ушли, Збышек долго еще стоял, закрыв глаза, морща лоб, словно силясь что-то вспомнить. Потом он решил вернуться домой. Однако через некоторое время, запыхавшись так, будто долго-долго бежал, он проскользнул в дом Яворов, откуда все еще неслись звуки гармоника.

Гонорка уже не танцевала с Кубой. Она сидела под окном, усталая, разомлевшая и даже обрадовалась, увидев Збышека. Он подошел прямо к ней, ни с кем не здороваясь. На него тоже никто не обратил внимания: от веселья у всех, видно, шумело уже в голове. Несколько пар кружились в быстром вальсе. Соляж о чем-то спорил с солтысом Грелей. Куба, коренастый атлет, уперся отяжелевшей головой в угол стола; время от времени он вскидывал голову, закатывал осовелые глаза и выкрикивал все одни и те же непонятные слова:

— Костусь, лупи, брат, лупи!..

Несколько позднее Яворы исчезли. Тотчас же Мысону захотелось пива; он вежливо извинился перед Гоноркой, которая была очень любезна с ним, и вышел. В сенях набочке коптила маленькая лампочка, дверь в кладовку была открыта, но там не было ни души. Рафал поднял голову вверх. Из-за открытой двери с чердака донесся голос:

— Да оставь ты меня в покое! Никуда от тебя не спрячешься! Не трогай ты меня сегодня!

В ответ послышалось глухое бормотанье, и в проеме показалась женская нога, искавшая опоры. Черные башмаки три раза скользнули по перекладинам стремянки, и Альдона, тихо вскрикнув, упала на глиняный пол. Увидев Рафала, она быстро поднялась, едва не застонав от боли, и, держась рукой за бедро, шмыгнула во двор.

— Не беги, брат, за нею, — удержал Мысоня Константин, — ничего ей не сделается. Пойдем пиво пить.

Он втащил Рафала в кладовку и задвинул засов. Через некоторое время он вышел оттуда один, вернулся в комнату и растормошил брата, дремавшего над рюмкой.

— Пойдем-ка!

Подходя к двери, Явор подмигнул Збышеку Сикоре, и они втроем скрылись в сенях.

В боковушке, на постели Яворов, сидел Соляж с женой. От дыхания сентябрьского вечера колыхалась занавеска у открытого окошка. Юзеф, казалось, все прислушивался. Тереза мерно покачивала кончиком башмака тихо поскрипывавшую колыбель. Под тонкой сеткой тюля темнел силуэт детской головки. Из-за притворенной двери доносился неясный, приглушенный шум.

— Спит и спит себе, даже не заплачет. — Тереза нагнулась, приподняла покрывало, внимательно поглядела на мальчика. — Что это с Альдоной сегодня?.. Мать она или не мать... Ты не голоден, Болюсь?

— Ты что говоришь? — Соляж очнулся от своих мыслей, которые завлекли его куда-то далеко-далеко, и дотронулся до плеча жены. — Спать мне хочется. Они уже не придут.

— Оно и лучше! Люди тебя видели, знают, что ты был здесь, ну и довольно.

— Нет, не лучше! — Соляж вскочил так стремительно, что Тереза отшатнулась. — Их до сих пор нет, это путает все наши расчеты. — Он широко зевнул и хрустнул пальцами. — Приходится тут ждать, и как быть дальше, не знаю! А-а-а! Черт подери!

— Я поищу Альдону. Покачай ребенка, только сам не усни.

— Эх, до сна ли мне!

Едва Тереза прошла через сени, как дверь кладовки отворилась, раздался взрыв хохота. Вся компания с трудом

Занулась в комнату. Константин и Куба вели Мысоня
ушки, а Збышек Сикора подталкивал его сзади. Рафал
окорно, пошатываясь и спотыкаясь, как слепой. Это
железное зрелище вызвало у гостей новый прилив ве-
На голове Мысоня торчал большой глиняный гор-
В оба ушка горшка была продета веревка, она обви-
трудь Рафала и на спине у него была крепко стянута
Кто-то нарисовал известкой на горшке глаза, оска-
е в усмешке зубы, чертой обозначил нос.

Садись, артист, — сказал Явор, — и играй. На па-
играй, по слуху. Больше слуха в таком ухе, — щелк-
н по горшку, положил на колени Мысоня гармонику,
перекинуть ремни, и Мысонь заиграл.

Здорово, видно, вы его в кладовке вымуштровали...

Папа, что вы! — вспыхнула Гонорка. — Папа, да вы
естный, разве так можно!.. — Но старик Котовский
ал, решив, что с Рафалом сыграли хорошую шутку.
о прямо захлебывался от смеха и вдруг запел петухом,
лся за голову, потом за шею, сел на табуретку и
корпусом откинулся назад. Никто не обратил на ста-
никакого внимания, с ним часто такое случалось.

т Гонорка сама подошла к Мысоню, но ее опередил
ек; он понял, что жажда мести завела его слишком
ю. Выхватив из-под печки кочергу, Збышек подбежал
алу и осторожно стукнул по доньшку горшка. По-
сь черепки, на обвисших веревках закачались гли-
ушки. Мысонь зажмурился, левый глаз, украшенный
ым, совсем у него заплыл. Потом он вскочил, пошат-
видно был пьян, громко сплюнул и, оттолкнув Го-
бросился к выходу.

Ну что ты наделал, куда суешься! — накинулся на
ека Явор.

молодой Сикора словно чему-то удивился, поднял ко-
и не очень сильно ударил Константия по голове, по-
жхлипнул по-пьяному и, хлопнув дверью, выбежал
из Мысонем:

Ах ты молокосос, ах ты гость незванный! — заорал
— погоди, я поговорю с твоим отцом! — Однако он
нался за Збышекком — даже пьяный он робел перед
амми.

Заткнись! — прикрикнул он на сильно захмелевшего
который уселся в углу прямо на полу и, тщетно пы-
что-то вспомнить, мотал головой и упрямо повторял:

— Костусь, лупи, брат, лупи...

Тереза нашла Альдону в хлеву. Ее выдала полоска света, выбивавшаяся из-под двери. Фонарь с закопченными стеклами тускло освещал коровьи зады. Слышно было только, как коровы равномерно жуют жвачку и шелестит солома. Здесь царили тишина и покой. Альдона стояла между Лыской и молодой телкой, которой еще не дали имени. Правой рукой она держалась за край желоба, левой машинально водила по бедру.

— Что ты здесь делаешь?

— Как же! Надо ведь и о скотине подумать.

— Да ты вся дрожишь, что с тобой?

— Щепанек совсем ошалел, с ума спятил... — не закончив, Альдона показала на отворенные воротца закуты в противоположном углу. Там у Яворов стояла лошадь. Сейчас закута была пуста.

— Куда девался Гнедой? В поле убежал?

— Щепанек его выпустил. А зачем — не пойму. Время ведь позднее. Я подхожу, смотрю: лошадь стоит на пороге. Испугалась она, что ли, лягнула меня... Ты не говори Костеку про Щепанека, ничего ему не говори... — прибавила она шепотом, и Тереза поняла, что Альдона лжет.

— Где ушибла? Покажи. Очень больно?

— Оставь.

С минуту обе молчали.

— Ну, пойдем, пойдем, — поторопила ее Тереза. — Мужики совсем перепились. Сдается мне, они что-то затевают... — и, наклонившись к сестре, она одним духом выпалила: — Как тебе живется, Альдонка? Не обижает он тебя?

— Кто?

— Ясно кто! Костек.

Альдона вздрогнула и закрыла лицо руками.

— Не плачь, — сказала Тереза с суровой нежностью. — Чем плакать, лучше расскажи.

Альдона подняла голову, в глазах ее можно было прочесть тоску и гнев.

— Помнишь, Терезка, наш хор, наши спектакли? «Цвет папоротника»? Так мне и надо! Так мне и надо! Не слушала. Вы говорили, а я не слушала. Вот и получила, чего хотела. Конечно, он меня обижает. Ему только одно... Ну, знаешь. Тогда он шелковый. Сколько раз уже он меня бил...

Тереза в ужасе всплеснула руками, но Альдона резким движением остановила ее.

— Слушай, Терезка, я говорю об этом только тебе, и помни, если ты кому-нибудь проболтаешься, мы с тобой рассоримся навсегда. Ну, ступай. Я сейчас приду.

— Боюсь спит.

— Я его покормлю... И назло всем еще попляшу сегодня, вот увидишь!..

Щепанек знал, что ему предстоит горячий денек. Он сытно пообедал — в честь крестин и для него не поспешили. Пользуясь праздничной суматохой, дал коровам пастись вволю, не жалея клевера Сикоры; под вечер управился по хозяйству, чтобы Явору не к чему было придраться, и даже умудрился вздремнуть в риге. Сквозь щели в стрехе пробивались закатные лучи, перед зажмуренными глазами Щепанека плыли от них красные круги. Ему вдруг почудилось, будто он бродит по чистой реке и вокруг светятся золотые звездочки. Его разбудил собственный вздох. Душа Щепанека была полна нетерпения, гордости и счастья. Месяц назад его приняли в организацию. Мруз поручился за него; Щепанек никогда еще не слышал, чтобы о нем говорили столько хорошего. Теперь они с Тадеушем называли друг друга по имени. Паренек чувствовал, что его уважают, и с тем большим рвением исполнял возложенные на него обязанности связного и разведчика. С тех пор как Щепанек убедился в том, что он кому-то нужен, мир начал ему нравиться и собственная сиротская доля казалась не такой уж тяжелой и безнадежной. Он быстро встал и, улучив удобную минуту, перекинулся несколькими словами с Соляжем, — никто этого не заметил.

Наблюдая за дорогой в Немжу, Щепанек с удивлением обнаружил, что два велосипедиста в мундирах, вместо того чтобы ехать к Яворам, остановились у дома Сикоры. «В лавку хотят зайти?» Но лавка уже была закрыта. Нет, это Сикора задержал их, окликнул через окно. Полицейские поднялись на крыльцо, потом вошли в дом. Щепанек ждал. Ждать пришлось недолго, Щепанек еще больше удивился, увидев, что по ступенькам крыльца осторожно спускается лесничий Хетта. Следом за ним вышел один из полицейских — не то Кулик, не то его спутник? Нет, это не Кулик, а низкорослый и худой Шебистый. Они пошептались, пожали друг другу руки,

огляделись вокруг. Ни души. Хетта сразу свернул на тропинку, которая вела в лес, а Шебистый вскочил на велосипед и, изо всех сил нажимая на педали, покатиł туда, откуда приехал, — в Немжу.

Щепанек прищурил глаза, мысль его работала с лихорадочной быстротой. Хетта кого-то выслеживает около домика Тадеуша, — он туда пошел. Ну и пусть, там никого уже нет. Шебистый помчался в Немжу. Зачем? Нельзя терять время. Здесь ничего не случится — Кулик остался один. Как опередить Шебистого? И вдруг Щепанек рассмеялся и хлопнул в ладоши.

Неоседланный Гнедой мчал Щепанека по гребле около пруда, бродом через реку, лесной тропинкой. Но хотя Щепанек и выбрал кратчайший путь, с новостями он опоздал. В группе Гдовяка уже знали про Шебистого, знали даже больше того.

— Скачи назад, друг милый, к Соляжу, — волновался Мруз, — ведь он там один. Пусть не ждет, нам теперь не до разговоров с Куликом... Скажи, чтобы удирал в Жджоры на условленное место, там мы и встретимся.

— Удирал? Что случилось?!

— Шебистый поднял на ноги весь полицейский пост. Тревога. Готовятся к облаве...

— А вы? Останетесь здесь, в двух шагах?!

— Эх, Щепанек, облава-то готовится на мою хатенку, а может, на Соляжа. Они направляются в Беяву, понял? Ошиблись они, понял? У нас, друг, чистый выигрыш. Счет, так сказать, в нашу пользу!

Оба беззвучно рассмеялись, в бледном свете ночи блеснули зубы Тадеуша.

— Сверните им шею... — Щепанек легко прикоснулся к плечу Мруза — до руки не достал — и тронулся с места рысью, так что вслед ему только зашелестели потревоженные листья осины...

Мысонь и Збышек уже подходили к риге, где молодой Сикора устроил себе на летнее время холостяцкую квартиру. Держались они под руки, как самые близкие друзья. Рафала совсем развезло, и он попросился на ночлег.

— К Котовским ступай, — проворчал Збышек, но все-таки еще крепче поддержал Рафала, когда тот споткнулся о вал конного привода. Горечь обиды, нанесенной им обоим, пересилила в Збышке неприязнь к Мысоню. Он толкнул калитку, прорубленную в широких воротах риги,

нелюбимые петли громко закричали. С крыльца раздался окрик отца:

— Збышек!

— Кто это с ним? — спросил Кулик. — А-а, пан музыкант. Где ваш инструмент? — Он узнал Мысоня и удивился, что тот без гармоники.

— Забыл, черт... — смутился гармонист.

— Очень хорошо. Сейчас же возвращайтесь обратно, да поживей, и вызовите сюда Явора. Только никому ни слова! Я выйду навстречу.

— Да как же я, пан...

— Тише, пан музыкант. Ступайте, говорю! — Комендант нетерпеливо топнул ногой и схватился за кобуру. Мысонь, точно сразу протрезвев, кинулся на дорогу, проглотив готовое сорваться с губ проклятие.

— Как там у Яворов? — голос коменданта снова зазвучал дружески, ласково. — Соляж еще не ушел?

— Не заметил. Не слежу, — отрезал Збышек и, не обращая внимания на гнев отца, ушел в ригу. Он запер калитку в воротах на засов и подпер ее вилами. «Пропади ты... пропади ты... — раздеваясь, скрежетал он зубами от унижения. — Отец якшается с этой свиньей, с полицейскими, Явора вызывают...» — с возмущением подумал он и, злобясь на весь свет, уснул.

Гонорка, увидев Мысоня, обрадовалась и насильно удержала его в хате.

— Ты хотела плясать, Альдонка, — крикнула она. — Попляшешь еще, Рафал сыграет.

Альдона предложила Мысоню остаться у них ночевать. Она суежилась, угощала музыканта, желая сгладить дурное впечатление от недавнего скандала. Солтыс Греля, который успел уже соснуть, снова разохотился танцевать и пригласил Терезу на вальс.

— Да, это не крестины, а настоящая свадьба! — одобчительно заметил он.

— Душно. И зачем затемнять окна? — жаловалась тетка Текля; впрочем, покрывала, которыми завесили окна, никому, кроме нее, не мешали. Снова все пришли в хорошее настроение.

— Костек, лупи, брат... Где Костусь? — удивился вдруг Куба.

«Нажаловались, собаки, черт бы их... черт бы их... — кипел злобой Явор, торопясь на неприятное и подозритель-

ное свидание. — Почему Кулик не пришел, как обещал? Горшок на башку нацепили, подумаешь, большое дело, есть о чем...»

Но его предположения не подтвердились.

— Явор, — ошарашил его Кулик, — плохо твое дело. Константин стухнул.

— С бунтовщиками водишься. Нам известно.

— Я? Я? Сохрани бог! Откуда...

— Тише! Свойка из Рыбок у тебя?

— Соляж? Сидит с полудня.

— С Мрузом ты сегодня виделся? Говори!

— Нет! Неправда. Я бы Мруза...

— Ладно. Ты хочешь с нами по-хорошему. Так ведь?

— Хочу.

— Видишь ли...

Он умолк. Явор расхрабрился и спросил:

— Зачем вы меня вызвали сюда? Пожалуйста к нам.

Кулик засмеялся.

— Зачем? Да низачем. Скучно мне стало у Сикоры. Захотелось с тобой поболтать. — Помолчав, он прибавил: — К вам я не пойду. А ты возвращайся и развлекай свояка, да хорошенько. Не пускай его в Рыбки, понял?

Явор кивнул головой, с трудом переводя дыхание. В голове назойливо вертелась мысль: «Говорил ведь Альдоне, говорил...»

В отдалении, где-то на немжанской дороге послышался глухой топот шагов.

— Ну, ступай! — Кулик подтолкнул Явора в грудь и повернул его.

Пройдя несколько шагов, Константин приостановился, потом перескочил через канаву и притаился в кустах ежевики. Ждал он довольно долго. Любопытство победило в нем и бешеную ненависть к Соляжу и страх перед Куликом. Миню него прошли походным строем восемнадцать человек — Явор успел сосчитать. Он разглядел ручной пулемет: «В Немже столько полицейских не наберется, — подумал он, — объединились с невыховскими... Как они сюда добрались? На велосипедах? В Невыхове у них свой пикап... Могли подъехать к Немже и оставить машину в лесу...» И, вдруг похолодев от ужаса, он даже присел. «Полицейские сами бы сюда не явились. Из Невыхова прибыли немцы». Минув дорожку, которая вела к дому Яворов, отряд прошел дальше. Константин вздохнул с облегчением.

И вдруг его осенила жестокая, полная злорадства мысль. Он вспомнил про свою встречу с Жондликом и понял, за кем они идут...

Щепанек доскакал до перелаза в садовой ограде. Сообразив, что в хате у Мруза полицейские не могут задержаться, он привязал Гнедого к яблоньке, обогнул дом и забор со стороны поросших сосной холмов, приник ухом к земле и явственно расслышал донесшийся через поле топот шагов. Едва только на фоне ржи возникли темные фигуры, он нырнул в гущу сада, где пышно разрослись сливы, быстро прополз под стеной хаты, взобрался на каменный выступ и заглянул в темную боковушку.

— Пан Соляж!

— Это ты, Щепанек?

— Пан Соляж, вы одни?

— Один. А что?

— Удирайте! Облава, ищут вас!

— Чепуха!

— Ищут вас. Я был в Немже...

В сенях раздался громкий крик Явора. В комнате заволновались, Мысонь и Гонорка выбежали во двор, но тут же вернулись. Гонорка вопила: «Идут!.. Спасайтесь!..» Никто толком не понимал, что стряслось; тетка Текля приподняла покрывало, которым было завешено окно, и так и застыла, когда в комнату через сени с шумом ворвались синие и зеленые мундиры. Тереза шмыгнула в боковушку — занавеска на окне еще колыхалась. Зацокали среди яблонь конские копыта, совсем рядом, у самого дома прогремел выстрел, и сразу вслед за ним, чуть поодаль, затрещала пулеметная очередь. Эхо долго звучало, многократно отраженное деревьями сада. Терезе казалось, что она все еще слышит, как через луг мчится Гнедой. Шум не утихал — это кровь стучала у нее в висках:

Облава тянулась долго. Соляжа искали в поле и на мокром болотистом пастбище; увязая в грязи, полицейские дошли до брода и двинулись дальше к самой опушке леса. Они вернулись на место сбора поздней ночью одни. Вместе с ними, только теперь, появился Кулик. Было их шестеро, все из Немжи. Явор украдкой перекрестился, поблагодарив бога, что самая страшная беда миновала его дом, не нанеся почти никакого ущерба. Тем временем Шебистый, человек злой и упрямый, нарочно канителился с протоколом, не разрешая никому выходить из комнаты.

Терезе он пригрозил, что полицейские уведут ее с собой. Тогда Явор и солтыс Греля пригласили Кулика и Шибистого в боковушку.

— Ты мне в ноги поклонись, — пыжился Кулик. — Я от тебя грозу отвел. Головой поручился. Ты теперь до гроба в долгу передо мной.

Женщины на скорую руку собрали угощение для новых гостей и поставили на стол все, что осталось от обеда. Альдона достала припрятанную литровую бутылку самогона — и пока начальники совещались в боковушке, их подчиненные, наконец, догадались, что они такие же люди, как и все прочие.

Альдона услышала стук копыт Гнедого. Она вышла в конюшню, чтобы удостовериться, вернулся ли он. Гнедой действительно уже стоял в своей закуте. На морде у него висели клочья пены, на оцарапанной шее запеклась кровь. Альдона вытерла ему бока пучком соломы, подсыпала в кормушку овса. Потом она стала искать Щепанека, звала его негромко — все напрасно. «Костек ему этого не спустит, — думала она с огорчением, — до смерти завтра его избьет...»

Наконец Кулик приказал своим людям собираться. Явор попрощался с полицейскими во дворе и, рассыпаясь в благодарностях, проводил их до ворот. На фоне серого предрассветного неба багровели отблески пожара, полыхавшего где-то неподалеку. Явор вернулся в хату и сообщил:

— В Немже пожар.

Кто-то задел лежавшую на самом краю скамейки гармонику Мысоня. Она свалилась на пол, издав отрывистый, хриплый звук. Из боковушки послышался плач — проснулся маленький Болек.

III

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

Альдона не открыла сестре и половины правды. Уже в первый год совместной жизни с Явором у нее появилось подозрение, что он женился на ней не по любви, а по расчету. Но она гнала от себя эту мысль, больно ранившую ее гордость.

В Беляве старики Рапачи считались зажиточными хозяевами.

Когда тетка Текля выходила замуж за Пореша, полоторговца, полуогородника из Невыхова, Рапачи выплатили ей деньги за ее часть земли. Люди говорили про Пореша, что никакой он не пан, а просто грязная свинья, торгаш, но Теклю это не смутило. Она тянулась к другой жизни и завидовала даже ярмарочным лоточникам. На полученные деньги Текля справила себе богатое приданое на городской манер; среди прочей мебели приобрела трехстворчатое зеркало и показывала любопытным соседям, именую его «трюмо» или «трельяж», а когда запасала платье и белье, то не забыла про ночные сорочки и домашний халат. Двухкомнатная квартира с кухней, и притом не где-нибудь, а в городе, превзошла все мечты Текли и приумножила славу семейства Рапачей. Казалось, у Терезы и Альдоны от женихов отбою не будет. Но судьба их сложилась иначе.

Старики Рапачи очень обрадовались, когда на девичьих вечеринках в их доме стал бывать Павел Хмель, в ту пору заканчивавший курс в консерватории. Они не очень разбирались, чему Павел учится в далеком городе, ясно им было только одно — он станет важным паном. Родители Павла, богачи из-под местечка Рыбки, тоже не много могли бы рассказать о занятиях сына. Непонятные, незнакомые слова не внушали им доверия; выбор Павла огорчал стариков. Хорошо быть ксендзом, доктором, инженером, адвокатом — все это занятия, которые сулят хлеб и почет. Но сын решил иначе, и родители за это чуть было не оставили его без всякой помощи. «Музыка? Ноты? Песенки? Да такую премудрость органист одолеет», — рассуждали они. А ремеслу органиста может обучиться кто угодно в любом приходе — и всего за мешок картошки да полтора десятка яиц... И вот молодой Хмель был предоставлен самому себе и с немалым трудом обучался искусству, которое так его привлекало. Когда Павлу пришлось совсем туго, его осенила блестящая мысль — он послал домой две вырезки из газет, в которых студента Хмеля превозносили до небес и пророчили ему блестящее будущее. Старик отец не мог знать, что обе заметки появились в молодежной газете, которая очень быстро прекратила свое существование, не мог он также догадаться, что автором их был товарищ Павла и восторгался он весьма ничтожными успехами. Сила печатного слова произвела необходимое действие, две младшие сестры заступились за ученого брата, и, обеспеченный поддержкой семьи, Павел добился диплома.

Он не стал ни исполнителем, ни композитором; его не прельщали ни один из этих видов творчества. В музыке Павла интересовали веками накопленные богатства, ее история, яркость ее образов. Он хотел стать исследователем. Когда он установил связь с «Вицями», замыслы его получили новое направление. Он мечтал о возвышенной и самоотверженной работе над возрождением национального искусства — от самых его основ, от примитивных произведений народного творчества. «Надо открыть мужику глаза, научить его видеть недоступную ему красоту, — размышлял Павел. — Мужика надо просветить, приобщить к культуре и тем самым поднять уровень его убогой, жалкой жизни. Через просвещение и красоту — к благосостоянию».

Все каникулы Павел проводил в Рыбках. «Сыграй же, Павел, или спой», — просили знакомые, не совсем понимая, с кем они имеют дело; им казалось странным, что у него нет никакого музыкального инструмента, что он разгуливает с одной тетрадкой и карандашом в руке. Павел смеялся, требовал, чтобы они для него пели, а мужики думали, что он важничает, мало того, наиболее подозрительные даже искали какого-то подвоха. Для очистки совести Хмель-отец купил у знакомого органиста фисгармонию, но Павел редко за нее садился — ему больше нравилось слоняться по окрестностям. «Я собираю материалы», — объяснял он родным. Как-то ночью отец добрался до загадочной толстой тетради и на первой же странице, среди линий, черточек и мудреных закорючек, обнаружил и прочел по слогам следующую запись: «Малгожатка с Вицеком плясала, грудью зубы все ему повыбивала». Старик захлопнул тетрадь и, кусая ус, стал раздумывать о том, могут ли такие «материалы» обеспечить — не спокойную жизнь, конечно, — а хотя бы кусок хлеба.

Как раз в ту пору Павел попал в Беляву. Хоровые спевки у дочек Рапача он воспринял как откровение, увидел в них частицу предугаданной им правды, залог грядущего расцвета. Хмель с жаром взялся руководить хором, даже пытался обучить девушек чтению нот. Из этого ничего не вышло; тогда, помня о студенческих дискуссиях, он перешел к более общим темам, пытаясь привить деревенской молодежи интерес к вопросам эстетики, к разного рода новшествам и таким образом указать ей путь к благосостоянию. Павел был огорчен, когда его помидоры не получили признания, но не падал духом.

Трудно было понять поначалу, чьи песенки больше нравятся Павлу — Альдоны или Терезы. Он обеим сестрам дарил книжки, одинаково хвалил их выступления в драматическом кружке. Но однажды августовским вечером Тереза убедилась, что Павел оказывает ей предпочтение. Он робел перед девушками, был неловок и нерасторопен. Когда он поцеловал Терезу, у него свалилось пенсне — одно стеклышко треснуло. Так до конца каникул он ходил, как в потемках, беспомощно щурил близорукие темноглубые глаза и спотыкался о корни деревьев на лесных тропинках. Родителям Павла не понравилась история с пенсне. Они охладели к семейству Рапачей, даже здороваться перестали. Хмели мечтали о другой невесте для сына — богатой, из большого города. Старые Рапачи делали вид, будто ничего не замечают, и, когда Павел после ссоры с Мрузом перестал ходить к ним в дом, ни о чем не расспрашивали щочек. Альдона подарила сестре любимую шелковую кофточку в горошинку цвета бордо. Тереза долго еще казалась рассеянной, часто задумывалась. При ней не говорили о Хмелях.

Если бы не Павел, Тереза так и не познакомилась бы с Озефом Соляжем.

Опасения старого Хмеля подтвердились. Закончив учебу, Павел вернулся домой и все дожидался какого-то важного письма, которое должно было прийти со дня на день, но почему-то не приходило. Это деловое письмо было тесно связано с блестящим будущим Павла. А пока что он коротал время, бродя, как и раньше, по деревням да по окрестным усадьбам. Павел записывал песни, на тенистых верандах пил чай с графскими служащими, а с мужиками рассуждал о деревенских делах, наставительно замечая, что скоро придет конец нужде. Мужики про себя усмехались, им не хотелось смущать гостя, но в реальной обстановке они разбирались гораздо лучше, чем он. Можно сказать, что они даже полюбили Профессора, хотя и считали его шуаком и человеком, далеким от жизни. Когда вспыхнули крестьянские волнения, Павел неожиданно появился в Ружанцах, где было жарче всего, и выступил на митинге.

Тереза возвращалась домой из Невыхова от тетки Текли, и ее задержала огромная, глазом не окинешь, толпа. Трибуна была далеко, Тереза плохо слышала, о чем говорил Павел. Голос его звучал как-то необычно — по-детски плаксиво. Павел призывал к умеренности, запугался в ученых

рассуждениях о красоте народных обычаев, и Тереза вдруг почувствовала, что ей стыдно. Как кнутом, стегнул ее раздавшийся вдруг свист. И сразу зашумело все широкое поле — слышались свистки, издевательский смех, крики. Уже не видно было соломенно-желтых кудрей Павла, казалось, он исчез, растворился в плотной человеческой массе, а на трибуне теперь стоял другой оратор — высокий, загорелый, с сильным и звонким голосом. Он высмеял по всем пунктам выступление Павла Хмеля: сын богача, придурковатый барчук заговаривает людям зубы и мужицкому горю хочет пособить песенками. Тереза слушала сперва с гневом, потом со смешанным чувством испуга, удивления и удовлетворения. Ей казалось, что этот незнакомый ей человек своими насмешками мстил Павлу за пережитое ею разочарование. Когда он кончил, Тереза протиснулась к телеге, которая служила ораторам трибуной, и попросила, чтобы он вывел ее из толпы, — она очень спешит домой. Он проводил немного Терезу, и у нее было достаточно времени, чтобы разглядеть его. Прощаясь, он назвался Терезе и многозначительно заглянул ей в глаза, как бы желая проверить, запомнит ли она его.

Тереза ждала новой встречи с Юзефом Соляжем пять месяцев — ровно столько времени просидел он в окружной тюрьме. Юзефа вместе с сотнями других арестованных привезли туда из Невыхова в кандалах. Даже Павел Хмель за свое выступление на митинге заплатился двухдневным арестом; выручил Профессора из беды депутат-людовец*, который был в дружбе с семейством Хмелей и в хороших отношениях с властями. В следственной тюрьме Юзеф встретился с Тадеушем Мрузом и подружился с ним. У Тадеуша там было больше добрых знакомых, чем у Юзефа. За короткий срок горячее слово агитаторов пробило брешь в стене, которая разделяла мужиков-бунтарей и политических.

У Юзефа открылись глаза — он убедился в предательстве руководства, делавшего ставку на раскол народных масс. Он понял, что, едва дело приняло дурной оборот, те, кто был побогаче и у кого были крепкие родственные связи, поспешили отступить, свалив всю вину на самых угнетенных и самых беззащитных. Многим арестованным,

* Людовцами называли членов партии «Стронництво людове», а также таких кулацких партий, как «Пяст» и «Вызволене».

в том числе Соляжу, было предъявлено обвинение в коммунизме. И действительно, прежде чем начались первые допросы, запретная правда нашла путь к сердцу сбитых с толку, обманутых крестьян. Времени было достаточно — следственные власти затянули разбирательство дела. Тадеуш Мруз, выполняя указания опытных соседей из отделения для политических, организовал голодовку протеста. За это он впоследствии поплатился — его приговорили к более суровому наказанию. Юзеф Соляж, представ, наконец, перед судом, отказался от услуг официального защитника. Он настаивал, чтобы ему дали возможность самому выступить, и добился разрешения. Держался он с большим достоинством и удивил суд убедительностью своих доводов. Соляжу повезло — его приговорили условно к году заключения. Судебное заседание кончилось поздно ночью, он дождался утра, чтобы получить свои вещи. До того как его разлучили с товарищами, Соляж успел попрощаться с Тадеушем. Среди данных Юзефу поручений было одно, личного характера, наполнившее его смутной надеждой. Тадеуш Мруз попросил Юзефа сходить в Беяву к Рапачам и попрощаться от его имени с Альдоной, за все перед ней извиниться и объяснить, что так должно было случиться...

Старики Рапачи довольно долго упрямылись. «Терезка, — убеждали они дочь, — опомнись. Кто такой Соляж? Сидел в тюрьме, а до этого бил камни на дороге. Под стать ли такой жених дочке Рапачей?» Насчет камней они преувеличивали, чтобы уязвить ее, но в их словах была все же доля правды. Дед Юзефа был кузнецом у помещика. Отец его отказался от службы в имении, да на свое горе затеял длительную тяжбу с помещиком из-за давным-давно просроченного долга. Дело он проиграл, и его собственная маленькая кузница вместе с хозяйством пошла с молотка. После смерти родителей Юзеф брался за разные работы. Одно время был он и сезонным рабочим в каменоломнях. Потом попытал счастья в ремонтных мастерских на железной дороге, где научился слесарному делу; однако он слишком громко высказывал свои суждения о политике правительства, а в услужливых доносчиках не было недостатка: Юзефа уволили как политически неблагонадежного. Но у него были умелые руки и хорошая профессия, и это его спасло. Неподалеку от Рыбок, у шоссеной дороги, он снял квартирку у знакомого железнодорожника

и открыл слесарную мастерскую. Сперва ему долго не давали патента, потом обложили большими налогами, но все-таки дело кое-как наладилось. Соляж внушал людям доверие, мог дать полезный совет, помочь в нужде. У него появились друзья в Рыбках, но он не забывал и старых знакомых железнодорожников, поддерживал крепкую связь с деревней. Когда Мартин Войтан, хозяин его квартиры и близкий товарищ, нес ночное дежурство, Соляж заходил вечером в будку, стоявшую на скрещении шоссе и железнодорожного полотна. Там всегда собирались приятели Войтана — крестьяне, было с кем выпить пива, сыграть в шестьдесят шесть, поболтать. В дни крестьянского бунта Юзеф Соляж присоединился к товарищам.

Странное решение Терезы встретило поддержку у одной только Альдоны. Рапачи долго спорили, в доме стоял плач и стон, но в конце концов старики уступили. Терезе отдали ее приданое, и сразу после свадьбы она продала часть земли Сикоре, оставив за собой про черный день только самый красивый луг над рекой, повыше пруда Сикоры. Соляжи переехали в Рыбки; там с помощью мужа Текли, Пореша, они арендовали у разорившегося рыбчанского купца домик с садом. К глухой стене домика Соляж пристроил небольшую, но солидную мастерскую, купил инструмент и необходимое оборудование, нанял двух помощников. За всем присматривал Рапач. Старик уже года два почти не занимался собственным хозяйством, но на этот раз из честолюбия ему захотелось доказать всем, что брак Терезы с бывшим каменотесом имеет под собой надежный фундамент. Энтузиазма Рапача хватило ненадолго, дали себя знать старые болезни — он не дождался даже рождения первого внука.

Тереза довольно легко освоилась со своей новой жизнью. Она любила мужа, восхищалась его энергией, верила в его счастливую звезду. И вдруг Тереза начала замечать, что прежнее, хорошее расположение духа покинуло Юзефа. Он не был счастлив, хотя и не жаловался, хотя и обращался с нею так же ровно и ласково, как раньше. В его кудрявых каштановых волосах появилась седина; окруженные паутиной морщинок темносерые глаза поблекли. Как-то вечером, сидя у колыбели маленького Владека, он стал напевать грустную песенку, которой научился в тюрьме, но до конца не допел, опустил голову и вздохнул. Тогда, набравшись смелости, Тереза сказала:

— Ты никуда не ходишь, вот тебе и скучно...

— Некуда мне ходить, — проворчал он.

В его словах прозвучала такая горечь, что она испугалась.

Юзеф Соляж знал, что говорит. Незаметно — он и сам не знал, когда и как это случилось, — люди потеряли к нему прежнее уважение.

В мастерскую заходили заказчики — здешние, из Рыбок, случалось, что захаживал и кто-нибудь издалека, — но не было среди них его старых знакомых. В конце концов Соляж поборол гордость и обиду и в ближайшую субботу отправился в железнодорожную будку. Он сыграл партию в шестьдесят шесть, пытался шутить, как в старые времена, но шутки его не нашли отклика, и он почувствовал, что к нему здесь относятся со сдержанной неприязнью. Когда Соляж собрался домой, Войтан проводил его немного, а прощаясь, придержал за рукав и сказал:

— Ты оторвался от людей, Юзеф. Нехорошо это...

Два события, совпавшие по времени, поставили под угрозу благополучие семьи Соляжей.

Все началось с невероятной шумихи, которую подняли газеты, оповестив местных жителей, что далекая Варшава обратила взор на их захудалое воеводство и решила способствовать его процветанию в соответствии с духом времени. Вскоре на кое-как замощенной старой дороге появились катки, тягачи и котлы, распространявшие вокруг дым и смрад. Началась прокладка асфальтированного шоссе. Крупные строительные фирмы открыли в Невыхове и других окрестных городках конторы по вербовке рабочей силы. Дело велось с большим размахом: пустили кирпичный завод, на железной дороге затарахтели платформы, подвозившие оборудование, машины, цемент. В пригородных рошицах, как грибы, выросли бараки, и наконец, здесь же, под Невыховом, покраснел среди сосен остов первого фабричного корпуса.

— Придет конец нужде, — радовались одни.

— Война будет, — предсказывали другие.

Соляж следил за развитием событий, качал головой, но больше помалкивал. В Рыбках, неподалеку от железнодорожной станции, внезапно, как из-под земли, выросла большая слесарно-механическая мастерская с богатым современным оборудованием и собственной маленькой электростанцией. Новая мастерская пользовалась всеми привилегиями,

которые правительство оказывало предприятиям, обслуживавшим нарождающуюся в крае промышленность. Во главе мастерской стояли целых три инженера. Очень скоро выяснилось, что это люди весьма предприимчивые. Не прошло и месяца, как один из помощников Соляжа отказался от работы, и нетрудно было догадаться, куда он пойдет прямо от старого хозяина. Несколько дней спустя Соляж получил письмо — его приглашали на «совещание» в контору мастерской. Соляж швырнул письмо на землю и притоптал сапогом. На завтра инженеры почтили его своим посещением. Один из них весьма пространно высказал свое суждение о пользе индустриализации заброшенного, отсталого края. Другой сухо и лаконично предложил Юзефу место мастера. Третий молча, с иронической усмешкой попыхивал из трубки. Соляж отклонил предложение. Ночью, после их визита, он просто сгорал со стыда.

Соляж отпустил второго своего помощника, Войцеха Гженского. Этот парень всегда внушал ему доверие, но и он отнесся к увольнению с плохо скрываемой радостью. Юзеф один справился с недоделанной работой — ее, впрочем, было немного, — после чего запер сарайчик на замок и пошел к Войтану. Начиная с этого дня Терезе уже не приходилось уговаривать мужа, чтобы он не сидел сиднем дома. Но и теперь у нее было тяжело на сердце, потому что Юзеф слишком рьяно вознаграждал себя за недавнее одиночество, даже не всегда приходил ночевать; между тем сбережения, хранившиеся в жестяной коробочке из-под гильз фирмы «Морвитан», быстро таяли. В это самое время Соляжу из Невыхова прислали судебную повестку. Вернулся он совершенно разбитый. Неожиданно выяснилось, что государство считает его своим должником: генеральная прокуратура предъявила Соляжу иск, требуя возмещения судебных издержек еще с тех времен, когда ему вынесли условный приговор. Сумма была большая, превосходившая все возможности Соляжей. Они обратились к Сикоре — не купит ли он луг над рекой? Но Сикора на этот раз не торопился, ссылаясь на недостаток наличных денег, он уверял, что цена чрезмерно высока. Прежде чем Соляжи успели предпринять другие спасительные меры, имущество их пошло с публичных торгов. Мастерскую оценили в несколько тысяч, и этих денег едва хватило на покрытие непредвиденного долга. Любезные инженеры приобрели для своей фирмы и вывезли на одном грузо-

вике все, что Соляж скопил в своем сарае за несколько лет. Не было надобности уже запирать сарай на ночь, пока Альдона не подарила сестре телку. Тогда Соляжи превратили бывшую мастерскую в хлев; сено для телки Юзеф привозил из Беявы. Тереза умудрялась обрабатывать небольшой огородик, чтобы в доме всегда были овощи и картофель. Но рос Владек, росли потребности семьи, и Юзеф Соляж уже без приглашения отправился в контору слесарно-механической мастерской. Спекулянт Пореш был запанибрата с инженерами; он оказал свояку протекцию, и Юзефа поставили на работу вместе с его бывшими помощниками. Он опасался насмешек с их стороны, но они отнеслись к нему с уважением.

Как-то вечером Войтан привел к Соляжам гостя. Было уже темно, и Юзеф не сразу его узнал, а Тереза узнала и расплакалась от радости и волнения. Тадеуш Мруз высох, как скелет, на его молодом красивом лице лихорадочно горели глаза. У него не было своего угла, он скитался по свету, бедствовал, ожесточился и, как никогда прежде, был уверен в своей бунтарской правде.

— Гитлер идет на нас, — говорил он Соляжам. — Наше правительство строит свое здание на песке, первый же ветер его опрокинет. Промышленность, промышленность... В деревнях голод, в городах голод. Какая народу польза от всех этих затей. Строительство выгодно для буржуев. Но и они недолго попользуются.

Войтан кивал головой, Соляж, насупившись, внимательно слушал. Потом они с Мрузом пели песни, запомнившиеся с тех времен, когда они вместе сидели в тюрьме.

Мруз приходил к Соляжам несколько раз. Он приносил новости, а от Юзефа узнавал о местных делах. С притоком новых рабочих стала разгораться до недавнего времени чуть тлевшая искра протеста.

— Теперь окончательно выяснилось, — говорил Войтан, — у кого какая повадка, кто как в мужицкий кафтан рядится — на правую или на левую сторону его надевает.

Богачи и приспешники ксендзов обвиняли своих противников в большевизме. Один за другим возникали судебные процессы.

Павел Хмель принимал живое участие в событиях. С течением времени он утратил интерес к песням, стал бойким политиканом, хитрил, стараясь снискать симпатии и тех и других.

— Это же сущий крот, жирный крот! — кипел Тадеуш. — Мечтает о депутатском мандате и, если бы не боялся, открыто агитировал бы за «озон» *.

Когда заговаривали о Павле, Тереза мрачнела и уходила из комнаты. Ей неприятны были эти разговоры, а Тадеуш словно совсем забыл о прошлом.

Как-то в воскресенье он привел с собой двоих товарищей, которых Соляжи не знали, и этот день решил дальнейшую судьбу Юзефа. Товарищи Мруза сказали, что едут из Варшавы, открылись, кто они такие, и предложили Соляжу примкнуть к ним. Соляж согласился. Следующие встречи состоялись в Немже, затерявшейся среди лесов, в доме одного из участников крестьянского бунта. Кроме Войтана, Мруза и Соляжа, там бывали два ружанецких батрака да двое рабочих из самого Невыхова. Гдовяк и Фирус прибегали босиком, хотя дорога уже подмерзла. Войтан попрекнул Соляжа его слесарной мастерской и двумя помощниками. Юзеф согласился с критикой и рассказал, как мучился он тогда в одиночестве. Они встретились пять раз, после чего товарищи из Варшавы уехали. Возобновившуюся дружбу Юзефа с Мрузом скрепили теперь новые, прочные узы. Шел 1938 год.

Старый Сикора впоследствии жалел, что по своей оплошности упустил луг Терезы. Он давно на него зарился и рассчитывал, что Соляж, прижатый нуждой, отдаст его за бесценок. Но тот о продаже больше не заговаривал. Когда в Беляве появился Константин Явор, лавочник сразу учуял в нем опасного конкурента. «Явор, — размышлял Сикора, — польстился на землю Рапачей, на хозяйство». Старик не ошибся.

Вся предшествующая жизнь Явора воспитала в нем жадность. Отец Константия получил в наследство от родителей клочок земли в Жджорах и убогую хатенку. Был он в ту пору мужик молодой и крепкий, нищенскую жизнь вести не хотел и отправился искать счастья по свету. Лучшие годы провел в тяжком труде, чтобы не в пример своему отцу обеспечить себя на старость. Ездил в Пруссию, заживо гнил на осушке болот близ Гамбурга, надрывался в шахтах на севере Франции и в Вестфалии.

* «Озон» («Лагерь национального объединения») — блок польских фашистов, созданный в 1937 году и находившийся у власти до 1939 года.

На родину он вернулся с деньгами, которые накопил, во всем себе отказывая, и с артритом, от которого ему скрючило ноги и руки. Несмотря на это, он без труда нашел невесту, женился, построил неплохой, крытый гонтом домик с крылечком. Прежнюю хату приспособил под хлев. С годами старик стал все чаще прихварывать, его жестоко трепала лихорадка, — и тогда жена его, баба еще молодая, решила перенести постель больного в кухню, на лежанку. Сыновья — Костек и Куба — без особых укоров совести примирились с участью отца; им было куда приятнее и веселее оставаться на чистой половине с матерью и ее гостями. И жарким летом и в студеную зиму старый Явор одинаково мерз под своим овчинным кожухом. Как-то вечером он раскалил в плите кирпич, обернул его в тряпку и засунул в солому, которая служила ему постелью. Старику стало легче, и он заснул. В ту ночь спаслись только сыновья. Отец сгорел сразу; мать за ужином напилась с гостями и протрезвела слишком поздно — она умерла в больнице от тяжелых ожогов. Костек и Куба после пожара перебрались в хлев, на «старую яворовку». Они продали скотину, и на некоторое время им хватило денег. Чинить хату деда братья не захотели. Куба был беспечный увалень, Константин же строил свои планы. Он бродил по окрестным деревням и присматривался, пока не нашел то, что ему нужно.

После женитьбы Явор ретиво взялся за хозяйство. Первым делом он отобрал у Котовского мелкие полоски, которые Альдона из дружбы к Гонорке разрешила старику взять в аренду. Потом добрался и до Сикоры, который вот уже несколько лет почти безвозмездно пользовался землей уехавшего в Америку Романа Рапача. Пока Альдона жила одна, она была довольна, что земля хоть не остается под паром. На помощь Соляжей Альдона рассчитывать не могла. В первый год войны Константин был прямо опьянен своей новой ролью. «Устанет, голодранец, угомонится», — говаривал Сикора в кругу своих домочадцев. Так и случилось — от природы ленивый, Константин быстро остыл. Он попытался было прибегнуть к помощи наемных рук, но и это продолжалось недолго; люди прятались, не хотели показывать, что у них есть время работать и на других. Таких в первую очередь включали в списки и отправляли в Германию. В конце концов у Явора остался один Щепанек, не то батрак, не то пастух. В глубине души Явор тешил

себя надеждой, что еще покажет, на что он способен. «Батраков найму, сколько захочу... руки мне будут целовать...» — мечтал он по ночам. И в его воображении рисовалась картина: во всем блеске неограниченной власти он отдает своим слугам короткие и грозные приказы. Явор изменил политику. Ему не удалось вернуть расположение Котовского, зато с Сикорой он возобновил договор об аренде, обеспечив себе широкий кредит в его лавке. Явор уже тогда начал пить.

Тереза не советовала сестре иметь ребенка. Тетка Текля, словно сговорившись с Терезой, также предостерегала Альдону от необдуманного шага.

«Тебе не под силу такая обуза, — говорили они, — уж очень ты хрупкая. Ребенок подрастет, родную мать к земле пригнет...»

Обе они относились к Явору с неприязнью, обеих возмущало, что в их родном гнезде хозяйничает этот погорелец.

Альдона поддакивала, она и сама так думала, с давних пор поверив, что судьба ее странным образом отличается от судьбы других людей и должна сложиться как-то необычно. Но где-то в глубине души упрямо поднималась затаенная обида. Альдона не смела признаться, что в замужестве чувствует себя лучше, чем раньше, что она охотно изменила своей прежней склонности ко всему изящному. «Им бы хотелось, чтобы я стала монашкой, — мысленно упрекала она Терезу и тетку. — А себе небось они в этом не отказывают». У обеих уже были дети.

Константий не выражал желания стать отцом. Альдона не доискивалась причин, она решила, что он жалеет ее. Так прошел год их совместной жизни. Как-то ночью Альдону разбудил жаркий шепот Константия:

— Ты меня любишь, Альдонка?

Она улыбнулась, обвила руками его шею, ей хотелось спать.

— Альдонка?

— Спи, спи, — шепнула она.

Он приподнялся на локте, наклонился над нею и громко проговорил:

— Ты меня слушать не хочешь. Притворяешься только. Да!

Она сразу пришла в себя, в испуге открыла глаза.

— Что случилось, Костусь?

— Я все думаю, думаю...

Альдона слышала, как тяжело он дышит, совсем рядом, у самого ее лица, и вдруг он затих, словно на мгновение заколебался, сказать или нет.

— Я для тебя батрак, нищий, хам!..

Она пыталась его приласкать, уговаривала лечь, но он отвел ее руку, требуя, чтобы она его выслушала.

— Ну, что... что тебе примерещилось? — растерянno простонала Альдона.

— Если бы ты меня любила, — он говорил уже смелее и так гладко, словно заранее приготовил свою речь, — если бы ты думала не только о себе, но и обо мне, так ты бы знала, как я мучаюсь.

— Мучаешься? Тебе худо?

— Худо мне. Нищий я. Ничего у меня нет.

— Как же так? Дурной сон тебе приснился, что ли? Все ведь у тебя есть.

— Как все?

— Да ведь все мое, оно и твое.

Явор, казалось, только этого и ждал.

— Ах! — горько засмеялся он. — Это ты так думаешь. А люди говорят другое.

— Кто говорит, Костек?

— Все говорят. Не тебе, конечно. Да и мне в глаза не смеют. Но я-то знаю! Не он, говорят, хозяин в доме, а она. Срам, Альдонка, просто срам.

Голос у него зазвучал мягче, и, прижавшись головой к ее щеке, он нежно зашептал:

— Перепиши на мое имя землю, Альдонка. Ведь мы любим друг дружку. Все будет иначе, люди будут больше уважать меня. Перепиши на мое имя, чтобы не было так, будто ты меня кормишь. Ну, уважь своего Костека, поцелуй, докажи, что не жалеешь для меня, что...

Рука Альдоны застыла на его жестких, коротко остриженных волосах.

С этой ночи все и началось. Явору достаточно было один раз побороть свою робость, теперь он уже то и дело затевал разговор о земле.

— Пустые выдумки, — убеждала его Альдона. — Ну, что от этого изменится?

Слова застревали у нее в горле, ей было стыдно и за него и за себя. Но по мере того, как росло ее сопротивление, Константин наглел, он совсем перестал стесняться, да и она говорила напрямик.

— Торопишься? — с жалкой усмешкой спрашивала Альдона. — Тебе говорили, что я больная? Смерти моей не дождешься?

Константий выходил из себя, возражал, умолял ее горячо и нежно. Тогда, несколько успокоенная, Альдона находила другие отговорки:

— Погоди, теперь неподходящее для этого время. Пусть война кончится. Надо ведь землемера позвать, точно все обмерить, а то я и сама не знаю, да и никто не знает, где чья земля. Сикора перепахал межи, вытащил колышки. Текле еще кое-что надо выплатить, брату принадлежит часть наследства... Да и узнать надо, работают ли теперь нотариусы, как все это теперь делается...

— Все осталось, как было, — заверял ее Константиий. — Немцев земля не интересует, они в такие дела не вмешиваются.

Явор пронюхал, что родственники восстанавливают против него Альдону. Тогда ему внезапно захотелось иметь ребенка. Словно согласившись с доводами Альдоны, он перестал говорить о себе. Казалось, вернулись первые безоблачные месяцы их совместной жизни. Он снова стал ласковым и внимательным, развлекал Альдону забавными рассказами о своих мальчишеских похождениях, расспрашивал о ее детстве. Она дала себя провести. Слишком уж ей хотелось, чтобы он всегда был таким, как теперь; слишком тревожила ее мысль о том, какие бесконечные страдания ждут ее, если окажется, что он и в самом деле подлый человек, что они друг другу чужие. Альдона прозрела, когда было уже слишком поздно. Неожиданно он затеял такой разговор:

— Ну посуди сама, что у тебя за семья! Просто не верится. Они меня боятся, как черт ладана. Я для них проходимец, враг... Что у них изо рта кусок вырву...

— Ты опять за свое! — встревожилась Альдона, но он упрямо продолжал:

— ... изо рта кусок вырву, обворую их, что ли? Им самим хочется все прикарманить. Как они тебя уговаривали нейти за меня замуж! Да не только за меня, вовсе не советовали выходить замуж. Ты не думай, Альдонка. И Пореш не побрезгал бы твоим добром, и Соляж, хоть он такой скромник. Все, что у тебя есть, им хочется для своих детей загрести.

— Да что ты болтаешь, опомнись! Ведь я еще жива...

— Ну да, — неуверенно согласился он и, вернувшись к своей мысли, продолжал: — А уж раз по-ихнему не вышло и не выходит, так они хотят, чтобы у тебя хоть детей не было. Поняла?

— Почему? — спросила она, бледнея.

— Потому что им наследство достанется, когда ты...
Последнее слово он процедил снисходительно, словно из жалости.

— Какой же ты подлец!

Альдоне показалось, что эти слова произнесла не она, а кто-то другой. Свершилось. Так она его назвала впервые. В глазах у нее потемнело, все кругом залила какая-то внезапно нахлынувшая мутная волна. Константин вышел на улицу, откуда-то издалека до Альдоны донеслись два голоса — его и Щепанека. Она чувствовала стеснение в груди, резкую боль во всем теле и устало, с раздражением думала о том, что не на кого ей теперь положиться и, вероятно, она не полюбит своего ребенка.

Альдона плохо разбиралась в законах и после этого случая попыталась исподволь, осторожно выяснить, какая часть наследства причитается после смерти жены мужу и какая — детям. На душе у нее было беспокойно, она все еще предавалась печали. Константия она разгадала до конца, но от этого ей не стало легче. Ее пугала судьба еще не родившегося ребенка, преследовали смутные и грозные предчувствия. В такие минуты она говорила себе, что будет стеречь ребенка днем и ночью. Потом снова и снова убеждала себя в бессмысленности своих страхов: ведь Константин сам хочет ребенка, ведь он рассчитывает с его помощью урвать для себя самый жирный кусок. Но если это верно, значит, ребенок будет союзником Константия, будет против нее. Так, готовясь стать матерью, терзалась Альдона, не зная, что говорит в ней сильнее — любовь или ненависть.

Не все, однако, можно было предвидеть.

IV

ДЕРЕВЕНСКИЕ ДЕЛА

Партизаны сожгли полицейский пост в Немже, ранили часовых и дежурного и увели двух арестованных. Отряд ушел в леса и там словно сгинул. Куда девался Тадеуш

Мруз? Что случилось с учительницей панной Гожек? Ушли с «лесовиками», нет их. У Яворов сбежал пастух Шепанек, а в Соляжа стреляли, но он ушел от пули. Семейю Фируса из Немжи — отца его, сестру и двух младших братьев — забрали гестаповцы, и никто не знает, что с ними случилось. Говорят, что Павел Хмель, хоть он и профессор, а тоже крестьянам головы морочит, тянет куда-то...

— Это дело другое, — вступались за Хмеля люди, разбивавшиеся в политике. — Хмель не пепеэровец.

— Кто? — скривился, не расслышав, старый Сикора. — Пепеэровец? Что это за штука?

— Да вроде польские рабочие, — объяснил солтыс Греля, — партию такую основали. Кулик говорил, что они прокламации в деревнях распространяли, а полиция собрала сколько сумела. Вот и все, что я знаю.

— Вы их читали? Видели? — заинтересовался Сикора.

— Нет, я не... — солтыс запнулся и вместе с тем явно встревожился.

— Ну, ну, ну! Вы только поглядите, люди добрые, — издевался лавочник, притворно удивляясь и качая головой. — Политическая партия? В такое время? Да где у них эта самая Польша? Да какие тут у нас рабочие? Слепые они, что ли, не видят, что на свете творится?

— Должно быть, не видят, — неопределенно согласился Греля.

Вернувшись домой, он сразу напустился на сына.

— Чтобы это было в последний раз! Ты мне сюда никаких бумаженок не таскай, а то я с тебя шкуру спущу.

— Я ведь вам говорил, что в лесу их нашел, — оправдывался Янек.

— Не ищи, чего не терял. Беду накличешь! Лучше катехизис читай, раз ты такой осел и безбожник.

У Грели было двое детей. Опасаясь, как бы его старшую дочку, подростка Ядвисю, не угнали на работы в Германию, он пристроил ее в Невыхове служанкой у Порешей. Торгаш был у немцев в милости, и солтыс мог не беспокоиться о судьбе дочери.

Греля с затаенной гордостью смотрел на сына. Янеку шел одиннадцатый год, он тайком учился у панны Гожек и уже окончил третий класс; шустрый парнишка и в чтении был силен, как мало кто из стариков. Из-за войны занятия в школе разладились, а теперь учительница и вовсе исчезла. Хорошо еще, что ксендз-викарий взял под свою опеку

самых младших школьников — многие из них не готовились еще к первой исповеди, хотя давно уже прошли все сроки. Услышав обращенный к ним с амвона призыв, родители устыдились и раз в неделю стали посылать детей к викарию в Немжу.

Жителям Беявы было о чем потолковать. Новостей — и важных и пустячных — была целая уйма. Еще не умолкли разговоры о надолго запомнившихся крестинах у Яворов, как разнеслась новая весть: арестовали Жондлика. Приехали за ним под утро, когда он еще спал, били, сапогами топтали и увезли с собой. Изрядно досталось и его бабе; вероятно, ей голову повредили, потому что не в себе она стала. Совсем забросила детей, по целым дням носится по лесу да по деревне, жалуется на судьбу и клянет лесничего Хетту за то, что он будто бы погубил Жондлика.

В тот год люди запоздали с косью — конец лета был дождливый. Все сулило скотине голодную зиму. Альдону особенно огорчало, что из-за ненастной погоды пропадает луг Терезы. Раньше два раза в год в Беяву являлся Соляж с косой и оселком за поясом, косил траву и отвозил сено домой. Теперь он прийти не мог. Наконец, Альдона дождалась погожего утра — она просыпалась рано, чтобы покормить сына, а окно боковушки выходило на восток, и всегда можно было узнать, какой выдастся день. С тех пор как родился Болек, Константин спал отдельно, его кровать стояла в другом углу. В ту ночь Альдона не слышала, когда он вернулся. Она быстро оделась, прошла на кухню, растопила плиту, потом вернулась в боковушку и присела на край кровати Константия.

— Вставай, Костек, надо же, наконец, скосить этот луг.

Явор лежал лицом к стене и даже не шевельнулся.

— Ты ведь знаешь, что им это не под силу. Надо помочь, стыдно...

Альдона хорошо изучила повадки мужа — он не спал. Не поднимая головы, Явор спросил:

— Что? Какой луг?

— Не прикидывайся дураком. Скосишь и отвезешь сено Терезе.

Вдруг он резким движением откинул перину, сел и, рванув на груди рубаху, подался вперед всем телом. Альдона вскрикнула. Лицо у него распухло, глаз был подбит, на исцарапанной щеке запеклась кровь. Пониже шеи виднелась красная полоса.

— Нет! Нет! — кричал он с яростью. — Ты только погляди, как они меня отделали! Разбой, наглый разбой на большой дороге!

— Где?

— Я возвращался от Хетты.

— Ты их узнал?

— Как же! Они мне представились. Да я и без того догадался. Все та же банда. Дружки Соляжа! Уж я им... — Он задыхался от бессильного гнева. — Чтоб он пропал, этот луг, чтоб он пропал, этот Соляж, чтоб они все сдохли... А ты тут ко мне лезешь... Уйди! Убирайся вон!

Так он бушевал и бранился без умолку. В нем кипела злоба, он не мог совладать с собой и выболтал Альдоне больше, чем хотел. На прощанье они сунули ему в карман листок бумаги, где было написано: «Чтобы ты, предатель, Кулику не...» Листок так истрепался, что больше ничего нельзя было прочесть. Каллиграфически выведенное слово «предатель» было подчеркнуто жирной чертой.

Альдона не на шутку испугалась, когда, выглянув в окошко кухни, увидела Терезу; она вышла к сестре навстречу и задержала ее во дворе. Тереза привела корову, которую ей когда-то подарила Альдона. Держать корову в Рыбках она больше не могла. Торгаш Пореш, их свояк, предупредил Терезу, что власти косятся на Соляжей, ищут только случая, чтобы расправиться с ними, пустить по миру. Да и кормов не хватает. Сестры пошли в хлев и, привязав Краску в ее прежнем стойле, посидели на покинутой постели Щепанека, поплакали, поделились друг с дружкой своими бедами. Альдона обещала помочь сестре. Она наскоро подсчитала, когда и сколько сможет уделить ей масла, сыра, а также муки и крупы. И сразу забеспокоилась, удастся ли ей выполнить обещание, потому что даже Терезе она не призналась в самой главной, самой грозной своей беде, о которой никто еще не знал.

— Ступай, Терезка, — попросила она, — лучше, чтобы Костек тебя здесь не видел. Он болен, лежит в боковушке... Я ничего ему сегодня не скажу, пусть у него дурь пройдет... Прости меня за то, что я тебя не позвала в дом... В наш дом...

Они еще некоторое время посидели молча, растерянные, погруженные в свои мысли.

Альдона умышленно задержалась в хлеву. Как только они с Терезой уселись на сенник Щепанека, она сразу

услышала, как что-то зашуршало под ними по-особенному, не так, как шуршит солома. Сейчас она с лихорадочной поспешностью откинула рваное одеяло и обнаружила в постели плохонькую тетрадку. Она подошла к окошку и долго внимательно всматривалась в неумелый, старательный почерк. Значит, Щепанек тайком учился! Наверно, у панны Гожек? Грамматические упражнения перемежались с задачками. Почему он скрытничал? Неужели Альдона не помогла бы ему? Она смотрела теперь на цифры и буквы с дружеским расположением к Щепанеку и удивлением, но эти чувства вскоре уступили место беспокойным угрызениям совести. «Эх, не заботилась я о нем». Альдона сердилась на себя, на Щепанека, который все от нее скрыл, и уже наскоро перелистала остальные странички. На последней она увидела броские, видимо, второпях написанные слова: «Смерть предателям!!!»

Альдона спрятала тетрадку в самом темном углу, под кормушкой. Она тяжело дышала и, словно не будучи в силах постичь все значение своего открытия, шептала про себя: «А мне-то казалось, мне-то казалось, что он любит Константия».

Когда она подходила к дому, все еще размышляя о Щепанеке, ее остановил раздавшийся из окна окрик: — Альдона! — Она стала как вкопанная. Значит, он все время был здесь? Подсматривал? Константин в расстегнутой рубашке оперся о подоконник и пристально вглядывался в Альдону, потом он кивком подозвал ее.

— Я забыл тебе рассказать, что Хетта загубил свою лошадь, — как ни в чем не бывало заговорил он. — Его Каштанка сломала ногу, ну, а от хромой клячи много ли проку? Пришлось ее прикончить.

Альдона побледнела, он заметил это и усмехнулся.

— Прогуляйся, Альдонка, еще раз до хлева.

— Чего тебе надо?

— Ты у порога оставила подойник, куры его загадят.

Она не шевельнулась.

— Живей! — крикнул он. — Живей, черт побери! —

И едва она прошла несколько шагов, снова заорал: — Живей! — Когда Альдона повернула назад, он снова ее остановил: — Да ты ведь хромаешь, — сказал он.

Она попыталась что-то ответить, не тут-то было:

— Как ты смела скрывать! Обмануть меня захотела! Меня!

Явор стукнул кулаком по оконной раме и приказал жене идти домой. Альдона убежала в сад. Он был в одном белье и догонять ее постеснялся.

Распахнув окно в боковушке, Явор орал и поносил Альдону так, чтобы было слышно в саду:

— Ты думаешь, у меня глаз нет? Думаешь, я ничего не вижу? Хозяйка хромая, калека! Мне хромушка не нужна!

В эти минуты в пожелтевшем, осеннем саду навсегда умерла ее любовь...

Перед рождественским постом в Беляве появились две новые супружеские пары. Гонорка Котовская добилась, наконец, своего, и Рафал Мысонь перетащил из многих своих квартир на постоянное место гармонику, кое-какую одежку, шкатулку с зеркальцем, в которой хранились предметы холостяцкого обихода, — вот, пожалуй, и все, если не считать туго набитого бумажника, с которым он никогда не расставался. Свадьбу справили скромно, и ни для кого она не была неожиданностью. Зато люди немало удивились, когда без всякого предупреждения ксендз три раза кряду сделал оглашение о предстоящем браке Збышека Сикоры. Збышек женился на Юстинке Хмель, младшей сестре Профессора; шумную, как и пристало богачам, свадьбу справили родители невесты, да и у Сикор погуляли, когда в дом привезли молодую.

Тереза избегала встреч с Павлом Хмелем, а встретиться с ним было нетрудно, особенно в базарные дни и по воскресеньям около костела в Рыбках. Однако она думала о нем довольно часто, и сама этому дивилась. Иногда она старалась представить себе, как могла бы сложиться ее жизнь без Юзефа. Ей сразу становилось как-то неуютно, и уже одно это доказывало, что она сделала правильный выбор. Тереза корила себя за то, что у нее слишком цепкая память, слишком много хранит воспоминаний. Павел стал для нее как бы тенью, по которой она узнавала, где солнце. Но когда Юзеф бывал далеко от нее, когда он слишком долго не возвращался, вместе с беспокойством и тревогой о нем росла тень. В день свадьбы у Хмелей Тереза послала своего Владека на разведку.

— Подойди к их дому, погляди, как там веселятся, кто у них в гостях. Может, дядя Пореш? Может, тетя Текля? Разузнай хорошенько. Только смотри, чтобы никто тебя не увидел... — И на всякий случай Тереза одела сына по праздничному.

Владек вернулся довольный, с большущим куском сладкого пирога в руках.

— Это для Магдуси, — гордо заявил он, кладя свой дар на пол подле маленькой сестренки.

— Ты так шел по городу? С пирогом?

— Да. А что?

— Владек, Владек! Что же ты там делал столько времени?

— Играл с Янеком, сыном Грели, ну, знаешь, с тем, из Беявы.

— Значит, старый Греля там?

— Солтыс? Да.

— А кто еще? Профессора ты видел?

— Нет. Не знаю.

— Тебя спрашивали, чей ты?

— Конечно!

— И ты им сказал? Что ты сказал?

— Сказал, что я Владислав Соляж, вот и все, мама.

Тереза избила сына. Это было несправедливо; плач Владека разрывал ей сердце. Мальчик чувствовал, что мать не уверена в своей правоте, и, еще всхлипывая, перешел в наступление.

— Когда я пойду к исповеди, мама?

Тереза притворилась, будто не слышит.

— Янека Грелю учат катехизису. Почему меня никто не учит?

В голосе мальчика звучала обида. И, так как мать молчала, Владек не унимался.

— А про нас говорят, что мы левые, — пожаловался он.

— Кто говорит?

— Хмели. Мне Янек сказал.

Увидев, как потемнело лицо матери, мальчик испугался и неуверенно спросил:

— Что значит левые?

— Отвяжись. У отца спросишь.

— Нет, ты скажи.

— Левый — это левша, человек, который все левой рукой делает. Хлеб режет, дрова рубит, рожь сеет — все левой рукой. Ты не слушай, Владек, глупости они говорят.

— Стало быть, эти Хмели обманщики, — вздохнул Владек.

«Боже мой, — думала Тереза, — куда же это Юзеф пропал, скорей бы уж он вернулся, не хватает у меня ума, не

справиться мне». И как ни тяжело ей было, Тереза сильнее, чем когда-либо раньше, презирала ту, другую жизнь, которая ее обошла, и хотя Юзефа не было с нею, она чувствовала его близость, — вот он тут, совсем рядом. Подняв с пола кусок пирога, к которому Магдуся так и не приоткрылась, Тереза раскрошила его и кинула за порог курам.

Как-то ночью Тереза услышала тихий стук в окно. Осень затуманила оконные стекла и выстудила комнату; дрожь пробежала по спине Терезы, когда она осторожно, чтобы не разбудить детей, отодвигала в сенях засов. Она сразу, еще не видя его, узнала гостя; прежде чем постичь разумом, инстинктивно почувствовала, что это он, человек, который ей ближе всех на свете. Мокрым от слез лицом она прижалась к таким знакомым впалым щекам, ощутила их колючий холод. Сырость вытравила из отворотов куртки застоявшийся запах старого железа и смазочного масла. Не замечая стужи, он здесь же, на пороге, сказал ей о самом важном:

— Терезка! Дела немцев плохи. Русские бьют их. Ты понимаешь, что это значит?

Она понимала, хоть и не совсем. По радостной дрожи в его голосе Тереза догадывалась, что он принес хорошие вести. Впервые в этих сенях среди шума осенней ночи услышала она названия далеких городов на востоке; Юзеф говорил об этих городах так свободно, словно только что там побывал. Когда они вошли в комнату, худенькие детские руки неожиданно обхватили Соляжа. Он присел на корточки.

— Теперь иди спать, Владек, — попросил он наконец.

Лампу зажигать они не стали. Тереза в темноте собрала ужин. Юзеф не видел, как она беззвучно заплакала, узнав, что он покинет ее еще до рассвета. Ел он долго, обстоятельно, смачно жевал плохой хлеб. Тереза подождала, пока он поест, потом стала расспрашивать его обо всем.

— Жондлик повесился в тюрьме, — сказал Юзеф.

Ни Соляж, да и никто из его друзей не знал, много ли удалось вытянуть из Жондлика. Был у них в полиции свой верный человек, он утверждал, будто следствие пошло по линии тайных лондонских связей. Быть может, сам Жондлик захотел перед смертью отомстить тем, кто так вероломно предал его.

Место белявского лесника было долго свободно, почти

девять месяцев. Местные жители быстро привыкли к выходкам помешавшейся вдовы Жондлика. Ее крики и проклятия, ее рваное платье и растрепанные волосы пугали только малых детей. Когда она бросилась на Хетту с кулаками, он огрел ее арапником, а потом натравил на нее собаку. Сикора и Явор не впускали ее к себе во двор, предусмотрительно запирали ворота и калитки. Она честила их из-за забора, и самый выбор лиц, которых посещала безумная, давал любопытным повод для различных предположений. Но поскольку она чаще всего проклинала самое себя, грызла пальцы, била себя в грудь, никто ничего не понимал. Сострадательные соседи взяли на себя заботу о ее детях, а потом нашлись какие-то родственники и увезли сирот вместе со всем добром покойного лесника.

В Беяве стало известно, что исчез Профессор — ему грозит опасность, и он где-то прячется. А лесничий Хетта дважды ездил в Невыхов в полицейской машине под конвоем зеленых мундиров и дважды возвращался цел и невредим и никому не жаловался. За повседневными делами деревня скоро позабыла об этих событиях, и жизнь пошла по заведенному порядку. Стало как будто спокойнее.

Константий Явор находился в состоянии лихорадочного возбуждения. Он часто забегал к Хетте; несколько раз, ничего не сказав дома, куда-то уезжал на целый день; люди видели, как он беседовал с комендантом Куликом. По вечерам он что-то бормотал себе под нос и словно в сомнении щелкал пальцами. После визита к Мысоню и состоявшегося между ними разговора Явор уgomонился и затих. Рафал приступил к делу без обиняков.

— Сдается мне, Явор, что бляха лесника тебе не больно нужна.

Они были на «ты», но называли друг друга по фамилии, как школьники.

— Пронюхал? — спросил Константиний без особого удивления.

Мысонь усмехнулся, обнажив мелкие, как у девушки, зубы.

— Уступи это место мне, Явор, по дружбе советую. Хочешь засыпаться, как Жондлик? Зачем? У тебя большое хозяйство, занимайся лучше им, это куда выгоднее. Лес рубить и при мне сможешь, а с Куликом вы и так свои люди.

— При чем тут Кулик? — Явор хотел прикинуться, будто ничего не понимает, но Рафал со снисходительным нетерпением махнул рукой.

— Не пугайся, никто об этом не знает. Да и что тут такого, властям помогать — дело хорошее.

— Вадор! — вспыхнул Явор. — Неправда. Я хочу жить спокойно. Я уже все обдумал. Место лесника дает честный хлеб. Да и о чем разговаривать — они меня берут.

— И меня возьмут, если ты не помешаешь.

Явор насторожился и пристально поглядел на Мысоня. Вкрадчиво, как будто желая польстить ему, Константиний сказал:

— Ты, Мысонь, бессовестный мужик. Скажи, что я получу, если отступлюсь? Ведь дело почти что слажено! Но ему не удалось сбить Рафала с толку.

— А ты представь себе, — ответил Мысонь, — какую беду на себя накличешь, когда нацепишь пояс с бляхой. Ты подумай о своих врагах. Теперь они сидят тихо, но чуть что, так и накинута на тебя. Лес ворует? — Мягким движением руки он удержал разъярившегося Константия. — Ворует. А дадут ли тебе потом воровать? Не дадут. И Кулик не поможет. Вспомни-ка Жондлика.

— Жондлика не за это взяли! У Жондлика было другое дело.

— Другое? — вежливо удивился Рафал. — Не знаю. А тебе... разве не могут прийти другое дело?

Явор прикусил губу, а Мысонь продолжал:

— Сикора лес ворует? Ворует. Если ты его не выдашь, он будет тащить все больше и больше, пока не утопит тебя. А если ты его выдашь, еще вернее тебя утопит как соучастника. Збышек Сикора охотится, закон нарушает? Небось тоже знаешь? А что ты ему сделаешь? Что ты сделаешь Сикорам? Ты у них в руках. Да и не только у них.

Явор тяжело дышал, но ничего не ответил.

— Ты подумай, — не унимался Мысонь, — кто у тебя поперек дороги стоит. Сикора! Набрал ты у него товару в лавке, по уши сидишь в долгах...

— Да ты настоящий шпик! — прошептал Константиний почти с восхищением.

Мысонь словно не расслышал и безжалостно продолжал:

— Крестины помнишь? Кто на вас облаву устроил? Сказать?

Явор скрипнул зубами.

— Вот видишь, — торжествовал Мысонь, — какие у тебя соседи.

— Хватит! — закричал Явор. — Иди к черту!

Он повернулся и ушел, не подав Рафалу руки. Назавтра Явор вызвал Мысоня из дому.

— Чтoб ты пропал! — сказал он без предисловий. — Добивайся места... И помни, Мысонь, что я тебя уважил...

— Не бойся, — заверил его Рафал, — не пожалеешь. — И крикнул ему уже вслед: — Кланяйся жене! — Но Константий даже не повернулся, он кипел от ненависти.

В конце лета Рафал Мысонь, к радости Гонорки, которая после этого очень возгордилась, опоясая желтым ремнем с гербом ведомства лесной службы.

«Так вот и бывает на свете: одному почет, другому беда», — говорили в Беяве, когда в ту же самую пору солтыса Грелю лишили должности. Все его жалели, особенно бедняки, потому что он старался им помогать, чем только мог. Греля поступал так по влечению сердца — он смутно чувствовал, что общие интересы связывают его вовсе не с теми, кто ради собственной выгоды вознес его над другими. Печать солтыса ему доверили богачи, рассчитывая, что без труда подчинят его своей воле, а себя не обременят никакими обязанностями. Греля все это знал, потому что и в других деревнях случались такие вещи. Даже войт* в Немже, крепкий хозяин, по богатству не уступавший ксендзу-настоятелю, предпочитал видеть на посту солтыса человека безропотного, которым он мог бы командовать, как ему вздумается.

Еще до войны не легко было Греле и защищать интересы таких, как он сам, и угождать беявскому начальству. Нравственный долг и служебные обязанности угнетали Грелю своей непримиримой противоположностью. Потом, при немцах, стало еще труднее. Но Греля решил, что не обманет доверия тех, кому судьба послала самые тяжкие испытания. Он заботился о таких людях, относился к ним с прежней добротой и сердечностью. Крестьяне, которым грозила отправка на принудительные работы, исчезали в лесах, партии уходили в город с опозданием и в неполном составе. Лишь до поры до времени солтысу удавалось отговариваться тем, что деревня бедная. Не зря его предостерегали

* Войт — выборный староста в гмине, которая в Польше является низшей сельской административно-территориальной единицей.

в немжанской гмине и внушали, что он еще пожалеет о своей доброте. Грелю вызвали в уезд; он вернулся через три недели постаревший и больной, по ночам мочился под себя, как грудной ребенок, харкал кровью. Дома он застал полное разорение — несколько раз производили обыски, изъяли хлеб и увели корову, будто бы в возмещение убытков, понесенных от его недобросовестности.

Место Грели занял Нехоцкий, один из самых богатых мужиков, живший на краю деревни, почти у самых Жджор. Ходили слухи, что Нехоцкий свое хозяйство выманил у дьявола, и это было похоже на правду. Белявские старики утверждали, будто прежний владелец усадьбы зналсЯ с нечистым. Он продал душу дьяволу, а тот скрепил сделку своей печатью: выжег на деревянном полу огненный след копыта. Со временем человек этот обратился к богу, но повредился в уме, и Нехоцкий за гроши купил у него дом и землю, настелил новые полы, и во всех делах ему везло.

«Судьба по волчьему следу идет», — твердили крестьяне, когда у Сикоры, самого благополучного из жителей Белявы, случилась беда и впервые поколебалось его сытое спокойное существование.

Должно быть, кто-то на него донес, и к тому же обратился сразу к высокому начальству, а не к местной полиции, благоволившей к лавочнику. Неожиданно к Сикорам ввалилась комиссия — одни немцы, старик никого из них не знал; их громкий непонятный и враждебный говор испугал его. Немцы, видно, имели точные сведения, потому что сразу нашли все, что искали: спрятанные в погребе под магазином нормированные товары, целые штабеля строевого леса и дров, недавно срубленных и без квитанций, а вдобавок ко всему в кладовой — тушу застреленного оленя. Збышек во-время удрал; немцы избили старика и увезли с собой. Дело приняло скверный оборот — за хранение оружия грозила смертная казнь. Збышек кинулся искать помощи у Хетты, просил его взять на себя вину за убийство оленя — лесничему ведь можно иметь ружье и охотиться. Но сезон был для охоты запретный и стреляли не дробью — хорошо, что хоть не обнаружили в туше пулю. В конце концов Збышека выручил Кулик — оленя, мол, уложил полицейский ночью во время дежурства. Эта хитроумная уловка стоила больших денег — взяли немцы, взял Кулик, да и Хетта взял. Когда Сикора вернулся в Беляву — дома хоть шаром покати.

Как раз накануне этих событий Сикоры поссорились с Котовским, и подозрение пало на него: старый враг. Узнав об этом, Котовский схватил стоявшую в углу палку и кинулся к соседям. Четверть века не отворял он их калитки, и силы ему изменили. Он упал перед самым крыльцом, лицо его налилось кровью, глаза вышли из орбит. Старик выронил палку, рванул ворот рубахи и захрипел. Оба Сикоры, отец и сын, выбежали из дому и стали громко звать Гонорку и Рафала. Когда старый Сикора наклонился над соседом, Котовский плюнул ему в глаза и испустил дух...

Вести о разгроме немецких войск на Восточном фронте хоть и с опозданием, но все чаще доходили до Белявы. Когда Греля оправился после болезни, он стал бродить по деревням, собирая всякие новости, как достоверные, так и сомнительные. В Ружанцах, прежней резиденции графов Шиц-Нивиских, батраки будто бы тайком слушали радиопередачи. Они-то и предсказывали близкий конец войны и уже готовились добывать непрошенных гостей и захватить власть в свои руки. В тех же Ружанцах садовнику Рендзиковскому во сне явилась святая Екатерина, покровительница прихода, под руку с молодым паном Нивиским; они приказали ему привести в порядок помещичий дом и ждать скорого возвращения законных хозяев. Он хорошо запомнил, что обе почтенные особы были в мундирах союзных армий — это не подлежало никакому сомнению. Садовник увидел вещий сон в канун храмового праздника, в самый день отпущения грехов, и верующим, которые густой толпой собрались около костела, было потом о чем рассказать дома. Почти одновременно разнеслись новые слухи — о советских парашютистах, которыми будто бы кишмя кишат окрестные леса. Какой-то мужик ставил капкан на лисиц и столкнулся лицом к лицу с Тадеушем Мрузом, которого сопровождали люди в кожаных шлемах и ружаецкие мужики. А Павел Хмель объявил, что в большевистской России выпустили из тюрем всех арестантов, роздали им значки с польским гербом и составили из таких людей армию, которую называют «польской».

— В Ружанцах панские батраки говорили, что это в самом деле поляки — либо беженцы, либо тамошние жители, но родом из Польши, — возразил Греля.

— Ну да! — усомнился Нехоцкий. — Много они знают!

— Всякая армия хороша, лишь бы врага била, — вмешался Збышек, но отец цыкнул на него:

— Дурак! Очень они нам нужны! Что тамошние, что здешние — все едино.

— Разумеется,— примирительно заметил Профессор.— Нам не нужны ни те, ни другие. Но Збышек прав, если я его верно понял. Пусть они друг друга лупят, нам легче будет навести порядок. Ты это имел в виду?— обратился он к свояку.

Збышек промолчал, и Хмель с беспокойством блеснул стеклами пенсне.

— Интересно,— рассуждал вслух Греля,— кто же придет к нам раньше: англичане или русские...

— А вам чего хочется? — вызывающе спросил новый солтыс. Но прежде чем Греля собрался ответить, Сикора презрительно фыркнул:

— Русским босиком бежать легче, сапог-то у них нет.

— Не беспокойтесь о них, отец, они хорошо у немцев обулись, еще под Сталинградом.— Збышек говорил быстро, глотая окончания слов, как всегда, когда хотел досадить отцу.

— Где, где?— Сикора по привычке притворился, будто не дослышал. Когда при нем произносили некоторые слова, слух ему изменял, зато сам он становился холоден и надменен.

— Под Сталинградом,— выручил Павел Збышека.— Он намекает, если не ошибаюсь, на разгром армии фон Паулюса. Да, действительно попался. А дельный был генерал, ничего не скажешь,— воздал Павел должное Паулюсу.

— Чего мне хочется? — Греля никогда не поспевал за речистыми собеседниками.— Спокойно пахать, рожь сеять, хлеба иметь вдоволь. О большем я и не помышляю.

— Америка завалит нас мукой, будьте спокойны,— буркнул Нехоцкий, но Греля возразил:

— Не в этом дело. Надо, чтобы мужик стал, наконец, человеком. Власть должна быть крестьянская.

— Правильно! — обрадовался Профессор.— Наше правительство говорит то же самое.

— Наше правительство? То, что в Лондоне?

— Да, то, что в Лондоне.

После паузы Хмель спросил: — Что, пан Греля, боитесь Советов?

— А кто его знает! Как будто нет... Я русских помню еще с той войны, честный народ...

— Да ведь это разные вещи,— потерял терпение Хмель.

— Может быть,— согласился Греля.— Только говорят, будто для мужиков Советы хороши.

— Говорят-то небось голодранцы из Ружанцев?— съязвил Сикора.

— Мне-то что, сами знаете,— пошел на попятный Греля.— У нас в Беляве помещиков нет, да и мне чужого добра не надо. Вы спросили, вот я и сказал, что не боюсь.— Он помолчал немного и, вздохнув, прибавил:— Мне у них только то не нравится, что они не веруют в бога, религию преследуют...

— Преследуют...— повторила, как эхо, жена Збышека Юстина; спицы, которые так и сверкали у нее в руках, на мгновение остановились. Вязанье, лежавшее на коленях Юстины, немного прикрывало ее располневшую талию. Молодая женщина редко вмешивалась в разговор. Когда она время от времени посматривала на брата, глаза ее светились обожанием, но всякий раз, когда раздавался голос Збышека, Юстина настораживалась, и по лицу ее было видно, что ей стыдно за мужа.

— Они говорят, будто у человека нет души! — ужасался Сикора.

— Оно и хорошо для военного времени,— отрезал Збышек.

— Интересно. Как ты это понимаешь? — спросил Хмель, с невозмутимо благожелательной улыбкой поглаживая свой лысый череп.

— Да так понимаю, что солдат смерти не боится.

— А наш солдат разве боится, хоть на знаменах написано: «Бог и родина»?

— На знаменах... — прыснул молодой Сикора, но Юстина испуганно взмолилась:

— Збысь!

— Что это ты стал таким еретиком? — Сикора понизил голос, что предвещало вспышку гнева.

— Вот сделаете меня органистом, я и обращусь к богу. Юстина мне уже стихарь шьет...

Юстина покраснела, все засмеялись, и разговор перешел на другие темы.

Павел Хмель поселился у Сикор, как только удалось замять дело об олене. Сестра обрадовалась его приезду — Белява ей уже опротивела. Профессор рассеял опасения лавочника, объяснив ему, когда они остались с глазу на

глаз, что скитается он по чужим углам только так, для вида: с властями и полицией у него все согласовано. Почему он не живет у родителей, как раньше? Так лучше, — а почему лучше, со временем станет ясно. И пусть люди видят, что он должен прятаться от оккупантов. Оба пожалели о своей дружбе с Грелей, ненужной теперь, потому что Греля больше не солтыс. Зачем было приглашать его на свадьбу? Они изо всех сил старались привлечь на свою сторону Нехоцкого, что им и удалось.

Старый Сикора заболел. В опустошенной лавке проводила часок-другой его жена: она отпускала покупателям по норме мутный керосин и расписывала вместе с Нехоцким водочный паек. Сикора по целым дням сидел в ивовой плетеной качалке; он не знал, как убить время, и начал чудить. Старик вбил себе в голову, что Профессор должен научить Збышека играть на органе, раз уж сына не тянет ни к хозяйству, ни к торговле. Органист — это почти ксендз и почти пан — в поле за него мужики поработают, а жить органисту даже легче, чем ксендзу, потому что он может жениться. Юстина, воспитанная в строгой набожности, охотно слушала рассуждения старика: она любила церковную службу. Збышек и Павел многозначительно переглядывались, но никто этого не замечал. Для общего спокойствия Профессор привез из родительского дома старинную фисгармонию, и почти каждый вечер от пруда к деревне неслись ее тягучие звуки. Профессор занимался со своим учеником в отдельной комнатке, кроме того, они часто уезжали в Немжу будто бы послушать костельный хор с органом. В ту зиму в списке лиц, завербованных Профессором, появилось имя Збышека. Но согласие между ними длилось недолго.

— Разве ксендзам полагается соваться в политику? — усомнился Збышек.

— Это не политика, а борьба, — возразил Хмель.

— Не знаю. Борьбы я не вижу. В исповедальнях людей пугают, грозят им антихристом, а от этого гитлеровцев не убудет.

— Ты говоришь о викарии?

— Викарий... может, и нет... — заколебался Збышек. — Но ксендз-настоятель...

Збышеку не нравилось, что его свояк стал якшаться с Явором и Мысоном: он недолюбливал их обоих и не доверял им. Павел то и дело, ничего не сказав Збышеку, уходил с

ними к Хетте. Збышек сердился. Однажды он случайно подслушал конец разговора отца с Павлом. Они старательно подсчитывали, кто в Беляве и соседних деревнях «ненадежный». Збышек не догадался бы, о чем идет речь, если бы не прозвучала фамилия Мруза.

— Такие, как он, Польше не нужны, — гудел Сикора. — Немцам меня выдал не Котовский, а один из них...

Збышек с горечью подумал, что отец стал беспокоиться о судьбе Польши лишь с тех пор, как немцы его избили и ограбили. И, как ни странно, больше всего он злится вовсе не на них...

У Мысоня собирались разные люди — и свои, деревенские, и приезжие. Рафал щедро угощал всех самогоном и сигаретами, которые он выпрашивал у щуцмансв.

После крещения на Беляву свалилась новая беда — реквизиция скота. Во дворе у Нехоцкого расположился Пореш. Двое полицейских, зевая, следили за порядком. Рядом с торгашом восседал Явор, которого вызвали на подмогу. Вероятно, поэтому Явор легко отделался — сдал корову Терезы, самую худшую. Сикоры привели одну телку, и власти этим тоже удовлетворились. Надолго остался в памяти Збышека плач жены Грели, его крестной, которую обидели сверх всякой меры. Быстро подкрался зимний вечер, трещал мороз, а крестьянскому горю все еще не было видно конца. Вдруг раздались выстрелы и сразу погасли фонари; во двор ворвались какие-то незнакомые люди, опрокинули стол со списками и скомандовали, чтобы белявские мужики забирали свою скотину. В кромешной тьме поднялась суматоха; обезоруженные полицейские удирали, прикрывая головы кожаными сумками; Нехоцкий и Пореш спрятались в доме, заперли двери. Зазвенело оконное стекло.

Явор увяз в сугробе, чувствуя на затылке горячее дыхание своего преследователя.

Он обернулся, поднял руки и вдруг закрыл лицо.

— Сжался! — завыв он и упал на колени.

Занесенный для удара кулак медленно разжался.

— Ты опять, Явор, думаешь, что меня уже нет в живых...

Оба тяжело дышали. Константин не отнимал рук от лица. И еще он слышал:

— Если бы не твой ребенок, Явор...

Дерзость нападения привела в удивление и воодушевила жителей Белявы. Из нескольких домов пропали парни. Родители плакали, жаловались, но никто не поделился сво-

им горем с Явором и с Сикорой. Реквизицию все-таки провели, но на этот раз более справедливо.

После нескольких бурных совещаний у Мысоней, на которых присутствовали не известные в деревне люди, Рафал покинул дом и жену.

— Что бы это значило? — выпытывал Збышек у Хмеля.

— Погоди, не наше дело. Дойдет и до нас очередь.

— Как же он не боится бросать службу, ведь он лесник?

— Стало быть, не боится. Очевидно, ему можно, — смеялся Профессор. — Да и служба бывает разная...

Гонорка ждала ребенка. Она теперь чаще заходила к Альдоне и однажды в приливе откровенности рассказала подруге про Рафала — он, мол, не такой, как все, он еще себя покажет. В голосе ее звучало высокомерие.

— Рафал, — говорила Гонорка, — держится с теми, кто поумнее, кто разбирается, какой порядок нужен Польше.

— Ну, а Хмель? Он разве не умный? — спросила Альдона.

— Как сказать... — замялась Гонорка. — Слишком он мягкий, со всеми хочет ладить. Он даже евреев любит. Такой уж он, этот Хмель. Рафал его знает.

Гонорка хотела покачать на руках Болюся, но Альдона не позволила — Гонорке надо соблюдать осторожность, да и ребенка качать вредно.

За ужином Альдона спросила у Явора:

— Ты где был?

— Я ведь тебе сказал. У Хетты.

— Не ходи ты к нему.

— А что? — удивился Явор.

Вместо ответа она снова спросила:

— Почему ты не ушел с Рафалом?

Явор задумался, потом подозрительно поглядел на жену.

— С Мысоном? А что я ему — денщик? У меня свои дела.

Ответ мужа не успокоил Альдону, и, превозмогая странную робость, она сказала:

— Константин, а ты мог бы убить еврея?

Явор едва не поперхнулся и отложил ложку.

— Что ты?! Какого еврея?

— Любого... Чтобы их больше не осталось на свете...

Как делают немцы...

Он подумал, а затем изрек:

— Еврей — это еврей.

Как-то среди ночи в феврале далеко в лесу загремели выстрелы. День прошел спокойно, и только на завтра по деревне пронеслась страшная весть. Поляки бились с поляками. Свои стреляли в своих. И полякам, которые напали на отряд Мруза и на ружанецких мужиков, помогали немцы. В лесу остались трупы, погибло несколько русских. Кто-то выследил партизан в лесу и навел на них врагов.

— Разве это люди? Каины!

— Зачем зря болтать! Ничего не известно, у каждого свои причины.

— Но не у каждого есть совесть.

— Кто нашу скотину спасал? Те.

Возбуждение охватило всех, но каждый выражал его по-своему. Люди даже не заметили, как деревня раскололась надвое. Шло время, события оборачивались всякий раз новой стороной,— кто-то вспомнил о судьбе вдовы Жондлика и ее безумных обвинениях,— и вдруг вся Белява шепотом произнесла фамилию Хетты.

Константий Явор не выходил теперь из дому. В деревне сторонились Яворов, но недоброе слово проникает через любую стену. Альдона просто обмирала от страха. По ночам ее мучили кошмары. Она просыпалась от малейшего шороха за окном.

Альдону навестила Тереза, которая возвращалась откуда-то издалека; при Яворе она так и не сказала, откуда. И только тогда, когда сестры заперлись в боковушке, Тереза сообщила, что Юзеф Соляж ранен и лежит в хате у одного мужика далеко за Ружанцами. Туда она и ходила.

— Берегись, Терезка, людей. Они хуже собак.

— Не все.

— Конечно. А Юзеф поправляется?

— Встал уже. Скоро снова уйдет.

Голос у нее задрожал. Маленький Болек приковылял вразвалочку мелкими шажками и протянул кулачок. В ручке у него была дохлая мышь.

— Те-тя, на!

— Боюсь, где ты ее взял? Брось сейчас же!

— Ах, Тереня,— вздохнула Альдона, сунув малышу кусочек сыра, чтобы сидел смирно,— говорю тебе, нет у меня больше сил.

Лицо у нее было измученное, постаревшее. Из-под платка выбились пряди нечесаных волос — прекрасные, длинные волосы были у Альдоны. Она уловила взгляд

сестры, резким движением сорвала платок, достала из ящика ножницы и подала Терезе.

— Нет у меня больше сил. Обстриги.

Тереза убеждала, отговаривала, но ничего не помогло. Тогда она молча наклонилась над шеей сестры. Болек бросил сыр, присел подле Альдоны на корточки, взял в ручки волнистую черную прядь срезанных волос. Не понимая, что происходит, поднял ее вверх и, обращаясь попеременно то к матери, то к тетке, спрашивал:

— А это что? А это что?

Сестры расплакались и, громко всхлипывая, прижались друг к другу, как когда-то давно, в ранней молодости...

Пасху Хмель решил провести у родителей. Он настойчиво звал с собой сестру, но Збышека не пригласил. Молодой Сикора обиделся и дал жене это понять.

— Поступай, как знаешь,— проворчал он, не глядя на Юстину.

Она осталась дома, попросила только Павла поздравить отца с матерью и старшую сестру. Павел уехал один во вторник на страстной.

В тот же самый день к Альдоне пришла за советом жена Грели. Ее Янек вместе с другими детьми должен был в четверг пойти к первому причастию; белый костюмчик она сделала мальчику, а белых башмаков нигде нельзя было достать, да и денег у нее на них не хватило бы. Деревенский сапожник Баланек отказался сшить, — для него это была слишком тонкая работа. Руки у Альдоны умелые, она сама себе шьет, вот, может, и ей как-нибудь поможет. Жена Грели принесла бечевку с двумя узелками — мерку ступни Янека. Альдона разыскала картонную коробку, достала из комода крестильное покрывало Болека — подарок тетки Текли. Трудились они вдвоем до темноты, искололи пальцы, поломали иголки, но своего добились.

— До Немжи Янек в них не дойдет — промокнут. Пусть около самого костела наденет,— посоветовала Альдона.

Жена Грели возвращалась домой совсем поздно. В ночной тишине, где-то неподалеку, гулко грянуло два выстрела, многократно отраженных стеной раскинувшихся вокруг лесов. Собаки проснулись и подняли лай. Женщина перекрестилась и прибавила шагу. Она решила дома ничего об этом не говорить, чтобы не пугать мужа.

Придя домой, она разбудила Янека.

— Вот тебе, плакса, белые башмаки! Примерь-ка!

Башмаки были впору, распухшее от слез лицо мальчика просияло.

— Помни, это тебе подарок от Болека Явора.

Из двух пуль только одна попала в лесничего, но целились, видно, плохо,— у Хетты было задето только бедро. На завтра за ним прикатила служебная машина из Невыхова: он отправился в госпиталь весьма торжественно весь в бинтах.

Спокойствие было нарушено, и надолго. На следующую ночь вспыхнул пожар в Рыбках — около станции загорелись механические мастерские, переоборудованные в последние годы немцами. Подожгли их неумело — рядом с караульным помещением, не дождавшись глухой ночи; сторожа сразу заметили огонь и быстро его потушили. Поляков, работавших на фабрике, удивила и встревожила преступная беспечность поджигателей: убегая, они обронили тут же у ограды холщевую сумку с документами. А несколько часов спустя из конторы просочились неясные, сбивчивые слухи, будто коммунисты опростоволосились и уже известно, где искать виновных.

Войцех Гженский, бывший ученик Соляжа, удрал еще до рассвета. «Провокация,— повторял он слово, запомнившееся ему с той поры, когда он работал в мастерской у Соляжа,— провокация». Войцех опоздал. Дом Соляжей был наглухо заколочен; на двери, чуть повыше замка, была наклеена четвертушка бумаги с печатью. В подсохшей луже у ворот глубоко оттиснулся зигзагообразный след автомобильной шины...

В страстной четверг Янек Греля проснулся, когда было еще совсем темно. Он видел во сне корзину с фруктами и коменданта Кулика, который не позволял ему к ней подойти. Кулик страшно ревел, роя копытом землю — это был уже бык Нехоцкого. Янек протер глаза, ему захотелось есть. Он сунул руку в надпоротый соломенный тюфяк, нащупал одно из спрятанных там яблок, достал его, съел и снова заснул. Когда мать разбудила Янека, он заметил огрызок и запихнул его под подушку. Потом надел белый костюмчик, перекинул через плечо белые башмаки. В голове у него стучало: «Я съел... я съел...». Он через силу сдерживал слезы. Мальчик подошел к родителям, по обычаю попросил прощения за шалости и непослушание. И тут он не выдержал, вызвал мать во двор и расплакался:

— Мама, мамочка, я не могу идти к причастию, я согрешил.

Мать огорчилась, вздохнула и сердито сказала:

— Ну, не вой! Ничего не поделаешь. Пойдешь в другой раз.

— Не могу я, мамочка, идти в другой раз, ксендз нас пересчитает, все дети идут сегодня.

— Что же ты сделал, Янек?

Он с трудом произнес:

— Я забыл, что надо идти натошак, и съел яблоко.

— Где ты его взял? В кладовке?

— В кладовке. Давно. Я в этом уже исповедался.

Она долго раздумывала и вздыхала.

— Попроси ксендза, чтобы дал тебе еще испытание... — неуверенно сказала она.

— А если он рассердится? И дети будут смеяться...

Почерневшими от работы пальцами она приподняла подбородок мальчика, поглядела ему в глаза, и он сразу приободрился.

— Ты ведь не нарочно это сделал. Господь бог видит более тяжкие грехи — и ничего. Ступай, незачем тебе от детей отставать, незачем им смеяться над тобой. Иди такой, какой есть. Иди, я велю тебе!

Он долго целовал руку матери, видел босые ноги ее, увязшие в песке, заплату на юбке.

Уже отслужили раннюю обедню, но к поздней еще не звонили. Ксендз-настоятель, осаждаемый бабами, сидел в исповедальне; законоучитель вышел к детям, собравшимся у колокольни. После краткого поучения он начал устанавливать их в пары, как вдруг из-за церковного дома донесся стремительно нарастающий рев моторов. Откуда-то издалека, со стороны деревни, послышался треск, точно кто-то с силой провел по забору палкой, раздался крик, потом еще, еще — и через секунду все слилось в один страшный человеческий вопль.

Дети прижались к каменной ограде, и в то же мгновение по стене колокольни с сухим щелканьем ударила первая пулеметная очередь.

— Дети, в костел! — крикнул викарий.

Он рванулся вперед, пробежал от колокольни к дверям костела, попытался открыть их. Дети послушно бросились вслед за ним. Двери были заперты.

— Ксендз-настоятель! Ксендз! — Викарий бил кулаком

в тяжелую, кованую дверь. — Люди, ради бога, откройте!.. Ксендз! Тут дети...

Рядом с викарием упала как подкошенная дочка кучера ксендза. Старик еще видел, как мальчики перепрыгнули через каменную стену, отделявшую костельный двор от кладбища, слышал, как колотят в дверь с той стороны, изнутри, как женщины с плачем зовут своих детей. Потом, раскинув руки, он медленно сполз на землю, все еще напирая плечами на неподдававшуюся дверь.

В костеле ксендз сдерживал людей, проталкивавшихся к выходу.

— Спокойно! Ни с места! Вы что, с ума сошли? Не понимаете, что там творится?

И когда все на мгновение оцепенели, тупо уставившись на ключ, который он держал в руке, и прислушиваясь к проникавшим и сюда отголоскам стрельбы и к воплям, ксендз произнес тихим, обычным голосом:

— Пришел час кары господней за грехи безбожников. Помолимся.

Он опустился на колени там же, где стоял, и запел «Святый боже». Чей-то одинокий голос подхватил было молитву, но сразу осекся. Толпа колыхнулась, из груди у всех вырвался громкий вздох. Кто-то крикнул:

— Сердца у вас нет! Пустите!

Ксендза повалили, распахнули дверь, спеша на помощь ли или на смерть — об этом никто не думал.

После пережитого испуга Янек пришел в себя в гуще терновника с уже набухшими почками. Он боялся поднять голову и все смотрел на свалившийся от старости крест, о который он споткнулся на бегу. На деревянной дощечке виднелись полустертые, выжженные раскаленным гвоздем буквы. Безотчетно, словно в школе у панны Гожек, Янек прочитал вслух надпись: «Вечной памяти Винцентия Грели, павшего за крестьянское дело в Ружанцах. Год 1933».

— Греля, — произнес Янек, повторил еще раз, и только тогда до его сознания дошло, что это значит. Он сел и сбросил с ног грязные тряпки — белые башмаки, которые сшила ему Альдона.

Карательные отряды обрушились на Немжу и Беязу одновременно. Збышек Сикора резал сечку в риге и слишком поздно услышал, что творится в деревне. В последнюю минуту он побежал к плотине, разделявшей пруд на два рыбных садка. Когда каратели пришли и сюда, он залез в

воду и притаился под ивой. Збышек слышал отрывистый, приглушенный лай собаки и совсем рядом тяжелые шаги. Он набрал в легкие воздуха и нырнул. В то утро он вместе с другими мужиками ловил карпов, и плотина была усеяна грязными следами ног. Уцепившись руками и ногами за ветви низко склонившейся ивы, он повис, до половины погружившись в ледяную воду, и в бессильном гневе с ужасом прислушивался к воплям матери, молившей о пощаде. Сквозь ветви он видел, как пылают их конюшня, как летят на крышу дома Мысоней красные искры. Потом крики утихли.

Збышек все это время совсем не думал о Юстине. Теперь, вспомнив о ней, он почувствовал жгучий стыд и торопливо выбрался на берег. Нашел он ее на пороге деревянного сарая в полуобморочном состоянии. Она прижимала руки к животу. От обваливающихся стропил во все стороны летели искры, осыпая ей лицо и платье. Когда он схватил Юстину за плечи, чтобы оттащить ее от огня, она уперлась ногами в землю и застонала. Он нагнулся ниже.

— Рожать буду...

— Мама,— крикнул он,— мама!

Под горящей застрехой хлева дико ревела скотина. Обезумев от испуга, она не решалась перешагнуть через пламя. Збышеку удалось вынести мать из хлева до того, как рухнула крыша. Лицо старухи было в крови и саже...

Гонорка, раненая в ногу, оставляя на земле кровавый след, дотащилась до кустарника, разросшегося вокруг дома Яворов, и там в густых кустах малины и ежевики потеряла сознание. Она пришла в себя от холода, поползла кое-как до крыльца и постучала. Альдона, онемевшая от ужаса, впустила подругу и оставила ночевать. Самые страшные часы Яворы провели в земляном погребе возле дома. Болека перенесли туда полусонного, в одной рубашонке. Он кашлял и чихал, печально поглядывая кругом. Беда прошла мимо хаты Яворов.

На этот раз жандармов прислали издалека, они действовали без разбора. Даже дом Нехоцкого подожгли.

Только под вечер каратели покинули деревню, увозя в крытых грузовиках крестьян, захваченных при попытке к бегству. Многие из тех, кого застигли врасплох, или кто бежал очертя голову, погибли. Деревня пылала. Рев скота смешался со стонами людей и воем собак. Истерзанная, исковерканная захватчиком Беява стала как одна сплошная,

кровоточащая рана. В Немже было не лучше. Если кто из родителей убитых детей остался в живых, то теперь молил о смерти или взывал о мести. Похороны состоялись в субботу. Крестьяне помогали могильщикам рыть ямы, и все-таки не хватало рук. Только викария и кое-кого из более видных лиц похоронили отдельно, остальные жертвы легли в братскую могилу. Пожарища тлели в течение двух дней праздника.

— Злодейство, боже мой, какое злодейство! — Збышек Сикора, как очумелый, бегал из угла в угол, рвал на себе волосы, ломал руки.

— Вот вам! Получили, чего хотели. Смотрите, любуйтесь! — кричал он отцу.

Но старый Сикора, желтый, как воск, с ввалившимися щеками, казалось, спал.

— Не отчаивайся, — успокаивала Збышека мать. — Благодарю бога за то, что ребенок здоровый родился... Ведь за целый месяц до срока... И то чудо, что пожар отметины не оставил...

— Вы только и знаете — ребенок да ребенок! А сколько чужих детей в могиле!

— Тише... — шепотом просила мать. — Юстина плачет...

V

НОВЫЙ ГОД

В последний военный год в Беляве перед новым было особенно тяжело. Только надежда на скорое окончание войны помогала переносить голод. Поздней весной с востока долетели отголоски пока еще отдаленных боев. Потом глухие громовые раскаты стали донситься и с севера. Из уст в уста передавались все новые и с каждым разом все более знакомые названия городов. Внезапно на Беляву свалился приказ об эвакуации. Всех, кто помоложе и хоть чуть-чуть покрепче здоровьем, погнали рыть укрепления. Линия обороны проходила севернее Белявы, под Невыховом, огибая лагерь в Женпно, где за четыре года погибло много жителей окрестных местечек и деревень.

Народ в Беляве, охваченный паническим страхом, совсем растерялся. Открыта была только дорога на юг, но из предгорных лесов уже выходили польские и советские пар-

тизаны, разгорались бои с гитлеровскими гарнизонами, лилась кровь в борьбе с врагами. Пускаться в этот водоворот с пожитками и детьми было небезопасно. Измученные недавней расправой, люди словно отупели — трудно было им оторваться от насиженных мест, где испокон веку жили их отцы и деды. «Пусть уж лучше убьют здесь, на своей земле», — говорили крестьяне.

И все же мысль о скором избавлении побуждала их к действию. Они покидали дома, унося самое необходимое, и прятались в лесах. Немало было и таких, которые пытались пробиться туда, откуда все явственней доносился гром орудий.

Не проходило теперь дня, чтобы Альдона не плакала о том, что рядом с ней нет сестры. Вдвоем они скорее решили бы, что предпринять. Может, война обойдет Рыбки, может, удалось бы переждать у Терезы... Оставались Жджоры, старая хата Яворов. Кубы Явора там уже не было. На страстной, во время облавы, его застigli в Немже у одной молодой вдовы. Куба пропал без вести, как и многие другие, и ни одна живая душа о нем не вспоминала. Константин пошел в Жджоры посмотреть, можно ли им туда переехать. Он вернулся и ничего не сказал, видно, не понравилось ему родное гнездо. Дни тянулись все более тягостно. С рассветом Яворы отправлялись на телеге в лес, ели хлеб, запивали его молоком, Болек лакомился уже созревшими ягодами. Ночи проводили дома, настороженно прислушиваясь.

После того как «зеленые мундиры» сожгли его дом, обиженный солтыс Нехоцкий начал с нескрываемым пренебрежением относиться к приказам властей и не стал больше неволить народ. Вместе с семьей и пожитками он перебрался к матери, в Жджоры; людям он на глаза не показывался — знал, что над ним издеваются. «Черт дал, черт и взял», — злорадствовали крестьяне после беды, постигшей Нехоцкого. В Беяве только старики Сикоры и Юстина с ребенком подчинились распоряжению властей: они переехали к Хмелям, а потом вместе с ними двинулись еще куда-то дальше. Збышек наотрез отказался ехать: он ненавидел свояка Профессора и не скрывал своих чувств.

В середине июля через Беяву с шумом прошли беспорядочно отступавшие части немецкой армии. У тех, кто не успел спрятать лошадей, их забирали для перевозки орудий и снаряжения. Когда над Беявой закружили самолеты,

немцы умчались так же быстро, как и появились. Крестьяне вздохнули с облегчением и снова вышли из лесу. Два дня было тихо.

Внезапно среди ночи в хате Яворов задрожали стены, зазвенели стекла в боковушке. Упали на пол часы дедушки Рапача и начали звонить без передышки. Боек громко заплакал, но вскоре затих, пораженный необычными звуками. Константин натянул сапоги, вышел и долго не возвращался.

— Бой идет в Немже,— тихо сказал он с порога и велел собираться, потому что медлить больше было нельзя.

У Яворов уже давно все было приготовлено для отъезда. Болека завернули в перину, чтобы не замерз ночью на холоде; мальчик не хотел лежать на дне телеги, и Явор строго на него прикрикнул. Альдона взяла вожжи, Константин шел сзади и вел коров. У них осгались теперь только две, третью продали сразу после пасхи, когда удар судьбы обрушился на Сикору и тот прижал Константия с уплатой долгов. Яворы уже подъезжали к Жджорам, как вдруг на опушке леса навстречу им двинулись какие-то тени и загородили дорогу. Блеснул фонарик, в его неверном свете сверкнула металлическая пуговица под чьим-то небритым подбородком.

— Los, los! * Тут нельзя, нельзя!

Немцы осветили фонариком телегу, увидели спящего ребенка и ни о чем не стали спрашивать. Кто-то угостил Явора сигаретой и показал, в какую сторону можно ехать. Получалось так, что нужно возвращаться в Беляву. Они повернули назад, переждали, потом свернули на полевую дорогу. На этот раз никто их не задерживал. Перед самым рассветом канонада усилилась. Над Белявой застонало небо. Обернувшись, они молча глядели на букеты огня, расцветавшие над лесной чащей. Яворы спешили вперед — от орудийных раскатов подпрыгивали на телеге узлы с посудой, перепуганные коровы упрямылись, не хотели идти. Намаявшись с ними, Константин стегал их кнутом и ругался на чем свет стоит.

Только к концу дня Яворы обогнули с запада Рыбки, с трудом пересекли невыховское шоссе, забитое отступающими немецкими войсками, и выбрались на довольно хорошую проселочную дорогу. Но здесь они попали в самую

* Живей, живей! (нем.)

гушу людей, скота и телег. Иногда в толпе мелькало знакомое лицо, но людям было не до разговоров. Пыль слепила глаза, больно царапала пересохшее горло.

Около полудня свалилась одна из коров, не смогла идти дальше. Другую корову, Лыску, Константин привязал к телеге и сказал Альдоне:

— Поезжай медленно, держись правой стороны, чтобы мне тебя найти.

Он остался и бил корову до тех пор, пока она не поднялась. Тогда он перевел ее через канаву и направился к деревне, раскинувшейся на пригорке. «Оставляю ее тут где-нибудь», — решил Явор. Деревня точно вымерла — ни живой души. Наконец Явор заметил, что около хаты, стоящей на отшибе, на самой вершине холма, мелькают в саду какие-то фигуры. Он поспешил туда. Когда Явор был уже в двух шагах от риги, в ушах у него тяжело застучала кровь. Раздался оглушительный грохот, и за домом, среди поля, в клубах огня и дыма взвился столб земли, перемешанной с гнилой соломой. Во дворе раздался пронзительный свист. Явор рванулся с места и бросился вперед, к нависшим над забором ветвям сливы. Корова дернула веревку, и у Константия из растертой ладони потекла кровь. Он отпустил веревку, корова пробежала несколько шагов и легла около небольшой риги так спокойно, точно очутилась в собственном стойле. Явор перемахнул через низкий забор и замер, услышав окрик на чужом языке. Но он тут же сообразил, что кричат не на него.

Пятеро в мундирах и один в штатском, все вооруженные пистолетами, обступили щуплого паренька в рваной одежде и надвинутой на лоб кепке. Из-за угла риги выбежала небольшая баба, вероятно хозяйка, она с мольбой протягивала к ним руки.

— Господа офицеры! — кричала она. — Господа офицеры! — Но они не обращали на нее внимания.

— Ты выдал нас! — наступал на хлопца человек в штатском.

— Я ничего не знаю, я никуда отсюда не уходил.

— Ты подавал знаки!

— Нет! — крикнул паренек. — Я ведь вам говорил: здешний я, а это вот моя мать. — И он показал на бабу.

В это мгновение паренек оглянулся и увидел Явора. На секунду взоры их скрестились. В душе Константия вспыхнула давняя ненависть. Он уже готов был выкрикнуть имя

своего врага. Но в горящем, свирепом взгляде Щепанека он прочел: «Не выдавать!»

Самоотверженное заступничество хозяйки не помогло бы Щепанеку. Его спасла короткая заминка, вызванная появлением Явора. Немцы уже снова навели пистолеты, но тут оглушительный грохот раздался над самой их головой. Все кинулись на землю и в одно короткое мгновение увидели, как над снопом огня, словно огромная шляпа, взвилась вверх крыша риги. Во дворе поднялась отчаянная суматоха, лошади с громким ржанием уносили в поле перепуганных всадников, затрещали мотоциклы. Снаряды били по холму, лишь иногда падая немного дальше. Когда обстрел прекратился, Явор подбежал к тому месту, где недавно еще стояла рига. Корова лежала на хребте со свернутой набок мордой и все слабее перебирала копытами; из распоротого брюха вывалились внутренности и хлестала кровь. Кто-то прикоснулся к плечу Явора.

— Потеряли корову, хозяин, — сказал Щепанек.

— Ну тебя! — вскипел Константин. — Ты-то чего жалеешь! Вам ведь все нипочем!

— Эх, Явор, Явор! Ничего-то вы не видите! — Голос у Щепанека был тихий и слабый. Он заколебался было, но тут же, не дожидаясь ответа Явора, сказал: — В хату ступайте, Явор, сами поглядите. Вам сдается, что... — не договорив, он махнул рукой.

На дворе неподвижно лежал человек; струя крови вычертила зигзаг на рукаве его мундира. Кроме одного этого мертвеца, здесь уже не оставалось немцев.

Явор и Щепанек вошли в кухню. Хозяйка пыталась сдвинуть с места огромный ушат помоев, стоявший в углу, за дверь. Щепанек кинулся помогать ей. Они вдвоем отодвинули ушат, отшвырнули подставку, на которой он стоял, и откинули небольшую ляду. На них пахнуло затхлым, спертым воздухом. Щепанек нагнулся.

— Товарищ лейтенант! Иван! Выходите! Уже можно.

Он прислушался, никто не откликнулся.

— Давно они без еды, пани Гженская?

Хозяйка смутилась.

— Немцы глаз с меня не спускали. Сегодня, значит, пошел третий день... Что же я могла поделывать... Только дать немного картошки...

Щепанек брызнул на них водой. Шатаясь от истощения, заросшие, грязные, потерявшие человеческий облик, они с

трудом вышли из своего убежища. Когда Щепанек повел их к лавке, они обняли его за шею.

— Русские?— спросил Явор, не веря своим глазам.

— Да! — подтвердил Щепанек. — Разведчики.

Придя в себя, русские пошли к колодцу умываться.

Они прожили две недели в тайнике величиной с бочку, не больше. Вдвоем они там едва уместались, сидеть приходилось по очереди. Щепанек привел их к Гженской на ночлег — дом был надежный. Едва они уснули, измученные долгим и опасным переходом, как в деревню прибыл штаб отступавшего немецкого полка. Гженская успела спрятать русских в подполе. Щепанека она выдала за своего сына и называла его Войцехом. Он казался больным, однако немцы ему не доверяли. Просто чудом ему удавалось обманывать бдительность часовых. Ночами он бродил по окрестным лесам, искал своих.

— Вам с матушкой,— говорил ему лейтенант Сергей,— придется уйти. А наши пусть в это время ударят по деревне. Другого выхода нет. Гитлеровцы трусы. Как только они потеряют голову, мы пробьемся. У нас есть гранаты...

Щепанек мог бы и не возвращаться из последнего своего похода, но заявил, что до конца останется с русскими, которых он пытался спасти от гибели. Гженскую он предупредил о том, что должно произойти.

— Вам не жалко хаты, если что случится?— допытывался Щепанек, когда они на короткое время остались одни.

— О чем ты спрашиваешь, сынок? Конечно, жалко. Но я бы и левую руку отдала в придачу, только бы их...— и она погрозила кулаком.

Гженская не послушалась Щепанека и тоже осталась. Впрочем гитлеровцы, вероятно, и не дали бы ей уйти — они косились на нее, следили за каждым ее шагом.

— Такие-то дела, хозяин,— сказал Щепанек, обращаясь к Явору. — Вот видите, какие люди бывают на свете... — Он кивнул в сторону Гженской, показал на возвращавшихся со двора русских. — А вы, Явор... Я по вашим глазам догадался... Если бы вы меня окликнули по имени... Почему же вы не окликнули, Явор?

Константию раньше не приходилось слышать, чтобы Щепанек говорил таким тоном.

— Я растерялся...— начал было Константин, но вдруг спохватился, что почти выдал себя.

Но Щепанек уже не слушал его, он смотрел, как раз-

ведчики едят хлеб со свежими огурцами, как потягиваются, расправляя замлевшие ноги, руки и спины. Они улыбались друг другу — все трое. Сергей и Иван ласково гладили руки Гженской, всякий раз как она подходила к столу, и похваливали:

— Хорошая, хорошая хозяйка...

Утолив голод, они обратились к Щепанеку:

— Ты, друг, с нами?

Щепанек утвердительно кивнул головой.

Явор едва прикоснулся к еде, которую и ему подала хозяйка. Он сидел, как на углях, не решался поднять глаза.

«Не будет мне покоя от Щепанека,— думал он.— Почему он меня сегодня помиловал... Если бы те... если бы они его...» Он боялся пошевелиться, боялся выйти первым. Мучительно ждал, когда русские уйдут. Наконец они встали, обняли хозяйку.

— До свидания. Не горюйте, сын вернется, поставит новую ригу...

На прощанье она перекрестила всех троих и проводила до ворот. Но прежде чем уйти, они унесли за сад труп немца, накидали на него травы и веток.

— Приедут наши машины, заберут...— крикнули они уже с дороги.

— Ну, стало быть, конец,— вздохнула Гженская, вернувшись в хату. Она села, положила руки на колени. В окно тянуло едкой гарью. Тут она заметила, что куда-то исчез мужик, который пришел с коровой. Гженская вышла поискать его — ей стало как-то не по себе оттого, что она вдруг осталась одна. Явор сидел верхом на сдохшей корове и сдирал с нее шкуру ножом, который когда-то смастерил из обломка косы.

— Помогите! — крикнул он. — Столько мяса...

— Да что вы! — удивилась баба. — Весь мир летит кувырком, а он — мясо!

— Не пропадать же добру!

— Оставьте, придут наши, возьмут, может, им сгодится.

— А сами не хотите?

Она рассердилась.

— Вот пристали! Сил у меня нет, душа замирает. Да и соли нет, засолить нечем...

Когда Явор уходил, хозяйка крикнула ему вдогонку:

— Сразу видно, что вы за человек — ишь какой жадный!..

Альдоне не легко было править лошадыю и присматривать за Болеком и коровой. Она пыталась остановить лошадь, свернуть куда-нибудь в сторону, но ее увлекал поток беженцев. Альдона уже перестала надеяться, что Константин найдет ее. Неподалеку от Невыхова они столкнулись с новой волной беженцев, которые покинули город, испугавшись артиллерийского обстрела и бомбежек. Под вечер отозвалась с запада немецкая артиллерия, снаряды дважды легли ближе цели и врезались в живой поток телег и пешеходов. В смятении все сразу кинулись врассыпную. Поля и луга кишели беспорядочно убегающими людьми, дорога вдруг опустела.

Альдона и сама не знала, как и когда она очутилась в чистом поле, должно быть на помещичьем пастбище. Сорвавшаяся с веревки Лыска вдруг появилась совсем рядом; мотая головой, она безошибочно шла к телеге. На глаза Альдоны навернулись слезы.

— Гляди, Болюсь, какая умница! Прямо как верная собачка.

Они двинулись по направлению к единственному на этом поле развесистому дереву.

— Будь что будет,— громко сказала Альдона,— а я здесь останусь.

Да и некуда ей было ехать — кругом гремели орудия.

Только подъезжая к вербе, она заметила, что в тени ее лежат вповалку какие-то люди в лохмотьях. Ей показалось, что они спят. Но вот один из них пошевелил головой. Альдона хотела было спросить, кто они такие, но язык у нее отнялся. Она выпустила вожжи, протянула руки. Первым подбежал к телеге мальчик, за ним, спотыкаясь о кочки, спешила худая женщина, из-под платка у нее выбивались седеющие волосы. Сестры бросились друг к другу в объятия. Тереза, постаревшая, увядшая, прижалась щекой к лицу Альдоны.

— Мы убежали в самый полдень,— рассказывала Тереза.— Тех, кто во-время спохватился и успел спрятаться, они с собой не угнали. А теперь там уже наши.

— Русские?

— Ну, русские. Наши.

— А в Невыхове?

— В Невыхове, наверно, тоже. Ведь они вот как идут... — и Тереза свела руки в два смыкающихся полукольца.

— Где Магдуся? — спросила Альдона.

Тереза ответила не сразу. По щекам ее покатились мелкие, частые слезы.

— Сама не знаю... — зарыдала она. — С месяц назад я упросила лагерных сторожей, они унесли Магдусю из Женпно, один из них взял ее к себе... а сейчас...

— Не горюй, — утешала сестру Альдона. — Бог даст, найдется девочка.

Продолжая расспрашивать друг дружку, они поделили между лежавшими под вербой людьми запасы Яворов. Измученные, сонные, равнодушные к чужим делам, люди мало говорили. Получив от Владека порцию хлеба и сыра, они ели торопливо, подбирая упавшие в траву крошки.

— Владек, Владек, — вздыхала Альдона. — Как ты похудел, бедняжка. Как ты вытянулся.

— Вылитый отец, посмотри! — И Тереза гладила сына по стриженной голове, покрытой незажившими струпьями.

— Что же ты там делал, милый? — спросила Альдона.

— Ворочал камни, бревно таскал...

— Как взрослый! — горестно изумилась Альдона. — А сколько тебе лет?

— Десять исполнилось, тетя, — ответил Владек.

Они заночевали под вербой. Пытались определить, с какой стороны доносится гул войны. Теперь грохотали, стонали и гремели небо и земля на западе. Но огни пожаров пылали всюду. Еще задолго до восхода солнца Тереза пошла разведать, что творится на свете. Ей чудилось, что далеко на шоссе мерно содрогается земля, точно там работают молотилки. Потом ей показалось, что кто-то поет. Вернулась она перед самым восходом, разбудила спящих и громко объявила:

— Вставайте, люди, война кончилась!

Все вскочили, посыпались вопросы.

— Наши заняли Невыхов и двинулись дальше. По всему шоссе едут, едут и идут без конца, без конца...

Как бы в подтверждение своих слов Тереза достала из-под платка две буханки солдатского хлеба и пачку папирос с маркой, которую она не могла прочесть. Угостив всех, Тереза сама закурила, весело смеясь и с непривычки давясь дымом.

— Что ж? — спрашивали у нее. — Выходит, можно и по домам?

Трудно было этому поверить.

III Мужчины торжественно затягивались табачным дымом, раздумывая, идти или не идти, женщины уже увязали свои скудные пожитки. Беженцы разошлись каждый в свою сторону, но даже издали махали друг другу руками, прощаясь; все они чувствовали особую близость в этот первый час новой эпохи.

Альдона и Тереза двинулись окольным путем, чтобы миновать главный поток армии-победительницы. Но и там время от времени они встречали группы солдат в гимнастерках, надетых навывпуск, так, как старики в деревне до сих пор еще носят холщевые рубахи. Сестры приветствовали солдат, желали им счастливого пути. Владек быстро научился говорить по-русски «здравствуйте», а Болек, сидя в перине, обеими ручонками махал им из своего гнездышка, радуясь лакомствам, которыми солдаты щедро его оделяли. Пока они медленно подвигались вперед, Альдона расспрашивала, не видал ли кто Констанция, а Тереза вглядывалась в лица всех встречных в надежде найти лагерного сторожа, хотя он был родом откуда-то из Силезии и вряд ли стал бы бродить в этих местах.

На следующий день, уже неподалеку от Рыбок, они увидели грузовик, который так ярко сверкал на солнце, что издали казалось, будто в нем везут груды чистого золота. Грузовик стоял у обочины, вокруг него сутились солдаты — видимо, что-то испортилось в моторе. Подъехав поближе, сестры разглядели музыкальные инструменты — всякие трубы и огромные и поменьше — и удивленно переглянулись. А когда они поравнялись с грузовиком, Альдона крикнула:

— Смотри! У них польские гербы!

Владек соскочил с телеги, за ним Тереза. Они подбежали к солдатам.

— Вы поляки?

— Ну а как же? — удивленно посмотрел на них старший сержант. Судя по выражению его серых глаз, он был чем-то удручен. Услышав его мягкую певучую речь, Альдона спросила:

— Вы из-за Буга?

— Есть из-за Буга, есть и из других краев. — Это сказал, вылезая из-под машины, молодой парень, которому, пожалуй, не было и двадцати лет. — А вы?

— Возвращаемся домой.

— Езжайте с богом.

Они явно были чем-то недовольны, может быть, вынужденной остановкой. Но Владек не отступал.

— Это вы для оркестра? — допытывался он.

— Мы сами оркестр, — объяснил молодой солдат, у которого лицо было перепачкано смазочным маслом.

— А где польская армия?

Парень в шоферской куртке быстрым взглядом окинул мальчика и рассмеялся.

— А мы разве не армия? — он показал Владеку свой автомат. — Другие вперед прошли... — Шофер кивнул в сторону запада.

Альдона так пристально смотрела на сержанта, что тот не вытерпел:

— Вы что-нибудь хотите мне сказать?

Тогда, расхрабрившись, она торопливо спросила:

— Какой будет теперь Польша?

Он улыбнулся, из-под густых рыжеватых бровей добродушно блеснули глаза.

— Какой? Будет она нашей, справедливой, без панов. Вы разве ничего не знаете?

— Ничего не знаем.

— Тогда слушайте. Правительство уже есть, наше, в Люблине. Крестьянам — земля, рабочим — фабрики, предателей — под суд.

— Под суд... — повторила Альдона.

Но сержант уже заметил, как рвется с телеги Болек, как тянется он к сверкающим инструментам. Сняв с грузовика маленькую трубу, сержант поднес ее к губам — раздалась песня, давно тут всем знакомая, местная.

Желтый, вислинский песок...

Подхватил песню шофер.

Сержант кончил играть и погладил льняные волосенки плека.

— Нравится? Хочешь стать трубачом?

Онемевший от восторга Болек кивнул головой.

У Терезы забилося сердце, когда они проезжали мимо Хмелей, но там никого не было видно. Миновав рысестры очутились в предместье. Тереза не усидела в сестре и поспешила вслед за Владеком. Запыхавшись, они стали в садик и без слов, с недоумением посмотрели на захнутую дверь своего дома... Надежда внезапно вспыхнула в сердце Терезы, голова у нее закружилась. Пересту-

пив порог комнаты, она вскрикнула, зашаталась и кинулась обнимать и целовать свою маленькую Магдусю.

— Да ты задушишь ее, Тереня,— прошептала, сдерживая слезы, тетка Текля.

Женщины молча обнялись. Магдуся подбежала к Владеку, повисла у него на шее; он приподнял девочку, закружил ее в воздухе.

— Я думала, Юзеф...— простонала Тереза, но сразу же опомнилась.— Прости меня, глупую, Текля... это я от радости... Только вот Юзеф... — Она смеялась и плакала, не вытирая слез.

Они привели Альдону с Болеком и стали все друг дружке рассказывать.

— Как к тебе попала Магдуся?— допытывалась Тереза.

— Принес ее к нам чужой человек, говорит, так Соляж велел, твой, стало быть, Юзеф. Больше ничего не сказал, да и зачем? Магдусю-то я узнала.

— Юзеф...— задумалась Тереза.— Значит, Юзеф был где-то недалеко...

— Пореш, мой муж,— голос у тетки Текли задрожал,— бросил меня в Невыхове одну, а сам вместе с теми, боже ты мой, вместе с немцами удрал. Записку мне оставил: дескать, дам знать, где я, а ты пока за домом присматривай. Очень нужно! Я, как и все, бежала, только не вдогонку за Порешом! Да и ребенок со мной. Думаю, что с ним делать? Вот и махнула полями да лесами в Рыбки.

— В Невыхове уже русские...

— Знаю. Если бы я так сюда не спешила... Просто чудо, что меня не подстрелили, тут ведь фронт. Сегодня у меня еще не было сил домой возвращаться: башмак, черт бы его взял, натер мне ногу до крови... Вот и хорошо, что вы уже здесь,— простодушно закончила Текля.

Лыску вместе с тощим запасом кормов Альдона оставила у сестры, а сама двинулась с Болеком в Белязу. Текля тоже торопилась домой и не могла ее проводить. Со страхом думала Альдона о том, что ее ждет. Когда из-за ольхи, разросшейся у садовой ограды, до нее донеслась песня, а над макушками деревьев она увидела выбивавшиеся из трубы струйки дыма, Альдона перестала опасаться самого худшего, но зато ею овладела новая тревога. Она вдруг вспомнила все, что брехали люди о наступающей армии.

Константий еще не вернулся. Солдаты, заметив, что Альдона хромает, помогли ей разгрузить телегу и убрать

во дворе. Они стряпали для себя и для нее, баловали Болека; Альдоне пришлось попросить их, чтобы они не закармливали мальчика сахаром. Боек ни на шаг не отходил от веселых, добрых людей и плакал, когда мать звала его на ночь в боковушку. И все-таки Альдона запиралась на ключ, не хотела давать Константию повод для оскорбительных вопросов. Один только раз, выпив за ужином, солдаты постучались к ней, и она слышала, как старшина выгнал наглецов из хаты. Альдона перестала дичиться. Она помогала солдатам в их мелких повседневных делах, чинила и штопала гимнастерки. По вечерам она смотрела из окна, как они стирают у колодца свое солдатское белье. До поздней ночи слушала их грустные песни. На третий день они ушли.

Константия все не было. С того дня как они расстались, прошла уже неделя. Теперь и сама Альдона, как когда-то ее близкие, затаила надежду, в которой не смела себе признаться.

«Разве только переменится,— думала она,— разве только перестанет...»

Чего она хотела? Этого она толком не знала. Дело было не только в ней самой или в том, как относится Константин к ней, к ребенку. Альдона давно уже догадывалась, чувствовала, замечала, что Явор идет не прямой дорогой, живет неправильно и может плохо кончить. Предостеречь его она не могла. Скрытный, вспыльчивый, глупый, он с ней не считался. Альдону пугала его дурная слава.

«Свобода,— думала она, слушая песню солдат, уходивших от нее с квартиры,— свободная страна, свободная жизнь. А что для меня свобода?»

И она пыталась представить себе другую, лучшую жизнь, без Константия.

Однако Явор и на этот раз вернулся.

VI

МУЗЫКА. РАССТАВАНИЕ

— Как тебя зовут?

— Боек Яволь.

— А где ты живешь?

— В доме Яволя.

Он был еще слишком мал, чтобы выговорить букву «р», но у Константия не хватало терпения.— Явор! Ррр! Ррр!

Слышишь? — рычал он прямо в ухо сыну, обнажая здоровые белые зубы. — Ну, какой из тебя мужик? Как ты ругаться будешь без «р». Брань без «р» — все равно, что свадьба без водки. Понял?

Болек ничего не понимал, но боялся отца и поддакивал.

— Не мудри, Костек, не смущай ребенка, — просила Альдона.

— Подумаешь, нежности. Одна тоска с вами. Учи его сама, как хочешь. — Явор хватал шапку и шел к Сикоре поговорить о политике.

— У меня чистая совесть, — похвалялся Сикора. — Я спокоен. Каждый скажет. Разве я пан? Помещик? Я старый человек, мужик, да к тому же хворый.

— А лавки вам не жаль? — спросил Греля.

Старик молитвенно сложил руки.

— Камень с души свалился! Благодарение богу... Мало меня из-за этой лавки преследовали, мало мучили? Пускай теперь другие попользуются...

Но как только Греля ушел, Сикора захихикал и подмигнул Констанцию.

— Это я при нем так, при Греле. Проклятый шпик! Только и делает, что подслушивает... А уж вертится-то, а уж юлит, ноги готов лизать новым хозяевам...

— Думаете, не за что? Нехоцкого выжил, сам стал солтысом. Во Взаимопомощи заседает, в управлении. Разве плохо?

— Ну, что до этого, так и я...

— Да, только в кооператив его примут, а не вас. Вот увидите.

Сикора помрачнел и вздохнул.

— Сдыхать придется, так ли, этак ли.

— Тише. Збышек идет, — предупредила их Юстина.

Оба сразу замолчали, когда в комнату вошел младший Сикора. Юстина не подняла глаз, она качала на руках маленькую Анельцю, напевая тихую, монотонную песню. Сикора барабанил пальцами по подлокотнику своей качалки. Збышек, ни на кого не глядя, подошел к буфету, отрезал ломоть хлеба; через минуту его уже не было.

— Как чужой, господи, как чужой... — пожаловался Сикора.

Явор ничего на это не ответил и, чтобы переменить тему разговора, спросил:

— Что слышно о Профессоре? Пока еще держится?

— Держится, держится, — оживился Сикора и нагнулся к Явору: — Это большевистское правительство... — он понизил голос до шепота, — они ведь полоумные. Перво-наперво мучат человека. Ты ведь знаешь, Явор, о чем я говорю. Но Павел сумел оправдаться — всю войну, мол, сидел смирихонько, а когда немцы стали удирать, бил их вместе с нашими партизанами. Сами русские это подтвердили. Выпустили Павла, недолго просидел.

— Такого человека! Ученого! И так преследуют... — ужасался Явор, пока Сикора, наконец, кивком головы не дал понять, что видит и ценит его сочувствие.

— А не успели немцы уйти из Польши, как Павла тут же вызвали на работу, по его части. Школы открывать, заведывать...

— Хо, хо, хо... — Теперь Явор улыбался во весь рот, одобряя перемену в судьбе Профессора.

— Вот уже шесть недель — так, что ли, Юстинка? — он в Невыхове целой гимназией заведует.

— Знаю, знаю... Хлопец Грели не может нахвалиться, кого только ни встретит, всем рассказывает...

— Да что такой сопляк понимает, — усомнился Сикора. — Не дорос он еще до такой школы, как у Павла.

— Не-ет, — возразил Явор. — Его скоро примут. Он еще при немцах сам занимался, а теперь в городе за полгода проходит два класса. Адашь Пореш готовит его к экзаменам, да, да! Живет малый у Порешей, там, верно, и слышал, что толкуют о Профессоре.

— Может быть. Павел к вашей Текле, разумеется, заходит. Ну-ну! Сын Грели первым во всей Беляве выйдет из хамов в паны. Эх, — задумался старик, — какие там паны могут теперь быть...

— Пана Хмеля надо бы сделать старостой *... — неожиданно сказал Явор. — По-иному вы зажили бы, пан Сикора. Но старик закрыл глаза и не слушал.

— Соляж достукается, — тихо начал Сикора после паузы. — Никому житья не дает. За каждым шагом Павла следит...

— Партийные теперь в силе.

— В силе.

* Староста — в данном случае председатель уездного народного совета.

Обеспокоенная Юстина вздохнула. Из всей своей родни она любила только брата и всегда боялась за него.

— Моя Альдона...— Явор многозначительно замялся, собираясь выразить мысль, в реальность которой он несколько не верил.— Моя Альдона могла бы многого добиться от Соляжа. Ведь он ей свояк.

Сикора пошевелил усами и бросил на гостя быстрый взгляд.

— Ты, Явор, с чем ко мне пришел? Дело у тебя есть Говори.

Константий не заставил себя просить, мысленно похвалив Сикору за догадливость. Теперь он только по привычке стал подходить к сути дела кружным путем.

— Пан Сикора, помните, немцы у вас бревна опечатали. Мои там тоже были. Ну, да ладно, так уж и быть, пан Сикора. Луг за прудом теперь Соляжам не нужен, я им пользуюсь, могу поделиться сеном, если желаете. Но я к вам не с этим пришел.

Явор замолчал и поглядел на Юстину,— старик сразу понял. Когда Юстина вышла с ребенком в соседнюю комнату, Явор брякнул:

— Хетту посадили.

Ему пришлось переждать, пока старик отдышится. Слаб стал Сикора, нападали на него приступы удушья.

— Если бы Хетта не валялся в больнице да была у него прежняя сила, не стал бы он дожидаться, пока его возьмут, скрылся бы. Нашли его, в тюрьме сидит. А кто сидит, тому скучно. Заскучает — начнет сыпать. Он ведь много может порассказать. И о вас, и о вашем Збышеке, обо всех. Я вам по совести скажу, пан Сикора. Своя рубашка ближе к телу, не стану отрицать... Мне тоже радоваться нечему...

Оба задумались.

— Было бы лучше всего,— выдавил из себя Константий,— если бы он поступил, как Жондлик.

Сикора отшатнулся и, словно защищаясь, поднял руки.

— Не вспоминай! — и минуту спустя добавил: — Этого не удастся запугать...

— Было бы лучше всего,— будто не расслышав, продолжал Явор,— если бы Хетта не успел нас засыпать. Сейчас его лечат, он опять заболел. Где это написано, что каждый больной должен выздороветь?

— Нет к нему доступа...

— Где есть люди, там и дорога найдется. Поговорите, сосед, с Профессором. Может, он посоветует...

На дворе к Явору подошел Збышек.

— Ты к нам не ходи, я не хочу.

— Я не к тебе хожу. К старику.

— Знаю. Я бы тебя не пустил.

— Таким уже стал хозяином? погоди, твой отец еще поживет. Еще напляшешься под его дудку. Ты у папаши в руках. Уважать его должен... А то как бы он не рассердился... Не каждому удастся из воды сухим выйти...

— Ах, ты!..

— Ну-ну!

— Ты тоже сухим вышел.

— Дурак. Я не был ни в каких организациях.

— Но ты сейчас в организации, Явор!

Константий положил руку на плечо Збышека, и тот не посмел ее стряхнуть.

— Так-то, брат,— примирительно сказал Явор,— руку руку моет. И чего только люди друг к дружке цепляются? И без того тяжело. Ты за собой смотри, других не тронь, а Гонорке передай привет от Альдоны...

Явор шутливо щелкнул его по уху и ушел. Збышек еще некоторое время постоял во дворе, весь красный от стыда и злости. «Разбойник, разбойник с большой дороги». Он плюнул, поглядел, не подсматривает ли в окошко Юстина, потом обогнул пепелище хлева и, дойдя до перелаза, перескочил через плетень во двор Мысоней. Збышек всегда приходил к Гонорке с виноватым видом, смущенный и молчаливый. Он отлично знал, что ему не следует здесь бывать, понимал, что сочувствие к судьбе Гонорки у него неискреннее. Если бы Рафал был дома, не повадился бы Збышек к соседу.

Стряхнув снег с сапог, Збышек вошел без стука и, не здороваясь, спросил, как всегда:

— Ничего нового?

— Ничего.

Гонорка, не стесняясь Збышека, кормила грудью ребенка. За месяцы своего одиночества она расплнела. Последний раз Гонорка виделась с мужем перед уходом немцев. Он пробыл дома несколько дней, починил крышу, помог ей накопать картофеля, сыграл на гармонике и исчез. С тех самых пор Рафал не давал о себе знать. Гонорка думала, что он погиб, и долго оплакивала его. Потом ее охватило

полное равнодушие. Она даже не крестила ребенка, хотя давно было пора это сделать — ее Януш появился на свет через месяц после рождения Анели Сикоры. Соседи успокаивали Гонорку: «Вот, мол, сколько народу вернулось, авось и Рафал найдется». Разные приходили к ней люди со словами утешения и разные строили догадки, так что у Гонорки под конец все в голове перепуталось». Она вовсе перестала понимать, что творится на свете, и если Рафал жив, но домой не является, так хороший это признак или дурной. «Ведь при немцах он в лесу дрался, — думала Гонорка, — разве с этим теперь не считаются? Одних судят, в газетах позорят, других старостами сделали. За одно и то же — за лес».

— Не за одно и то же, — возражал Збышек, — и ты это знаешь.

— Нет, не знаю.

Она предпочитала не помнить о том, что ей когда-то объяснял Рафал.

Сегодня Збышек, остановившись на пороге, сразу почувствовал, что Гонорка не такая, как всегда. Он не расслышал ее ответа и повторил:

— Ничего нового?

Гонорка с удивлением взглянула на него. Глаза у нее лихорадочно горели.

— Не ходи ко мне больше, Збышек. Он дал знать, что вернется.

— Как ты узнала?

— Был тут один человек, издалека. Сказал и ушел.

— Когда он вернется?

Ни Збышек, ни Гонорка не произносили имени Рафала.

— Не знаю, пока еще не может. Это он только так передал, чтобы я знала.

Он подошел поближе, коснулся коленями подушки, на которой она держала ребенка. Гонорка опустила голову и прижалась щекой к его руке.

— Збышек, Збышек, я, кажется не выдержу, не дождусь. Страх, как я рада.

Уже спускались сумерки, и Юстина не могла из окошка увидеть, как Збышек, возвращаясь домой, замечает свежим снегом свои следы...

Альдона не придавала значения посещению незнакомца. Он спросил, дома ли Явор, намекнул, что побывал у Гонорки. Но Константин в тот вечер засиделся у Сикор, и Аль-

дона быстро спровадила гостя. Голова у нее была занята совсем другим: она не переставала думать о Болеке. У ребенка появились странные причуды.

Как-то Альдона при Болеке споласкивала бутылку из-под уксуса. Вода выливалась со звонким бульканьем, напоминавшим то веселый смех, то грубое ворчание. Перебив посуду, Альдона ушла в боковушку. Мальчик остался в кухне. Непривычно долгая тишина показалась Альдоне подозрительной, она сползла с постели, пошире приоткрыла дверь и посмотрела, что делает малыш. Сидя над ушатом и напрягая все свои силенки, он переливал из него кружкой в бутылку помой и слушал. Когда бутылка была полна, Боек отставил кружку, обеими ручонками наклонил бутылку и стал еще внимательней слушать, как булькают, выливаясь, помой. Личико у него было напряженное и сосредоточенное. Он закрыл глаза и, шевеля губами, повторял нечеткие звуки. Руки у него покраснели от холода. Альдона окликнула сына, он испугался, ожидая, что его накажут, и надул губы, собираясь расплакаться.

С этого все и началось.

Альдоне было о чем подумать. То, что Боек слушал, как булькают помой, было сущим пустяком по сравнению с другими заботами.

С осени в хате Яворов поселился новый жилец — Кунигунда Бысь, которую для краткости звали Гундой; девушка из их деревни, дочь знаменитой «Быськи с пирогами», вдовы, владевшей двумя полосками земли. Эту Быську, бабу очень доверчивую, когда-то соблазнил старый Сикора, посулив, что женится на ней. Вдова приняла его слова за чистую монету и пообещала угостить Сикору, когда он навестит ее в другой раз. «А мне, Веронка, с чем прийти, чего тебе принести?» — спросил он на прощание. «С пирогами приходите, мой дорогой, с пирогами, потому что у меня кухонной доски нет». У старой Быськи есть было нечего, а в Беяве поговорить было не о чем, люди развлекались как могли, и уж если что к кому-нибудь прилипало, так на годы.

Альдона знала эту историю, но ей было не до смеха.

Как она лихо отплясывала еще на крестинах. какая была тогда крепкая! Потом начала прихрамывать, уже не таясь от Константия, а через год после того случая бессонными ночами стонала от боли. Ей не помогали ни домашние средства, всякие мази и притирания, ни способы лечения,

вычитанные в старых отцовских газетах. Не помог и глуховатый доктор из Рыбок, которого прислала Тереза. Всего только один раз он и приехал, а потом Альдона не знала, куда деваться от жалоб и проклятий Костека. Страдания, казалось, высасывали жизнь из больной ноги — она стала короче, высохла, налилась синевой. Альдона поневоле выходила за порог дома только в случае крайней необходимости. «Ох и воняет в боковушке», — издевался Константин. Он спал в кухне, как когда-то его отец, с той только разницей, что поступал так по собственной воле и перетаскивал на кухню лучшую перину. В течение нескольких месяцев по утрам и вечерам маленький Боек переползал через порог, путешествуя из боковушки в кухню и возвращаясь назад к матери. Ласки отца кончались для мальчика печально — Боек поднимал рев, и Константин уже откровенным пинком выпроваживал сына в боковушку.

С каждым днем Боек все сильнее привязывался к матери, и в его чувстве к ней было что-то надрывное, болезненное. Почти все время он проводил в ее душевной клетушке. Альдона сажала его к себе на постель и рассказывала длинные печальные сказки, а он жадно слушал и замирал от восторга и страха. Иногда он перебивал ее, захлебываясь от слез, и тогда она плакала вместе с ним. Болеку было всего два года, когда мать начала показывать ему буквы. Он уже научился различать некоторые из них, и это наполняло ее сердце гордостью и счастьем. Других радостей у нее не было. Болезнь развивалась медленно, но неотвратимо.

Хозяйство у Яворов разваливалось. Константин был ленив, любил всласть покушать и хорошо одеться, он бесился оттого, что работы ему все прибавляется. Пока ей позволяли силы, Альдона, как могла, заботилась о доме. Сложив свой складной стульчик с ручкой и опираясь на него, как на костыль, Альдона ковляла к дровяному сараю, к колодцу, к хлеву, то и дело оглядываясь в ужасе, не подсматривают ли соседи. Долгое время она сама доила корову, потом с бранью и жалобами ее сменил Константин. Большую радость доставляли Альдоне мелкие услуги Болека, который то подавал ей ложку, то приносил кружку воды, то держал сито, пока она процеживала молоко.

Но она становилась все более беспомощной, и в один осенний день в дом к Яворам с узелком в руке пришла Гунда Бысь. Вид у Гунды был такой расстроенный, словно ее ждала тут неминуемая беда, она даже пыталась повалиться

Альдоне в ноги. Гунда нанялась к Яворам в работницы. Она настояла на том, что будет спать в хлеву, хотя это у девушек и не в обычае. Вскоре, однако, Гунда перебралась в сени на сундук, а потом, когда ударили первые морозы, Альдона велела ей перенести тюфяк в кухню. Дверь в боковушку оставалась открытой, и в течение некоторого времени только мучительные боли беспокоили Альдону — из кухни до нее доносился могучий, здоровый храп Константия. Потом Явор будто невзначай стал притворять дверь, а немного погодя, отправляясь спать, он уже крепко хлопал дверью и не раз при этом присовокуплял соленое польское слово. Но Альдоне давно уже все было известно.

Они почти совсем не разговаривали друг с другом. Константи́й на целые дни исчезал из дому. Он либо сидел у Сикор, либо слонялся по окрестностям с незнакомыми Альдоне людьми. Павел Хмель приезжал к сестре на воскресенье; Явор и ему составлял компанию.

К весне решение Альдоны созрело. Превозмогая отвращение и страх, она позвала Константия в боковушку и заперла дверь.

— Чего тебе? — вызывающе буркнул обозленный Явор.

— Скажи, Костек, какие у тебя с ними дела?

— С кем это, с ними?

— Не валяй дурака. Ты таскался с Хеттой, его посадили. А теперь опять с Сикорой либо с какими-то чужими мужиками. Милиционеры тут шныряют, расспрашивают. Спроси у Гунды. Я по ночам не сплю... — Силы ей изменили, ком подкатил к горлу, она не могла говорить.

Явор в бешенстве прервал ее:

— Ишь какая любопытная? Политикой интересуешься? А если что случится, убежишь со мной, да? Поскачешь, как козочка? — он злобно рассмеялся.

Ненависть душила Альдону. Слезы у нее высохли.

— Перестань издеваться. Отвечай, сейчас же отвечай!

Он рассказал ей. Вместе с Хеттой лес воровали. Теперь он попрятал этот лес в разных местах — в риге, в «старой яворовке» в Жджорах, у Быськи и у Сикор.

— Значит, из-за того, что ты лес крал, о Хетте такие страсти в газете писали? Значит, только поэтому люди говорят, будто ты винтовками и всякой дрянью промышляешь? Костек, ты отсюда не уйдешь, пока господом богом и всеми святыми не поклянешься, что у тебя с ними нет ничего общего.

Явор смутился, дал клятву, а после этого признался, что хочет поступить в милицию, стать милиционером. Может быть, потому про него и расспрашивали.

— Да, Альдонка! Надо ловчить, иначе не извернешься. Много ли ты одна нахозяйствуешь! Нуждаться не будем, милиционер с голоду не пропадет. Меня примут, потому что им люди дозарезу нужны. Нехватка в кадрах, гражданка, нехватка!

У нее даже дух захватило.

— Как? После всего, что ты натворил при немцах, опять людей дразнить, напоминать им? Ты, Костек, рехнулся.

Он попритих, стал объяснять, убеждать ее. Тогда Альдона сползла на пол со своего стульчика и в ногах у него валялась, умоляла опомниться, не позорить себя и ребенка.

— Я в твои дела не лезу, ни в чем тебе не мешаю, — она махнула рукой в сторону кухни, где в углу лежал тюфяк Гунды, — но больше так жить не могу. Мы, Костек, должны отсюда уехать. Нет здесь дома Явора, как ты учишь Болека. Дом Явора, твой дом — в Жджорах. Переедем туда, а здесь добра не жди, помани мсе слово.

Константий дал согласие переехать только спустя неделю, после того как Гунда ушла домой, к матери, и не пернулась ни к вечеру, ни на утро, ни на следующую ночь, а когда, наконец, ее позвали, наотрез отказалась ездить. Константин теперь напивался каждый день, но вел себя смирно, все больше молчал, не заводил ссор.

Незадолго до переезда в «старую яворовку» Болеку довелось побывать в богатом доме Сикор. Как-то в воскресенье мальчик бегал по саду, где уже растаял снег и пахло барвинком; вдруг откуда-то из-за забора полились протяжные, необыкновенно приятные звуки; мальчик, как замороженный, пошел в ту сторону, откуда они неслись, и попал на крыльцо к Сикорам. Он толкнул неплотно затворенную дверь, на цыпочках прошел через сени — здесь-то его и застала старая хозяйка, возвращавшаяся из кладовки.

— Тебе чего тут! — заворчал Сикора, как всегда сидевший в плетеной качалке. Его седые усы грозно топорщились, и Боек замер от страха. Но Профессор уже встал и присел на корточки около малыша.

— Это Боек Явор, сын того Явора, — сухо сообщил молодой Сикора; он сидел около фисгармонии чуть наискосок, полируя сукном чубук из оленьего рога. Его красивая

бледная жена даже не подняла глаз — она вышивала на пальцах новый дар для костела.

На этом дело не кончилось. Профессор поставил мальчика на табуретку около самой фисгармонии.

— Нравится тебе, а? — он обнял Болека и, нажимая педали, сыграл одной рукой «Красное яблочко». — Ну-ка, попробуй теперь ты.

Болек попробовал, обдумывая каждый удар по клавишам. Он прикоснулся к ним раз-другой, в нерешительности остановился, нахмурил брови и после недолгого колебания потянулся чуть дальше, к черной, более короткой клавише. Очень довольный, он передохнул, а потом уже осторожно и безошибочно, ноту за нотой, наиграл мелодию песенки.

— А у тебя, паренек, хорошее ухо, — похвалил Профессор.

— Два!

Старый Сикора фыркнул, а Эбышек пробормотал, глядя на свой чубук:

— Глуп он, как и отец, только не такой вредный. — И, помолчав, прибавил уже тише, обращаясь к самому себе: — Зачем ему ухо... — На его лице так и застыла не то печальная, не то язвительная усмешка.

Болек ничего не понял из того, что о нем говорили, зато с удовольствием зажал в ладошке три куска сахара, которые ему на прощанье сунула старая хозяйка. Не понял он также, почему помрачнела мать, когда он рассказал ей о своем приключении.

— Сахар теперь не грызи, обедать не захочешь. — Но и после обеда мать не отдала Болеку его добычи, а он не напомнил ей.

Переезд в Жджоры оказался несложным. За последние три года Явор, постоянно мечтавший о какой-то другой, легкой жизни, сбыв с рук много вещей: продал соломорезку, ступу, бричку и всякий мелкий инвентарь. Лошадь и корову поставили в клетки за сенцами: так и доить было удобнее и навоз выгребать. Свежую солому уступили Сикорам и Гонорке, а старая, для подстилки, уместилась вместе с сеном в сарае. Хата была совершенно пустая, плохо побеленная. Альдона упросила мужа, чтобы он прочистил трубу, обстругал покособившиеся половицы, обмел стены. После Кубы остался источенный червями топчан да ремень для правки бритвы, висевший на гвозде у окна. Топчан Явор изрубил на щепки.

Только тогда приехала Тереза и помогла расставить и разложить вещи по местам. Она не знала, чем вызван переезд Яворов — сестры теперь редко виделись, у Терезы своих хлопот было по горло. Юзеф и Владек жили в Невыхове, а она с Магдой — в Рыбках. Вести хозяйство на два дома было нелегко. Тереза не могла дожидаться, когда Юзеф возьмет ее к себе. А он все откладывал, некогда было: делил помещичью землю, основывал разные комитеты, все время проводил в разъездах. Тереза боялась теперь за него не меньше, чем раньше: из газет она знала, что таких, как Юзеф, на каждом шагу подстерегает опасность. После возвращения он и недели не пробыл с нею, да и то явился домой не один, а с целой компанией неугомонных людей, у которых смелое слово не расходится с делом. Юзеф сразу уехал в Ружанцы, провел там месяц, а где был потом, она и сама не знала. «Как он там, в Невыхове, за Владеком присматривает?» — тревожилась Тереза. Ей казалось, что с тех пор, как мальчик пошел в школу, он изменился к худшему, стал гордый и упрямый и ни о чем уже ее не спрашивал. Она боялась узнать у сына, ходит ли он в костел. В добавление ко всему непрерывно болела Магдуса — сказались перенесенные лишения. Такова была жизнь Терезы. Еще недавно она мечтала по ночам о несбыточном, казалось, счастье: Юзеф здоров и живет открыто, в почете, дети и она сама на свободе, кругом вольный мир... Но когда мечта сбылась, появились новые обязанности и заботы, а ко всему хорошему человек быстро привыкает. Тереза провела у сестры всего несколько часов.

На «старой яворовке» Болеку было хуже, чем в Беляве, гораздо скучнее. Не хватало Гунды, которую мальчик любил, — она хорошо с ним обращалась. Отец теперь безвыходно сидел дома, а отца нужно было бояться. Мать уже не вставала с постели. Ели они что попало и как попало. Когда никто не видел, Боек шарил в буфете и пальцем подбирал масло из глиняной миски. Если не было масла, он лизал соль, а потом без конца пил воду.

Тем временем приехала из Невыхова тетка Текля. Тоскливо ей жилось в одиночестве: Адашь уехал учиться, а муж ее, Пореш, занялся всякими темными делами в новых пограничных городах и появлялся дома только для того, чтобы выгрузить товар и закупить продовольствие.

В хате Яворов сразу стало веселее. Тетка привезла большой мешок, набитый всякой снедью. Теперь чаще разводи-

ли в печке огонь, на столе появлялись клецки со шкварками и пироги.

— Что это за разговоры: костный туберкулез! — сердилась тетка Текля. — Ты, Альдонка, должна хорошо питаться, да, да, да! Это лучше всяких лекарств. Есть, только есть! Сало! Витамины, витамины! Дотянуть бы до осени, а там все изменится! Ты ляжешь в больницу, и через две недели станешь, как огурчик.

— Что изменится? — недоумевала Альдона.

— Что? Все равно! Пусть тебе Костек объясняет — мне-то какое дело.

На лице Альдоны появлялась бледная улыбка, и она откладывала ложку. Клецки со шкварками были ей не по вкусу.

Тетка Текля запрягла Константия в работу: они разбили вокруг дома небольшой огородик, посадили овощи. Как-то выдался теплый день, и Альдона вышла помочь им. Она ползала вдоль грядки, опираясь на свой стульчик, и сажала в разрыхленную землю капустную рассаду. Болек шел впереди и рыл палочкой ямки для посадки. В тот день он был очень счастлив и тихонько напевал.

— Спой мне что-нибудь, — попросила тетка Текля.

Болек немножко поломался, наконец стал смирно и чистым голосом на мотив заливчатской польки запел:

Догнал на дологе
Товалищ палнишку,
Левольвел пливастил:
«Дай деньги, блатишка»...

Константий прыснул со смеху. Альдона выпустила из рук стульчик, открыла рот, вздохнула. Тетка Текля возмутилась.

— Фу, Болюсь, как некрасиво! Кто тебя научил?

— Я сам.

— Сам-то, сам! Да где ты слышал?

— Папа пел...

Теперь Константиний слегка покраснел, а Альдона раскричалась:

— И что этот ребенок болтает, мать божия, что он болтает, вот я его ремнем поучу, поучу...

Через две недели тетка Текля уехала, и все пошло по-старому. Весна была холодная, ветреная, Болек томился от скуки. Иногда он вспоминал прежнюю свою игру и наливал

в бутылку воду, а то колотил ножом или ложкой по чугунам, мискам, кухонной плите, стараясь извлечь звуки разных тонов, и вторил им голосом. Нож у мальчика отобрали, а потом отец запретил ему стучать и ложкой: мол, от шума у него болит голова. Боек сидел у окна и слушал, как от порывов ветра дрожит плохо пригнанное оконное стекло.

Летом было веселее. Боек убегал от матери на улицу. Он придумал хитрую штуку: выдергивал в огороде молодую сладкую морковку, а ботву втыкал опять в землю, чтобы никто не догадался о его проделках. Когда поднялись зеленые стебли лука, которые называют стрелками, они тоже показались ему вкусными. Потом Боек в запущенном садике обнаружил в крапиве и лопухах одичавшие кусты смородины и крыжовника и обобрал с них ягоды. С единственной в саду яблоней справиться было труднее; он сшибал палкой недозрелые плоды, и за это ему здорово досталось. Порка пошла на пользу делу: к осени яблоки стали сладкими, а родителям было не до Болека.

Болеку очень нравилось бродить вокруг дома. Тот год обогатил его многими открытиями. Молодой стебель ржи, если вырезать одно его колено, становился пищалкой. Если сунуть в рот несколько таких пищалок, они звучали, как дудочка, ему удавалось подбирать голоса, искусно отгрызая край соломки. Играл листик травы, натянутый между большими пальцами обеих рук. Свистел расщепленный стручок акации. Поздним летом, когда загорелись в полях пастушьи костры, ребята из Жджор научили Болека вырезать дудки из веток ивы или дикой сирени. Мать запретила ему ходить к пастухам. Боек возвращался от них, пропахший дымом и ветром, как цыган, и повторял нехорошие слова, которым его научили мальчишки.

Лето прошло скорее, чем Болеку хотелось бы. Снова нужно было сидеть дома. Снова куда-то уходил отец, снова ссорились родители и часто слышались слова: «Гунда» и «они».

«Яворовка» стояла неподалеку от дороги на Рыбки, и знакомые белявские крестьяне, возвращаясь с базара, навешали Альдону. Если Константия не было дома, она, увидев знакомых, ковыляла к забору и сама их окликала. Альдона уже не стеснялась своего стульчика. Разговоры у забора были мало утешительны.

Альдона стала раздражительной, первая задирала Явора.

— Ты, дурень, думаешь, я не знаю, почему сбежала Гунда. Голову отруби Сайдачке, она все равно выболтает. По всему свету разнесла, как она дочку Быськи из беды выручила. Ты за это платил? Говори!

Явор скрежетал зубами, убежал из дому. Иногда он порывался бить Альдону, тогда она стремительно распахивала окошко и кричала изо всех сил, так, чтобы у Нехоцких было слышно.

Любовь Болека к матери, казалось, поостыла. Мать просила его что-нибудь сделать, а он притворялся, будто не слышит.

В середине октября были именины Терезы. Альдона уже месяц не поднималась с постели. Ей захотелось повидать сестру.

— Может, позвать ксендза, Альдона? — отважился спросить Явор. Она прикрикнула на него:

— Сходи в Рыбки, скажи Терезке, чтоб сейчас же пришла. Ничего больше я у тебя не прошу, так и знай.

Около полудня Явор подоил корову и ушел. Альдона не прикоснулась к своему горшочку с парным молоком. Она позвала сына:

— Выпей, Болюсь.

Но и мальчик не захотел, как будто немножко брезгал. Она попросила его сесть подле нее, отодвинула в сторону перину. Боек послушно сел, но ему было неудобно — он не доставал ногами до пола. Альдона велела ему лечь рядом с нею, он не сразу послушался. Тогда она, крепко прижав сына к себе, стала так бурно гладить его по голове, шее и плечам, что Боек струхнул и перестал сопротивляться. От подушки шел тяжелый запах. Начинало смеркаться.

— Ты меня узнаешь, Болюсь? — спросила Альдона, ясно и отчетливо произнося слова.

Он испугался и кивнул головой.

— И я тебя узнаю, — сказала Альдона уже не так громко. Она усмехнулась, язык почему-то высунулся у нее изо рта и не хотел прятаться.

Боек поглядел в окно — не идет ли отец, но улица была пуста. Лицо у матери потемнело, влажная челка прилипла ко лбу, глаза блестели.

— Зажги лампу, — сказала Альдона.

Было еще довольно светло. Боек послушался, осторожно, чтобы не разбить стекло, зажег лампу и поставил на край стола.

Альдона протянула руку, должно быть, хотела снова посадить Болека на постель, но ничего не сказала, и рука ее беспомощно упала на перину; Альдона закрыла глаза.

«Заснет», — подумал Боек. Он подошел, натянул завернувшийся рукав ее сорочки, чтобы руке не было холодно, потом нагнулся и вытащил из-под кровати свой старый ящик. Собственно говоря, это был ящик только по названию, а на самом деле просто поломанное решето, в котором Боек хранил свои детские сокровища: картинки, вырезанные из старых газет, каштаны, пробки, коробочки, баночки из-под лекарств матери и самое ценное: свистки, пищалки и «музыку». «Музыкой» называлась дощечка с прикрепленными к ней проволочками, которые сохранились у матери еще с тех пор, когда она мастерила бумажные цветы. Боек решил наиграть недавно слышанный мотив. Пальцами левой руки он то тут, то там прижимал проволочку, а большим пальцем правой дергал струны, извлекая слабые, быстро замиравшие звуки.

Вдруг Боек услышал хрипение. Он в испуге бросился к матери. Струйка крови из прикушенного языка медленно текла по подбородку к шее.

— Мама, — попросил он, — спрячь язык, тебе ведь больно.

Он долго просил, но мать не слушалась. Он даже попытался пальцами разомкнуть крепко стиснутые зубы, ранившие зубы, но это было ему не под силу. Тогда Боек взял горшочек с молоком и поднес к ее губам.

— Выпей, мама. Выпей, выпей. Почему ты не пьешь?

Молоко стекало с упрямых губ, по нему змейкой ползла темная струйка крови. Боек в отчаянии громко крикнул. Альдона открыла глаза.

— Мама, скажи что-нибудь!

Альдона подняла руку и тут же уронила ее на постель. Снова ее подняла и снова уронила. И так много, много раз.

— Мама, мама, — звал мальчик. — Тебе больно? Что у тебя болит?

Потом он схватил руку матери и потряс.

— Не делай так, — умолял он мать, — не делай! Тебе больно?

Она пошевелила головой, словно давая понять, что не больно, и повернулась лицом к стене.

— Ты спишь?

Альдона не ответила. Боек взобрался на постель, перегнулся через тело матери, взял ее голову обеими ручонками, повернул к себе. Глаза у матери были закрыты, но не совсем — светились белые щелочки. Он выпустил ее голову, она откатилась набок.

— Ну, спи, — вздохнул он с безграничной печалью, слез на пол, сел около своего решета, но каштаны и коробочки не хотели с ним играть. Боек проголодался, он нашел в шкафу горбушку хлеба и съел. Потом он прикорнул на ступльчике матери, упершись лбом в край ее постели.

Его разбудил резкий стук в дверь. Мальчик вскочил, не понимая, в чем дело, у него болела голова. В покрытом копотью ламповом стекле отчаянно мигало пламя, и вся хата, казалось, ходила ходуном от этой пляски света и тени. «Отец», — подумал Боек, и страх у него прошел. Однако дверь в сени он оставил широко открытой, чтобы не очутиться в темноте. С минуту он провозился с засовом. Вошли трое мужчин в мундирах — Боек уже знал милицейские мундиры.

— Где твой отец, малыш? Константин Явор?

Боек уже снова стоял около постели, ухватившись за край перины.

— Тише, — сказал он, — она спит.

Самый молодой из троих подошел поближе, поглядел и, отступив на шаг, снял фуражку. Двое его товарищей стояли, переминаясь с ноги на ногу.

— Тебе не страшно, мальчик?

— Нет...

— Кто тут поблизости от вас живет? Нехоцкие, да?

— Нехоцкие.

— Пойдемте отсюда, ребята, нам тут делать нечего, — обратился он к остальным, а Болеку сказал: — Мы придем к тебе Нехоцкую, чтобы ты не оставался один.

— Мама дома...

— Да, да... — Милиционер подошел к Болеку и погладил его по голове.

Когда они ушли, Боек стал звать свою маму, сперва тихо, потом все громче и громче. Мальчик не слышал, как в хату вошел отец, он увидел его, когда тот стал рядом, и крик мгновенно замер у него на губах. Константин взял со стола лампу, прикрутил фитиль, чтобы она не коптила, и подошел к постели. Он осветил голову Альдоны. Нагнулся, принял лицом к ее полуоткрытым губам с черной каплей,

застывшей в неглубокой, печальной морщинке. Снова поставил лампу на стол, отошел в самый дальний угол, между дверью и печкой, сел на свой солдатский сундучок, сунул руку в карман, точно хотел достать кيسет с табаком, и вдруг заплакал навзрыд каким-то странным, то очень тонким, то совсем грубым голосом. Боек никогда не слышал, чтобы отец плакал. Мальчик съежился, подбежал к матери, слабо вскрикнул и бросился назад к двери. В двух шагах от отца он остановился и заслонил руками голову, ожидая удара. Тогда Явор схватил его за пояс, привлек к себе и пригнул. Боек повалился на колени, а Константин порывистым иступленным движением прижал голову сына к груди. Водкой несло даже от его одежды.

— Если бы ты знал, Боек, до чего я запутался, боже мой, боже, если бы ты только знал, до чего я запутался, и зачем я сегодня к той... к той... не к Терезке, а к той... к той... к той... сыночек мой милый, до чего же я запутался...

Они долго плакали оба.

VII

ПЕРЕЕЗД

Боек с удивлением поглядывал на чужого человека, который все решительно знал. Он не спросил, ни как его зовут, ни чей он, хотя все, даже знакомые, именно с этого начинали с мальчиком разговор. Тихо, без стука, вошел он в хату, и Боек не успел спрятаться за занавеской около печки, где мать держала посуду и щепки для растопки. Боек не умел считать дни; то ему казалось, будто матери нет уже давно, то вдруг чудилось, будто он видел ее только вчера. Он все еще прислушивался, словно ждал, что мать вот-вот вернется, смотрел на ее складной стульчик с прорезом посредине, затем усаживался на него; удобнее всего ему было сидеть на этом стульчике, потому что он доставал тогда ногами до пола. Так было и теперь.

Вид у незнакомца был самый мирный. Он положил у порога небольшой, защитного цвета мешок, снял куртку, стряхнул с нее дождевые капли и сразу нашел около двери вбитый в стену крюк, на который вешали одежду. Потом он подошел к окну, провел ладонью по темной, источенной жучком раме и нащупал гвоздь.

— Тут висел ремень. Куда он девался?

— Отец прячет его в ящике.

Болек перестал дичиться. Гость ему понравился. Разговаривал он спокойно, не сердился и не жалел Болека. У него были большие уши, широкое лицо, взгляд робкий и ласковый. Болек подошел к столу, выдвинул ящик. Куба Явор тем временем спросил:

— Куда ушел Костусь?

— Кто? — удивился Болек, хотя помнил, что и мать так называла отца.

— Костек. Ну, твой отец.

— Не знаю.

— А читать ты умеешь? — Куба поднял и разгладил выпавший из ящика листок бумаги.

— Э! — смутился Болек. — Я еще маленький.

Куба вглядывался в штамп с изображением орла и, покачивая головой, вертел бумагу.

— Я тоже не больно грамотен, — признался он, — хоть видишь какой вырос детина. Я ведь был на твоих крестинах...

И, словно в чем-то извиняясь, он улыбнулся краешком губ.

Куба повесил ремень для точки бритвы на старое место, потом присел на постель — из-под дерюжки выбилась ничем не покрытая солома.

— Кто здесь спит?

— Мама. — Но Болек тотчас поправился: — Никто.

— А ты?

— Около печки на лавке. На тулупе.

— С тех пор как схоронили...

Не зная, что сказать, Болек вздохнул и, как взрослый, сложил руки на коленях.

— Есть хочешь?

— Нет. Не очень.

Куба подошел к печке, заглянул в два щербатых горшка, разгреб холодные уголья. Из-под плиты подул ветер. Дров за печкой не оказалось. Он затворил дверцы и поднял с пола свой защитного цвета мешок. Минуту спустя Куба и Болек ели черствый ржаной хлеб. Куба запивал его водкой прямо из бутылки.

— Хочешь? — предложил он Болеку.

— Не знаю...

— Попробуй.

Но едва Боек глотнул, Куба отнял у него бутылку. Мальчик поперхнулся, поморщился и вытер кулаком нависшие на глаза слезы.

— Отец тоже пьет...

— О, Костек...— Куба громко, от души рассмеялся.

В хате сразу стало веселее.

— Тебе не скучно одному, Боек?

— Нет. У меня музыка.

— Музыка? Какая музыка?

Боек показал Кубе свою музыку. Он достал из решета свои сокровища, разложил их на дерюжке, потом стал наигрывать на своих дудочках, довольный, что кто-то интересуется его музыкой.

— Если бы я знал...— задумался Куба.— Ну да ладно, — утешился он, — я тебе привез кое-что другое.

Боек разинул рот и просто застыл от изумления.

Куба пошарил в мешке, достал узелок и осторожно развязал его. Мальчик затаил дыхание. Ему показалось, что все прояснилось вокруг. Две выстроганные из дерева птички передивались всеми цветами радуги. У них были замечательные широкие крылья и хвосты из тоненьких деревянных перышек, которые находили друг на дружку, глаза из желтых бусинок и туго обмотанные красной ниткой ножки.

У Болека забилось сердце.

— Они поют?— шепотом спросил мальчик.

— Нет...— растерялся Куба, — но если потянуть за веревочку, вот так, они машут крыльями. А если повесить птичку под потолком, — оживился он, — она сама без передышки крутится, вертится. На, бери.

Он протянул мальчику одну из птичек.

— Другую отдам учительнице панне Гожек. Знаешь ее?

Боек вежливо, хотя и не очень уверенно, кивнул головой: он ничего не слышал об учительнице. «А птичкам, — подумал он, — вдвоем было бы веселее».

Константий несколько не обрадовался возвращению брата, и если встретил его, в общем, приветливо, то больше из приличия. Он ни о чем не расспрашивал Кубу, а когда тот стал сам о себе рассказывать, слушал его без внимания. Только ему и запомнилось, что Куба много исходил мест. Война гнала его из лагеря в лагерь, как и всех, кого захватили во время облавы. Где-то далеко, в Германии, он откуда-то бежал, и его снова поймали, а прошлой зимой он встретил панну Гожек, когда уже был на волосок от смер-

Панна Гожек! Куба то и дело вспоминал, какой она смелой и доброй в дни неволи, как уважали и слушали ее в женском лагере, как ухитрялась она через прощелку или во время работы в лесу на болоте помочь им, начинам, подбодрить их...

Константий слушал краем уха и обдумывал собственные возможные дела; под конец, постукивая кончиком сапога, прервал рассказ Кубы:

— Зачем ты вернулся?

Куба обомлел.

— Костусь, брат! А ты бы там остался? Среди чужих?

— Ну и что же! Ведь не на век. Другие остались, ждут.

— Нечего ждать! — вспыхнул Куба. — Уж я-то знаю.

— Панна Гожек тебе сказала...

— Угадал. Она.

— А сама сидит себе там, ей не к спеху.

— Неправда! — рассердился Куба. — Она еще там нужным людям. Ей в Швецию, что ли, надо было поехать, откуда-то она вернется, это я точно знаю.

— К тебе, Куба? А может, вы брат, там с нею в лесу в лагере... а?..

Куба спокойно ждал, пока брат перестанет смеяться.

— Да, мало ты изменился, — вздохнул Константин с сердечной насмешкой. — Ты всегда был немножко того...

Они помолчали, чувствуя, как растет у них неприязнь к другу. Константин, едва сдерживая нетерпение, спросил:

— Что ты думаешь здесь делать? Чем заняться?

Он опустил голову, отвел глаза; ему неприятно было смотреть в честные, пронизательные глаза брата.

— Костусь, — услышал он его ровный голос, — я тебе пока дороги не стану. Теперь я и плотник и столяр, найду место. Можешь попрежнему один хозяйничать в бараках, так оно и следует — ты ведь старший.

Константий поморщился и махнул рукой.

— А я и не собираюсь! Захотелось покойнице Альдо жить в хлеву...

— Значит, ты в Беляву вернешься, на хозяйство Рапары. Разумеется, оно лучше.

— Эх! — отмахнулся Константин, не подтверждая догадки брата. — Кто его знает, что еще будет.

Он слегка улыбнулся, прищурился и тотчас крикнул зашедшему на стульчике Болеку:

— Повезло тебе, малый. Поедешь со мной в город, в Невыхов.

Явор был в приподнятом настроении. Вопреки мрачным предчувствиям, его дела складывались неплохо. Вскоре после похорон Альдоны в немжанской милиции произошли перемены. Ушел начальник, тот самый силезец, который вынес из лагеря в Женпно дочку Соляжей, честный служака, которого Явор поэтому не на шутку боялся. Его место занял человек, по слухам, не злой и не брезгающий угощением. Когда новый начальник милиции Низио нанес первый визит ксендзу-настоятелю Заблуде, экономка ксендза вслух выразила свое удивление, признав в нем старого знакомого — он будто бы при немцах бывал у Кулика. Заблуда и Низио прикрикнули на нее, запретили болтать всякий вздор. Она, однако, не утерпела и раззвонила о своей ошибке: и многие из тех, у кого совесть была нечиста, в глубине души порадовались этой новости.

Поэтому Явор не очень испугался, когда его вызвали в милицию. Он уже знал, что с Низио можно договориться. На всякий случай Константин обдумал, какие козыри надо пустить в ход на допросе.

До сих пор Явор никому еще не рассказывал, как провел те три недели, в течение которых в ходе войны произошел перелом, даже Альдоне не признался в этом, когда, мучимая тяжелыми подозрениями, она потребовала, чтобы он открыл ей всю правду.

Во время бегства они потеряли друг друга под Невыховом. Константин решил обойти дорогу, забитую беженцами, спередить людской поток. Он пошел стороной, петляя между опустевшими селениями, стараясь запомнить некоторые усадьбы. Однако надежды на легкую поживу не оправдались — помешала неожиданная бомбежка. Явор с ужасом убедился, что пошел не по той дороге, что тишина в деревнях, которые он миновал, была мнимая: линия фронта переместилась, и он плутает между скрытыми точками сопротивления. Его подгоняли внезапно раздававшиеся выстрелы. С трудом добежал он до леса, но и там не почувствовал себя в безопасности. Он потерял уже всякое представление о времени, когда на пути его выросли заграждения лагеря в Женпно. За проволокой, вглубь обширной голой равнины уходили длинные ряды низких бараков. Обагранный лучами заходящего солнца лагерь казался вымершим.

Явор хотел было повернуть назад, но испугался темного

и побежал дальше. Сразу с двух сторон — спереди и
и — грянули выстрелы. Он упал на землю.
До самой ночи дрался с немцами, засевшими в бункере,
и партизан-разведчиков. Исход боя решили наступа-
ющие войска. Они прибыли во-время.
Там, в двух шагах от Явора, погиб Михал Фирус. Кон-
стантий поднял его винтовку. Как во сне, зарядил он ее
невевающимися от страха пальцами и, не целясь, два раза
стрелил. Он подумал, что живым ему отсюда не уйти.
Мнимая отвага избавила Явора от опасности, которой
он предвидел. Невоенный, слонявшийся между линиями
фронт, мог легко, без предупреждения, получить пулю в
грудь.
Когда Явора подобрала, из плеча, задетого осколком,
его обильно текла кровь. И тут Константия осенила бле-
дная мысль: он попросил, чтобы его отвели к Мрузу.
Он подумал, что очень удачно, потому что Мруз ему по-
любился и подтвердил, что знает его. Такое великодушное уди-
вило Явора. Тадеуш ни о чем его не расспрашивал, был
спокойным и задумчивым. Константин не знал, какой надеждой
был окружен Мруз, когда пробивался к лагерю в Женю,
но спешил он спасти и приветствовать после разлуки.
Он опоздал, в лагере не было ни души.
Ночь Константин провел в пути. Его доставили в бо-
лее спокойное место и там отпустили, даже выдали на до-
рогу справку. Явор задержался в Садополе — небольшом
местечке, лежащем в предгорье, в стороне от больших
дорог. Немцев там не было уже три дня. В Садополе
он встретил человека, с которым когда-то познакомился у
соседей. Тот посоветовал ему не зевать. «Нынче счастье
в руки идет, — сказал он, — кто смел, тот и съел».
С помощью Константий некоторое время рассказывал
о своей винтовке да красной повязкой гражданской охраны
на рукаве. В гмине были выбиты все стекла, разломаны
ящики с бумагами; от совещаний и споров в помещении
был несмолкаемый гул. Люди едва были друг с другом
сговорчивы. Водка лилась рекой. Покровитель Константия
продолжал крикунами, подавляя их своим боевым
духом; он то и дело поднимал тосты в честь революции.
Своим приближенным он потихоньку внушал, что пока еще
неизвестно, чья возьмет в новом правительстве. По его
предложению Явор в минуту просветления между попойками
предложил заявление о приеме в садопольскую милицию.
Но в одно прекрасное утро покровитель Явора исчез, и

гмине стало тихо — власть перешла к коменданту города, а с ним появились и другие люди. Явор сдал винтовку и поязку, протрезвился и вернулся домой.

— Вы брали в Садополе взятки? — допрашивал его Низио.

— Люди сами давали...

Явор поклялся, что не только в Садополе, но и вообще нигде и никогда не занимался вымогательством. Да и не осталось у него ничего от подарков — время нынче тяжелое, жизнь дорогая, жену он похоронил... Сколько денег ушло на лечение... Про черный день он только один серебряный портсигар припрятал и вот кладет его на стол в доказательство правдивости своих слов.

— Беспутно живете, Явор, хлещете водку. На пынство все у вас и ушло.

— Кто с горя не выпьет, пан начальник...

Против столь очевидной истины Низио не возражал, и они уже совершенно мирно пришли к выводу, что доносы на Явора ни на чем не основаны. Теперь Констанций пустил в ход свои главные козыри — сослался на родство с Соляжем, на доверие Мруза, соответственным образом осветил свое участие в стычке в лесу, когда он собственной грудью будто бы заслонил Фируса от пули. Явор даже порывался снять рубаху, чтобы показать шрам.

— К нам пришли письма в связи с вашим делом, — сказал начальник милиции. — Из Садополе и из уезда. Мы должны дать вам характеристику...

Таким образом, бумага, которая застряла где-то, путешествуя по служебным инстанциям, выплыла вдруг на поверхность. Явор то со страхом, то с надеждой вспоминал об этом своем заявлении; теперь, когда оно нашлось, все его дела могли сложиться совсем иначе. Вернулись прежние соблазны, которые он еще недавно гнал прочь, помня об опасениях Альдоны. Снова он видел себя в мундире, при оружии, во всем блеске могущества и власти.

Когда подошла пора, Низио подсказал ему, что предпринять и как дать в Невыхове ход своему делу. Явор выехал из дому довольно поздно, однако так, чтобы попасть в город, когда приемные часы в учреждениях еще не закончатся. Он добрался на телеге до шоссе уже за полдень.

Болек не мог усидеть на месте: долгие месяцы он не выходил из хаты, и теперь его дурманил воздух ранней весны. Март прогнал с дорог и пригорков запоздалый снег,

в мутных ручейках и колеях плескала и журчала вода. По гулко звеневшим телеграфным проводам скользили блестящие капли. Ветер стряхивал влагу с голых веток деревьев. Клубился туман, темные тучи мчались наперегонки с легкими облаками и вместе с ними исчезали за лесом. Солнце выплывало из-за туч и снова гасло. В полях пахло землей и прелой ботвой. Все кругом пришло в движение, смешалось и поплыло перед глазами.

— Что ты там мычишь? — спросил Явор. Езда ему наскучила.

— Я пою.

— Вот как.

— Я пою, что слышу. Просто так.

— На песню не похоже, — подтвердил Явор.

Болек впервые попал в Невыхов. Город показался ему огромным и непонятным. Он крепко держался за руку отца. Сперва они зашли в один дом, поразивший Болека своим великолепием, потом в другой, поднимались по лестницам, в каком-то удивительно длинном коридоре стучали в разные двери. Мальчик не понимал, о чем отец беседует с незнакомыми людьми, хотя и о нем было много разговору. «Сирота», — часто повторял Явор и гладил его при чужих по голове. Болек робел, он боялся, что его заставят петь.

«Гражданина заместителя сегодня нет, он нездоров». Болек запомнил эти слова, потому что они были сказаны напоследок и после этого отец больше нигде его не водил. Он велел Болеку сидеть на телеге и ждать, пообещав, что скоро вернется. Но едва отец исчез за углом, как Болек почувствовал себя заброшенным и одиноким.

Явор поставил телегу в каком-то закоулке: с трех сторон высились глухие каменные стены. Дребезжание посуды, звон стекла, шум голосов, а по временам визгливое пение долетали до Болека из-за ближайшей стены. Напротив виднелась груда развалин. С улицы во двор вела глубокая арка с пологим, вымощенным проездом, по которому стекала грязная вода. Сквозь пролет арки Болек видел прохожих. Ни один из них не был похож на отца.

Под арку вошли два мальчика и девочка. Болеку показалось, что все они были не намного старше его. Мальчики с разбегу скользили по слякоти. Из-под ног у них летели брызги грязи.

— А ты так не можешь! — кричали они девочке.

— Подумаешь! Захочу и смогу.

— В самом деле?

— Конечно.

Девочка разбежалась, но сразу же упала, и все трое расхотались.

— Пойду переоденусь, — объявила она. — Ах! Ах! У меня сегодня еще урок музыки...

— А у меня русского языка!

— А у меня русского, французского, немецкого, английского, американского и... — толстенький крепкий мальчик в свитере запнулся и покраснел.

— Ну, не ври!

— Честное слово...

Они все время поглядывали на Болека, но притворялись, будто не замечают его.

— Деревенщина, — сказал мальчик в свитере. Все засмеялись и убежали из-под арки.

Болек не переставал удивляться. Он почти ничего не понимал из того, что говорили дети. Какие они умные. Как красиво одеты, и башмаки не боятся промочить. Вскоре он заскучал, а дети все не возвращались. Болек сжал кулачки. Ему уже хотелось домой.

Небо над стеной потемнело. В ворота въехала огромная подвода, груженная ящиками. В просвете арки большие вороные лошади казались чудовищами; камни грохотали под их косматыми копытами.

Болек плакал долго, во весь голос. Янек Греля и Владек Соляж, возвращаясь с совета дружины, услышали, что плачет какой-то мальчик, и подошли к нему.

— Отца нет, — пожаловался Болек. Он узнал обоих мальчиков и успокоился: теперь он уже был не один. Янек остался с ним, а Владек пошел искать Явора. Он легко и скоро нашел его. Ресторан был рядом, за углом.

Только когда они двинулись в обратный путь, Явор на свежем воздухе пришел в себя после всех пережитых за день волнений. Все вышло лучше, чем он ожидал. Ему удалось избежать встречи с Соляжем, а этого он очень боялся. Досадно только, что неизвестно откуда взялся этот Владек — обязательно насплетничает отцу.

— Как он тебя нашел? — выпытывал Явор у Болека.

— Сам пришел.

Болек не сказал, что плакал, он хорошо знал отца.

Соляж недолго занимал мысли Константия. Подумаешь! По всему видно, что его бумаге дан ход. Явор окончательно

я этом убедился, когда побывал на квартире у того самого заместителя, который не вышел сегодня на работу. Низко, человек отзывчивый, поручил ему оформить дело Явора. Сперва Константин зашел к директору Хмелю — поддержкой его он уже давно заручился. Хмель вывел Явора кружным путем на безлюдную улочку, обсаженную седыми елками. Заместитель принял гостей, лежа в постели, и ласково упрекнул Хмеля за то, что тот редко заходит поиграть в преферанс. Увидев в кабинете, служившем хозяину спальней, множество ковров, картин и статуэток, Явор оробел. Потом он заметил, что на письменном столе среди газет валяются очистки от яблок и объедки колбасы. Книжки лежали в углу, прямо на полу, и было их гораздо меньше, чем у Хмеля. Заместитель потянулся к ночному столику, достал початую бутылку вина и три баночки из-под горчицы. «Свой», — подумал Константин и успокоился. На одеяле он заметил следы пепла от сигарет. Полосатая пижама на заместителе была измята, а обшлага рукавов обтрепались.

— Водки я не пью, — оправдывался заместитель и при этом все кивал гладкой, лысой головой и многозначительно морщил сизый нос. — Тело отдыха просит, дорогой директор, а в душе-то жар еще не остыл, ничего не поделаешь... Надо уступать дорогу молодым, молодым...

Он подмигнул одним глазом и облизнулся, довольный своим остроумием.

О деле Явора заместитель заговорил только после того, как они осушили бутылку до дна.

— Знаю, знаю, — уверял он, — помню. Нам нужны люди, разумеется, нужны... много, очень много людей. Молодых, здоровых, энергичных... Тут у нас беспорядок, безалаберщина, балаган какой-то, аппарат трещит по всем швам, настоящий, прошу прощения, бордель. А потом являются один за другим начальники из Варшавы, из воеводства — крик!.. шум!..

Он развел руками и жалобно скривился, давая понять, как незаслуженно обрушивает на него свой гнев начальство.

— Вот, например, Хетта... — проговорил он как будто невзначай. — Ну, что ж? Убежал. Под конвоем вели, а он взял и убежал. А с ним убежали два конвоира. Да и третий за компанию с ними. Засада на шоссе, стрельба, кто мог это предвидеть? У нас трудный участок... трудный... Никто не хочет понять...

Он бросил исподлобья быстрый взгляд на Хмеля и неожиданно обратился к Явору:

— Вы знаете этого бандита?— И, не дожидаясь ответа, снова спросил:— Вы, Явор, как насчет политики?

Константий скромно опустил голову и промолчал.

— Дружище, как же так? Нет, черт возьми, так нельзя! Каждый, кто... кто...— он осекся.— Каждый к кому-нибудь примыкает.

Когда они вышли на улицу, Хмель коротко рассказал Явору, кто в Невыхове берет верх.

— Заместитель,— доверительно сообщил Хмель,— заслуженный активист. Воевода его любит, они старые знакомые. Хо, хо, поторговали они с санацией*, поиграли в политику. Бывалые люди!

Явор внимательно слушал, стараясь запомнить все, что может ему пригодиться.

— Лично я,— скромно закончил Хмель,— как был любовцем, так и остался.

Когда Тереза узнала о хлопотах Константия, она подумала, что больше откладывать нельзя. Еще на похоронах сестры она решила взять к себе Болека, однако сделать это ей до сих пор никак не удавалось — одолевали свои заботы. Теперь она выбралась в Жджоры и попала туда в самый канун переезда Явора в Садополе. Во дворе суетилась Гунда Бись, укладывая на телегу хозяйское добро. Она низко поклонилась Терезе, но не сказала ни слова и в глаза посмотреть постыдилась. Константин укладывал в сундучок свои рубашки и всякую мелочь; вещи Болека, уже связанные в узелок, лежали на голой, ничем не покрытой кровати.

Болека в хате не было.

— Не знаю, куда он девался,— проворчал Явор.— Черт знает, что за мальчишка! С утра ревет и ревет.

— В Садополе не хочет ехать, — догадалась Тереза и в душе обрадовалась этому.

— Нет, почему же! — возразил Явор.— Только вот уперся, чтобы это дурацкое решето взять... В город-то! Курам на смех...

— Гунду... берешь в город,— съязвила Тереза.

Явор выпрямился и с вызовом поглядел на свояченицу.

* Санация — фашистский режим в Польше, который был установлен в 1926 году кликой Пилсудского под лживым лозунгом «санации» («оздоровления») и просуществовал до 1939 года.

— Пока еще нет! Придет время, возьму.

— Кого на хозяйстве оставляешь? Кубу? Ее?

— Никого. Что получше, я уже продал... Теперь мне деньги нужны, а не хозяйство. Лошадь и телегу пока поставлю к Мысоням...

— Разве Мысонь вернулся? — прервала его Тереза.

— Вернулся. Корову, — продолжал Явор, — отведу в Беляву, к Гунде. Ну и остальную рухлядь к Гунде. На зремя, пока не найду покупателей.

Он беспечно рассмеялся и ткнул рукой в потолок.

— Купи, Тереня, птичку...

— Ты бы должен был о Кубе подумать, — обиженно сказала она. — На пустом месте его бросаешь...

— Да разве ему что нужно? Он вольная птица, счастья ищет. А тут сколько у него было, столько и остается.

Скрипнула дверь, и показался Болек, унылый, распухший от слез. Тереза обняла его, расцеловала, обласкала, она и сама готова была расплакаться.

— Мамочку помнишь?

Явор фыркнул над своим сундучком; малыш испугался и ничего не ответил.

— Пойдем на улицу, Болюсь.

Она повела его в сад, присела перед ним на корточки на земле, усыпанной белым вишневым цветом:

— Хочешь, Болюсь, поедem ко мне?

Мальчиж не отвечал.

— Ко мне, к дяде Юзефу... Будешь играть с Магдусей.. Владека ты любишь...

Губы мальчижа задрожали, дышал он тяжело, неровно. Он украдкой огляделся, но попрежнему молчал.

— Скажи, не бойся. Ну, скажи. Останешься с отцом?

Он тихонько кивнул головой. Тереза увидела, как наполнились слезами глаза мальчижа. Ей стало жаль Болека, жаль себя самой и даже Явора. Она потрепала племянника по плечу.

— Послушай. Ты возьмешь с собой старый ящик... — Немного погодя она добавила: — И вернешься к отцу, как только захочешь.

Тогда он обвил руками ее шею, прижался лицом к щеке и вздохнул.

— Тереза хочет забрать Болека, — прошептала Гунда, стоя на пороге хаты.

— Знаю. Сразу догадался.

— Так как же?

— Пускай забирает.

Гунда с грустью испытующе поглядела на Явора.

— Чудной ты, Костек. Скоро соглашаешься.

Когда Боек уже сидел в пролетке, а Тереза стала прощаться, Явор сказал ей:

— Передай от меня привет свояку Соляжу. Не любит он меня, и очень мне это обидно... Ты, Тереня, можешь от него добиться, чтобы он меня не преследовал, оставил в покое. Я вам родного сына доверил...

«Милость оказывает...» — сердито подумала Тереза.

Они уже проехали часть дороги, когда Боек вдруг закричал:

— Тетя, птичка осталась!

Он повернулся, встал на колени и через откинутый верх пролетки, подсакивавшей на ухабах, долго смотрел, как исчезают за холмами высокие деревья «старой яворовки».

VIII

ДОРОГИ В БЕЛЯВУ

Явор приехал из Садополе, чтобы обвенчаться с Гундой. Он никого не предупредил о свадьбе, боялся злых языков.

Обвенчаться ему хотелось в Немже без шума. Ксендз Заблуда, видно, понимал щепетильность жениха и очень невнятно пробормотал с амвона три оглашения подряд. Гражданский брак Явор решил пока отложить — стеснялся своих земляков, и Гунда тотчас же на это согласилась. Но как ни торопились они со свадьбой, как ни старались сохранить все в тайне, а в Беляве и даже в Жджорах все уже было известно. Старая Быська не смогла удержаться и хвастала:

— Какой он там ни на есть, этот Явор, а Гунду не обманул...

В деревне хвалили Явора за то, что он сдержал слово. Даже не верилось: все думали, что он обидит девуку, а Явор взял и женился, да еще теперь, когда выбился в начальники и ему не отказала бы даже городская невеста... Об одном только люди жалели, что не пришлось погулять на свадьбе.

Однако Явор не спешил перевозить Гунду к себе на квартиру в Садополе, маясь, говорил, что она перед людь-

ми робеет. Гунда и сама чувствовала, что ей надо переломить себя, ведь она поклялась перед алтарем быть во всем послушной мужу.

— Приезжай за мной,— попросила она, наконец,— в это воскресенье.

— В воскресенье не смогу.— Он поморщился, важно надул щеки.— В воскресенье у меня, знаешь, референдум*...

Она смотрела на него, глаз не могла отвести. Вроде Костек Явор, а вроде и нет...

Он не приехал за Гундой ни в это, ни в следующие два воскресенья.

— Неприятности были,— коротко объяснил он Гунде, когда в один из будних дней прикатил к ней на велосипеде.

Явор сам не понимал, в чем его вина. От всякого рода инструкций у него просто была каша в голове. Он видел, что люди партийные не верят ни ему, ни удостоверениям, добытым с помощью Хмеля. На Явора косились, считали, что он плохо помогает народной власти. Тогда он решил снискать доверие, стал писать доносы на кого попаало, до встретил резкий отпор — ему объявили выговор.

«Старайтесь, Явор,— уговаривал его в Невыхове знакомый заместитель,— а то никакого проку от вас». Однако он не объяснил ему толком, как надо стараться. Директор Хмель тем временем распрощался с невыховской гимназией: его выдвинули на более высокую должность в главном городе воеводства,— и Явору не у кого было прямо спросить, чего добиваются людовцы сразу в двух партиях**. Он не любил читать газеты, не верил печатному слову. Приезжавшие в Садополе докладчики нагоняли на него сон. На собраниях говорили о порядке несения службы, об очередных правонарушениях, а потом играли в очко. Терзаемый сомнениями, Явор вспомнил про Рафала Мысоня. Отныне, навещая Гунду, он всякий раз заходил и к Мысонию. Сперва из их бесед Явор сделал только один вывод: в военное вре-

* 30 июня 1946 года, перед выборами в сейм, был проведен все-народный референдум, который показал, что подавляющее большинство польского народа одобряет политику блока демократических партий.

** В августе 1945 года Миколайчиком был спровоцирован раскол в партии «Стронництво людове». От нее отделились буржуазно-кулацкие элементы, создавшие партию «Польске стронництво людове» (ПСЛ).

мя все было яснее, чем теперь, а потому и жилось легче. Потом, когда между ними восстановилась прежняя дружба, Явор начал понимать, куда клонит Мысонь.

— Что ты все спрашиваешь, какая теперь жизнь, — презрительно морщился Рафал. — Хорошая жизнь. Умному всегда хорошо. Немцев нет. Евреев нет. У панов отняли, мужику дали. В первый год тот, у кого была голова на плечах, мог прекрасно себя обеспечить. А теперь... Тише едешь, дальше будешь. О городах я не говорю — это не мое дело, а вот пока деревня от разрухи не оправилась, правительство дает ссуды, помогает. Чего же спешить... Мне теперь что те, что другие — все едино. С коммунистами надо по-хорошему, пока и они по-хорошему... А возьмутся покруче, так и за них народ возьмется...

— Какой там народ, если их все больше становится.

— Америка смотрит, следит за ними. Этого достаточно.

— Значит, для городских, по-твоему, дело плохо обернется? Хуже им будет?

— С теми, кто на службе, ничего не случится, не беспокойся. Пусть рабочий тревожится.

— Рабочий, говоришь. А он-то больше всех правительство поддерживает...

— Отступится, если деревня его кормить не станет.

— Ну, я все-таки на службе. Как же мне быть?

Рафал пощипал усики, надул губы.

— Тебе деньги платят, чтобы ты мозгами шевелил.

Все-таки он сжалился над беспомощностью Явора и, смягчившись, сказал:

— Кто усердствует, тому по затылку дают. Теперь нужно вот как... — И, быстро перебирая своими длинными пальцами гармониста, он прочертил в воздухе зигзаг.

Хотя Мысонь другим советовал выжидать, но сам ретиво взялся за хозяйство.

Он вернулся домой открыто и всм рассказывал, по какой причине так долго не возвращался. Фронт отрезал его от Беявы, объяснял Рафал, когда он был далеко отсюда, на левом берегу Вислы, где разыскивал родных, которых туда угнали немцы. Оказалось, что отец его тяжело болен, лежит без присмотра... ну, он и оставался при старике, пока ему глаза не закрыл, как велит сыновний долг. Теперь выяснилось, что отец Рафала долгие годы был безработным, а раньше жил в Жирандове. Все это подтверждали скрепленные печатью документы, которыми Рафал ловко вос-

пользовался, когда сам, по собственной воле, отметился сперва у Низио, а потом в гмине. Не прошло и двух недель после его возвращения, как Мысонь объявил себя социалистом и начал посещать в Рыбках собрания. На это мало кто обратил внимание. Это была пора, когда крестьяне, вернувшись из своих скитаний в разоренную Беляву, уныло взирали на руины и пепелища, наспех сколачивали временные хибарки, а то и просто рыли землянки, кое-как обкладывая их хворостом и землей; когда все поджидали своих пропавших близких, пробовали понемножку пахать, сеять и жать и, неуверенные еще в своей судьбе, думали о том, что ждет их впереди. Многие так и не вернулись в Беляву, осели там, куда забросила их война. На полосках, оставшихся без хозяев, буйно разрослись лопух, спорыш и крапива; там, где было сухо, землю выжгло солнце, и она превратилась в рыжий камень, а пониже, у реки, проросла пыреем и лебедой. Скотину пасли, где кому вздумается. И скотины-то было мало, а уж посевов, которые она могла потравить, и того меньше. Так, стараясь избыть как-нибудь старую и новую нужду, люди привыкали к мирной, хотя все еще трудной жизни.

— Нет, не сегодня родилась наша нужда,— рассуждал солтыс Греля.— Мужичья нужда — она приبلуда, подкидыш, и лет уже ей поболее сотни. То ли пан, то ли сам король прижил ее, а может, и какой староста, кривдой они ее спеленали, податями окрестили, да и подкинули добрым людям, потому что уж очень она была мерзкая и ненасытная. И лучше всего она войной кормится: так омолодилась теперь, что вам мерещится, будто она новая.

— Складно вы, солтыс, рассказываете,— грустно похваливали Грелю мужики в совете.

— Это не сказка, а правда. Придет время, вынесем мы подкидыша за околицу, дадим ему под зад коленкой, и пусть он, зараза, на суку повесится.

— Лучше бы нужду эту в Невыхов отправить, властям показать...

— Не жалуйтесь, граждане,— уговаривал мужиков солтыс.— За один год всех дел не переделаешь. На пустом месте начинаем. Всюду разорение.

— Баснями только кормят, а дают, можно сказать, пустаки. Как было, так и осталось.

— Побойтесь бога, Мысонь! Ведь вы один из первых строите дом.

— Что из этого? Тряпками вон окна затыкаю, стекла не допросишься.

— Вам стекло вынь да положи, а другие, может, четыре камня ищут, чтобы хату только ставить, по-черному топят да нужду никак не выкурят...

— Я милостыни не прошу. На свои кровные строю. А если кредит мне дали, так это я сам постарался, вас не просил. Вот мне и нужно к спеху.

— У вас хата Котовских цела, продержитесь.

— Курятник — не хата!

— Однако для школы она, по-вашему, годится, — не без ехидства сказал Греля.

— Ставьте новую, коли моя нехороша. Я вам еще приплачу.

— Забыл о нас Хмель, — вздохнул кто-то, — а сколько насулил...

— Обойдемся и без Хмеля. Сами справимся. Школа должна быть.

— Да ты ли это, Сикора? — в голосе Мысоня звучала издевка. — Уж не ты ли поможешь?

Збышек не ответил на насмешку. Все и так знали, что он с Хмелем не ладит. Знали также, что Сикоры теперь не те, что были раньше. Не по себе было Збышеку на людях, не по себе ему было при Мысоне. Движения его были связаны, сам он слова не мог вымолвить. Збышеку казалось, что тайна его всем известна, и одни свысока его жалеют, а другие, помня, как чванилась его семья, затаили злобу и желают ему гибели. Мруза он избегал, старался не попадаться ему на глаза. И все же им не раз случалось встречаться. Мруз украдкой подмечал странный блеск его глаз, ловил слово, невольно срывавшееся с губ.

— Сикора, — заговорил как-то Тадеуш, дружески хлопнув Збышека по плечу, — почему ты всегда такой унылый, задумчивый... Что тебя гнетет, брат?..

— Ничего...

Но ему вдруг страстно захотелось открыться, поделиться своим горем и если уж нельзя рассказать о самом важном, то хоть поговорить о других своих заботах, излить душу и дать таким образом выход тоске.

— Плохо наше дело. Все разом сошлось. Когда мы отсюда бежали, снесло у нас плотину, водоспуски разбило, схлынула вода, а вместе с водой ушла вся рыба. Мне-то ничего, а от отца спасенья нет. Совсем стал несносный и день

ото дня становится хуже; ходить не может, только и делает, что убытки считает, клянет все на свете да скулит, что и ноги у него отнялись, и пенсии он лишился, и на похороны не хватит... Мать больна. Юстина ребенка не доносила, мертвый родился; доктор сказал, что, верно, уж никогда больше не будет... Анельця тоже слабенькая... Все больны. Не дом у нас стал, а мертвецкая... Дышать нечем...

— Взял бы ты Юстину с дочкой да пошел бы искать лучших мест. Разве теперь только и света в окошке, что Белява?

— Не для меня эти лучшие места. Сам знаешь. Да и как стариков одних оставить? И с землей как быть? Ну ладно, уйду я. Так ведь меня всюду станут попрекать отцом. Всюду надо будет метрики показывать да каяться...— Збышек во-время спохватился и замолчал.

— Это ты зря говоришь,— возразил Мруз.— Каждый только сам за себя отвечает. У тебя своя голова на плечах, человек ты неглупый...

— Другим советуешь, а сам сидишь здесь, словно кто тебя силком держит...

На смуглых щеках Тадеуша проступил легкий румянец. Он смутился, хотел что-то сказать, но раздумал, и Збышек решил, что Мруз, видно, ничего о нем не знает.

— О чем это ты с Мрузом беседуешь? — остановил Збышека в тот же день Мысонь.

— Тебе какое дело? Не о тебе.

— Еще бы...— Рафал из-под длинных красивых ресниц пристально поглядел на соседа, потом мягко предостерег:

— Запомни, Збышек. Я из этого дела чист вышел. Не воображай, что ты меня тоже можешь... У меня и тут и там рука есть...

— Что вы думаете о Мысоне? — спросил Греля у Мруза вскоре после спора о школе. — Станный он человек. Оборотистый, на глазах богатеет, а никто так и не дознался, что у него там было...

— Не знаю,— задумчиво ответил Тадеуш.— Я сам его не поймал ни на чем. Мало ли что...

Тадеуш Мруз не сразу после войны вернулся в свой домик, затерявшийся среди белявских сосен. Сперва он провожал убегавших гитлеровцев далеко за пределы уезда и бил их, как мог, на прощанье. Потом вместе со своим отрядом явился к властям за новым заданием. Когда в лесах утихли еще частые в ту пору предательские выстрелы, он

помогал Соляжу в различных все новых и новых кампаниях. С мандатами, на которых еще не успевали просохнуть чернила, они отправлялись на места: создавали по деревням гминные и громадские комитеты, разоружали полицейских в синих мундирах, а их еще много тогда оставалось; вербовали в районах, которые им были хорошо знакомы, новые кадры милиции и агитировали за сбор продовольствия для армии, которая сосредоточивала теперь силы на далекой линии фронта, готовясь к решающему наступлению.

Вместе с Соляжем они делили между батраками и крестьянами землю ружанецкого помещика, вместе с Соляжем оплакивали товарищей, погибших в борьбе за землю. Отдал за нее свою жизнь председатель комитета по проведению земельной реформы, которого они помнили еще по довоенным встречам в Немже. В Садополе погибли двое — войт и секретарь гминного комитета. В Ружанцах в Тадеуша стреляли дробью, но с большого расстояния, и он сам выковырял три синих зернышка, засевших под кожей на бедре.

Потом Юзефа назначили комиссаром по восстановлению деревни. Тысячи сожженных домов, тысячи людей без крова, заминированные поля и леса, разрушенные мосты — задача пугала своей необъятностью. Вспыхнули эпидемии тифа, дизентерии, люди болели чесоткой. Но староста Мартин Войтан не боялся трудностей и своим помощникам не делал поблажек. Мало приходилось спать в те месяцы Соляжу и Мрузу, недолг был сон их в те ночи. В ответ на их требования правительство посылало транспорты с продовольствием, лекарствами, одеждой, строительными материалами, выдавало пособия, открывало кредиты. В Невыхове пустили цементный завод, бездействовавший уже несколько лет. Строили новые кирпичные заводы и лесопильни. Механические мастерские в Рыбках работали для нужд восстановления. Грузовики и крестьянские подводы развозили кирпич, черепицу, инструмент. В лесах просеки были завалены свежим строевым лесом. Это была пора, когда в стуке топоров, в гуле моторов и пронзительном реве гудков многие люди слышали то новое слово, которого раньше не знали или не хотели узнать.

Это была пора, когда начала просыпаться и Белява, издавна замкнувшаяся в самой себе, отгороженная от внешнего мира. Надежда, как бодрящий предрассветный холодок, поднимала дух крестьян.

В начале следующего года Мартина Войтана отозвали с

шоста и перевели в другое воеводство. Вскоре после этого новый староста показал Соляжу письмо, в котором воевода решительно осудил неуместную инициативу бывших местных властей. Он приказал воздержаться от дальнейших образований в данном районе и в будущем следовать подробным инструкциям. В письме не были упомянуты чьи фамилии.

Мруз побледнел, когда Соляж рассказал ему об этом.

— Ты сказал старосте, что об этом думаешь?

— Я сказал, что власть в Польше народная, а не буржуазная и что работой руководит партия, а не воевода.

— И что же?

— Ничего. Он ответил, что обязан выполнять приказы.

— Ты обращался куда-нибудь повыше?

— Да.

— А что говорят в воеводском комитете?

— Советуют не горячиться. Подождать. Врага не всегда отличишь от дурака.

— Дурак или враг — вред одинаковый.

— Да не одинаково им отвечать придется. Это надо есть в виду. Не забывай, Тадеуш, что враг еще силен, а мы только собираем силы... Тяжело нам сегодня... Но не в этом дело спорится.

— Стало быть, под перину завалиться? Спать?

— Не болтай глупостей, черт побери! Ты что, о людях забыл! Не спать надо, а людей будить. Разъяснять, учить! Поводить кадры, агитировать, развернуть политическую работу, а ты... спать!

— К этому-то я меньше всего...

— Ну конечно! Меньше всего! Будто я не помню, как ездил со мной по деревням... как в Ружанцах...

— Да, — согласился Тадеуш. Голос у него был глухой, хриплый. — Но тогда речь шла о таких делах, которые требуют... рук... Винтовку держать, топор, мерную ленту... Ничего другого я делать не умею.

Он так внимательно и озабоченно поглядел на свои руки, словно удивился и испугался, что они у него пустые.

Теперь каждый день в органах самоуправления и в государственном аппарате происходили крупные и мелкие, а иногда и едва заметные перемещения и перемены. Люди, которые в первые дни освобождения сумели обуздать обнаглевших политических авантюристов и неведомо откуда вылезших крикунов, люди, которые буквально поставили на

ноги уезд и были готовы к дальнейшей решительной борьбе во имя народного блага, теперь уходили, исчезали. На их место являлись новые, о которых Соляж раньше ничего не слышал или слышал одно дурное. Быстро выдвигались всякого рода посредственности. Создавалось впечатление, что в верхах, в сферах, недостижимых для местного активиста, кто-то со злобным упорством мешает и вредит общему делу. Подняли голову притаившиеся банды. Приходили сообщения о налетах на гминные комитеты и кооперативы, о ночных стычках с милицией. Немало было жертв. Враги втихомолку сеяли всякие слухи. Кампания по переселению, которая должна была облегчить жизнь крестьян в перенаселенных деревнях и укрепить новые области на Западе, натолкнулась на неожиданное сопротивление. Кто-то мучил сельскую бедноту, предсказывая, что события примут непредвиденный оборот, советовал медлить с обработкой земли, ждать новой власти. Во многих деревнях удалось запугать неокрепший актив: люди или бездействовали, или шли на поводу у богачей и ксендзов.

Бывали дни, когда и Соляж поддавался слабости. Он устал, а оттого, что работа его не получила признания, в душе у него росло горькое, непроходящее чувство обиды. Не раз у него появлялось желание отказаться от возложенных на него обязанностей, вернуться в Рыбки, вытаскивать ключи, чинить замки, паять Терезе кастрюли, играть с детьми и забыть обо всем. Однако новые задачи заставляли его забывать об этих соблазнах. Соляж принимал посетителей, отвечал на письма, шел на открытие нового клуба, готовился к докладу, выезжал на места... Он все еще не перевез Терезу к себе в город, но каждый раз перед сном, когда сказывалась усталость, когда душу начинали точить тайные сомнения, выдержит ли он, справится ли, Соляж вспоминал дом в Рыбках, представлял себе картину своего возвращения: скрип калитки, грядка пионов, темные сени, лицо Терезы,— и страхи его исчезали. Он засыпал.

Мруза вызвали в Управление государственных лесов. Он поддался на уговоры и временно, с испытательным сроком, пошел заведовать ружанецким лесничеством. С трудом одолевал он бездну ненавистной ему канцелярской премудрости. Сводки, квитанции, счета и требования таили в себе больше ловушек, чем дремучий бор в ночной час. Он уличал своих работников в мошенничестве, приходил в ярость, чуть ли не плакал от гнева и огорчения, терял здо-

овье. С раздражением швырял он бумаги и уходил в лес. Он предпочитал сам, с двустволкой на плече, охранять доверенное ему добро. Как и в прежние времена, он высматривал человеческий и звериный след. Мруз положил конец ищному истреблению леса. Браконьеры и порубщики боялись его. Но тех, кто открыто приходил к нему со своей бедой, Тадеуш не оставлял без помощи. У него бывали крестьяне не только из Беявы и Жджор, но и из дальних деревень, рассказывали про горе свое и нужду. Он выписывал необходимые справки и квитанции, и бездомные приносили и благословляли его за доброту. Признательность людей радовала Мруза, но отзывчивость к чужому горю завела его далеко. Он был один; как пригодился бы ему теперь рассудительный и уравновешенный Соляж.

Спустя три месяца Мруз явился в Управление с просьбой назначить ревизию.

— Понесло меня на эту работу,— жаловался и сокрушался он,— непривычен я к ней, опыта у меня нет, образования не хватает. Я, граждане, лесной рабочий и партизан — и только. А тут инженер нужен.

Расследование показало, что Мруз спохватился, когда едва не перешел границ своих полномочий. Поскольку он действовал с добрыми намерениями, без личной корысти, ему не вменили в вину его ошибки. Мруз попросил, чтобы его освободили от должности, которая ему не по плечу. Просьбу его удовлетворили при условии, что он возьмет на себя надзор за беявскими лесами, запущенными за время войны. Мруз согласился, с трудом сдержав охватившую его радость. Он возвращался в милые его сердцу родные места.

Тадеуш не захотел жить в большом доме бывшего лесничего, где все напоминало ему о ненавистном человеке и его темных делах. Он решил разместить в этом доме сезонных рабочих. Его собственный домик уцелел. В последние месяцы войны в нем, кажется, нашла приют помешанная Жондлика.

Мруз весело принялся наводить порядок в своем доме. Вымел мусор, выкурил ладаном муравьев, которые бесцеремненно водворились в комнате, поставил новый набор. Затем пришлось позаботиться о новой мебели — все было разграблено. Он пошел в кооператив за гвоздями и совершенно неожиданно заручился там помощью столяра.

— Гвоздей нет,— сообщила стоявшая за прилавком худенькая, по-городскому одетая девушка со светлыми ресницами и огорченно заморгала глазами.

— Почему нет гвоздей?

— Разве вы не знаете?— удивилась продавщица.— Легкая промышленность не справляется... Трудности...

— Ах, да...— Мруз улыбнулся и смущенно хлопнул себя по лбу: — Господи, и о чем я думаю! Ведь это я, я должен вам...

Он еще больше смутился, когда девушка поглядела на него с такой обидой, с таким сознанием своего превосходства, с каким может смотреть только первая ученица в классе. В эту минуту с ним заговорил человек, которого он не разглядел в полумраке:

— Не огорчайтесь, пан лесничий. Я вам помогу...

Мруз не узнал Кубы Явора. Он помнил его ленивым, неуклюжим подростком, а теперь перед ним стоял и предлагал свои услуги совершенно другой человек. Мруза приятно удивило, что Куба так не похож на брата.

— Ты, Куба, был лентяй и лоботряс,— откровенно сказал Тадеуш, когда они вышли из лавки.— Тебя точно подменили.

— Нужда и портит, нужда и учит,— ответил Куба.— Всяко бывает.

— Хозяйствуешь?— спросил Тадеуш. Он ничего не слышал о злоключениях младшего Явора.

— Нет, не на чем.

— С Константием видишься?

— Нет. Как-то не приходится... Когда он приезжает в Беляву, все больше у Мысонеи сидит, ну...

О Константин Тадеушу рассказывали Соляжи, расспрашивать Кубу ему не хотелось. Невольно он поглядел в ту сторону, где вдали над темной кудрявой макушкой молодой сосенки синел знакомый одинокий тополь.

— В Беляве часто бываешь?— спросил Мруз помолчав.

— Я нанялся к Мысонам дом строить. Работы немного осталось. Теперь у нас перерыв, не хватает материалов...

— А гвозди у тебя...— Мруз не договорил, боясь обидеть парня. Но Куба его понял.

— Вы его не жалейте. У него полный ящик гвоздей, хватило бы на всю деревню. Для себя он все добудет.— Куба замолчал, только губами пошевелил, словно боялся, как бы не сорвалось с языка лишнее слово. И все-таки он

не выдержал и стал жаловаться; голос его от возбуждения ломался, как у подростка: — Ни гроша мне еще не заплатил, все обещает да обещает. А стряпать велит для меня отдельно. И требует, чтобы я за Эбышеком Сикорой следил да по вечерам в окошко к ним заглядывал, высматривал, что они там делают...

— Зачем?

— Почему я знаю! Я шпионить не хочу! Чем Эбышек переду мной провинился?.. А Мысонь не унимается... Помешался на этом, честное слово...

За одну неделю они смастерили стол, кровать, шкафчик для посуды, три табурета. Во время работы Куба рассказывал о своих военных приключениях и удивлялся, что Мруз готов слушать с утра до ночи, по десять раз спрашивает про одно и то же, интересуется всем куда больше, чем родной брат.

— В Швецию, говоришь, поехала...— задумался Мруз и потребовал, чтобы Куба снова рассказал все с самого начала, как будто он не запомнил еще того, что узнал об Анне Гожек.

Но Мруз интересовался и делами Кубы.

— Славная продавщица в нашей лавке,— сказал он как-то.— Красивая барышня. Она что, городская?

Куба покраснел, глаза у него улыбнулись.

— Вы не узнали Ядвисю Грелю? Она ведь здешняя, дочка солтыса.

— Не узнал! — удивился Мруз.— Как выросла девчужка. Я помню, она мне грибы приносила, такая крошка была...

— Людям удалось спрятать ее от немцев.

— Бойкая она, я вижу, смышленная...

— Еще бы! — Куба просиял от похвал Мруза.— Она такие курсы кончила, что и книги вести может и разные счета... Теперь она у нас самая ученая!

Сказав это, он вдруг не то смутился, не то загрустил.

— Что ты собираешься делать, Куба, когда кончишь работу у Мысоней?

— Осенью пойду в армию. А что будет потом, не знаю.

— Ты об этом не думай,— сказал Мруз.— Вернешься, мы найдем для тебя дело.

Они расстались друзьями.

Куба ночевал у Мысоней на чердаке. Поздно вечером, когда он подходил к дому, свет в окнах уже погасили.

«Спят,—подумал Куба,— может, и двери заперли?» Где-то далеко вспыхнула зарница, беззвучно взмахнула сверкающим белым крылом, и на мгновение из темноты вынырнули край крыши и колодезный журавль. Мысонь сидел на пороге и курил папиросу, прикрыв огонь сложенной в лодочку ладонью. Отсветы огня так внезапно вспыхнули на его лице, что Куба вздрогнул от неожиданности.

— Ты долго еще будешь у Мруза...—Рафал произносил каждое слово тихо и внятно, словно разговаривал с тугухим в присутствии спящих, которых боялся разбудить.

— Сегодня кончил,— ответил Куба.

— Коли так,— продолжал Мысонь тем же тоном,— то завтра же убирайся отсюда.

Куба подумал, что он ослышался.

— Почему?— спросил он наконец.

— Потому. Мне так угодно.

— Ладно,— сказал Куба после паузы. — Теперь, наверно, сами справитесь. Значит, когда мы рассчитаемся, сейчас или утром?

Мысонь встал и шагнул навстречу Кубе.

— С Константия получишь. Он мне деньги должен. Занял у меня, понимаешь?

— Это не мое дело. Брат — одно, а я — другое. Вы просто одурели.

— Как ты смеешь, щенок! Вон отсюда!

Куба нащупал кол в низеньком заборчике под окнами.

— Я, Мысонь, могу убраться хоть сейчас. Мне есть куда идти. Тащите сюда с чердака мою одежонку да мешок. Смотрите только, не споткнитесь впотьмах о те ящики, что вы там понаставили.

Мысонь отступил на шаг, подумал, зажег погасшую папиросу. Потом нажал щеколду, отворил дверь.

— Иди спать, Куба. — На пороге он придержал его за рукав и как ни в чем не бывало сказал: — Шляешься ты, вот и разозлил меня, только и всего. Нервные мы стали...

Куба ощупью пробирался по сему в свой угол. Он правильно угадал, чем можно пронять Мысоня, — теперь у него больше не оставалось сомнений. Мысонь несколько раз запрягал в телегу лошадей — свою и Константия — и куда-то уезжал дня на два, на три. Возвращался он всегда ночью с тяжелым грузом. В ящиках был хозяйственный инвентарь, мебель. Во время недавних скитаний Куба посмотрелся, как люди сколачивают состояния. «Должно

быть, — размышлял Куба, — Мысонь издалека приволок эти вещи, еще до того, как появился в Беляве, сложил их где-нибудь в укромном месте, а теперь перевозит по частям».

«Бойтся он меня. Вот бы Мрузу рассказать...» — не без удовольствия подумал Куба, уже засыпая.

Под утро над Белявой пронеслась короткая августовская гроза, но земля быстро впитала влагу, и день стоял жаркий и душный. Тадеуш Мруз вернулся с обхода, не дождавшись полудня. Необъяснимое волнение гнало его домой, он места себе не находил: отворил калитку, — новый забор был еще липкий от свежей смолы, — вошел во двор, огляделся, прислушался. От царившей вокруг мертвой тишины звенело в ушах, даже сверчки умолкли. Мруз вздохнул.

— Заведу собаку. Пусть, черт возьми, хоть дворняжка полагает... — Он смутился, поймав себя на том, что громко разговаривает сам с собой.

Мруз снял пояс и куртку и бросил их на сложенные во дворе жерди, а двустовку прислонил к бетону колодца, потом не спеша пошел в сени за ведром и вдруг ускорил шаг.

В дверной щели белел листок бумаги.

— Повестка какая-нибудь... — пробормотал он, чтобы не обмануться в своих ожиданиях и в самом зародыше подавить безрассудную надежду.

Руки у Тадеуша дрожали, он никак не мог вскрыть телеграмму. Он читал и перечитывал слова, которые слишком долго снились ему по ночам, чтобы теперь им сразу поверить. Прикоснулся губами к имени, старательно выписанному телеграфисткой в Рыбках, схватил только что сброшенную куртку и уже на бегу надел ее. Напрямик, кратчайшей дорогой он помчался к Грелям.

Когда Мруз на бричке, нанятой у солтыса, подъехал к станции Рыбки, до прихода поезда оставалось еще полчаса. Он разнуздал лошадь, подсунул ей под морду мешок с сеном и вышел на перрон. От старого вокзала осталась только выложенная в шахматном порядке белыми и черными плитками дорожка через платформу, ведущая от здания вокзала к железнодорожным путям. Около сарая, заменявшего зал ожидания и билетную кассу, прохаживались мужчины в парусиновых костюмах и бабы с мешками. Время тянулось бесконечно. Стены сарая были окрашены, и в

воздухе стоял неприятный запах краски. От шарканья ног по платформе ожидание казалось еще томительней. Тадеуш уже решил отойти куда-нибудь в сторону, спрятаться от людей, которые, наверно, заметили его волнение и про себя посмеиваются над ним, но тут издали донесся свисток паровоза. «Не приехала», — подумал Тадеуш. Одни пассажиры, высадившиеся в Рыбках, устремились напрямик через пути к шоссе, другие, соблюдая правила, направились к выходу на вокзальную площадь. Начальник станции дал сигнал к отправлению, паровоз дернул состав, и поезд ушел. Кто-то дотронулся до плеча Мруза. Он резко повернулся. Маленький чемоданчик выпал из рук Анны. На мгновение взгляды их встретились. Тадеуш нагнулся к ее лицу, но она отвела голову, смущенно и ласково улыбаясь. Он поднял ее чемоданчик, поставил на прежнее место, снова поднял. На платформе они не обменялись ни единым словом.

Тадеуш хотел было усадить Анну на заднем сиденье, но она села рядом с ним. За городом, в открытом поле, лешадь, увязая в песке, пошла медленнее. Тадеуш отпустил поводья и одной рукой обнял Анну.

— Ты ли это, Анна, ты ли это! Ведь я дожидаться не мог.

Они поцеловались.

В белявском лесу мимо них промчалась легковая машина. Но они даже не подумали о том, кто это может разъезжать по Беляве в автомобиле.

IX

У ТЕРЕЗЫ

О возвращении учительницы Тереза узнала от Явора. Когда около ее дома остановилась машина, она не удивилась, решив, что из Невыхова приехал Юзеф, — дело было в субботу. Гунда робела и почти все время молчала. Она отказывалась от угощения и краснела всякий раз, когда осторожно брала с тарелочки песочное печенье и прихлебывала чай. Только Магдусе удалось ее расшевелить — девочка потащила гостью в свой уголок, показала ей кукол, книжки и картинки, после чего потребовала, чтобы Гунда потрясла ей в саду слив. Довольные друг другом, они вышли вдвоем в сад.

— Где мой сын? — спросил Явор у Терезы. Он расстегнул ворот мундира и сидел, бесцеремонно разваливаясь на стуле; чванился он ужасно и явно любовался собой.

— Пошел на урок: он два раза в неделю берет уроки.

— Не рановато ли? — забеспокоился Явор. — От книжек в голове у мальчонки все перепутается...

— Нет, нет! — успокоила его Тереза. — Болюся учат не счету, не грамоте, а только играть по нотам. У него способности к музыке, уверяю тебя, — объяснила она удивленному отцу. — У нас тут живет Сершина, вдова инженера, до войны ее муж был большая шишка — директор фабрики, потом убежал с немцами и где-то по дороге его убили... Так вот она учит Болека играть на рояле. Нахвалиться не может...

— За уроки приходится платить? — спросил Константин. Теперь он уже сидел прямо и казался несколько озабоченным.

— Пустяки! Лишь бы у Болюся хватило терпения... Он не любит играть по нотам, ему бы только по памяти. А она требует, чтобы он играл по нотам, да все одни и те же упражнения, иначе не хочет.

— Он один к ней ходит?

— Да разве я пустила бы его одного! Отвожу и привожу...

— Вот тебе и развлечение, — вкрадчиво заметил Явор. — А то соскучилась бы...

— Не бойся. Работы у меня хватает, — резко сказала Тереза.

Явор понимающе покачал головой.

— Ты шофера угостила? Это наша садопольская машина, служебная, — похвастал он.

Тереза чуть заметно улыбнулась. Она видела, что ему хочется пофорсить.

— Как тебе нравится Гунда? — спросил он.

— Ну, что ж... неплохая женщина. Ребенка ждете?

Явор нерешительно кивнул головой.

— Сегодня перевожу Гунду к себе, — сказал он. — А к тебе, Тереня, у меня просьба, — помоги купить ей шляпку. Я в этом ничего не смыслю, а она и подавно. Ведь она теперь будет жить в городе. Неловко без шляпки — другие ведь носят. Да товарищи посоветовали мне, чтобы я называл ее не Гундой, а Кингой, потому что Гунда — это уж очень по-деревенски. Что ты скажешь?

Тереза долго раздумывала, как ответить Явору так, чтобы он все понял и не обиделся. Она спросила, какое у Гунды пальто, какие платья, потому что шляпку надо подобрать под цвет. А под конец деликатно объяснила, что сперва надо приодеть жену, познакомить ее с порядочными людьми, которые научили бы ее кое-чему так, чтобы она скорее освоилась в городе, дали бы ей нетрудные и полезные книжки... А без шляпки можно обойтись, и берет сойдет. Она порылась в шкафу и в сундуке, выбрала для Гунды два платья и впридачу детское приданое Магдуси.

— Как ты там, Константиний, в Садополе? — спросила Тереза. — Справляешься?

— А как же! Слава богу, люди боятся...

Гунда вернулась из сада и начала торопить мужа с отъездом.

— Не стану вас задерживать, мне тоже надо уходить, — сказала Тереза.

Гунда достала из неказистой веревочной сумки небольшой сверток и положила на стол.

— Не побрезгуйте, Тереня, — сказала она, как всегда, негромко и немножко нараспев, — творожничков я испекла, яичек положила, масла и тмйну, должны быть хороши. Пусть Болюсь с Магдусей поделятся... И спасибо вам, Тереня, — поклонилась она по-крестьянски, — за платья и за все...

— Брось, Кинга, церемонии, разговаривай с Тереней запросто, — снисходительно заметил Явор.

— Что передать твоему сыну? — спросила Тереза у Константия, когда он с Гундой уже сидели в машине.

— Пусть ведет себя хорошо, хорошо пусть ведет себя... — буркнул Константиний и, как всегда, вдруг громко и беспричинно засмеялся.

Тереза перехватила смущенный, страдальческий взгляд Гунды. Машина тронулась. Явор помахал рукой через опущенное боковое окошечко, после чего руку так и не убрал, она повисла снаружи, и от движения машины ее то и дело встряхивало. «Выставил, как ксендз в исповедадьне для целования... ну и спесив же... — промелькнуло в голове Терезы. — А Гунда, может, и хорошая баба, но только совсем темная, трудно ей будет в городе...»

Соляж навестил Терезу только через неделю. Он привез Владека, который всего за два дня до этого вернулся из летнего пионерского лагеря в далеких силезских Судетах.

— Знаешь, мама, кого я там встретил? — рассказывал Владек. — Адася Пореша, родственника! Он уже стал совсем взрослый, в университете учится, доктором будет, он активный омтуровец *, а в нашем лагере проходил практику и работал в амбулатории...

— Неужели он тебя узнал? — удивилась Тереза.

— Нет, не узнал, но... — тут Владек смутился, — но у меня как-то очень разболелся живот — я селянкой объелся... мы тогда разговорились, и он велел маме и папе кланяться.

— Я получил письмо от Войцеха Гженского, — вмешался Соляж. — У него теперь хозяйство в тех краях, он уже и мать к себе перевез... Пишет, что старый Пореш разъезжает по возвращенным землям, спекулирует, жульничает... А молодой Пореш, ну, Адася, учится, собственными силами дорогу себе пробивает и с отцом не хочет иметь ничего общего... Войцех все о них знает, потому что наш Адася ездит со студентами-медиками к ним в деревню на практику и всегда у него ночует.

— Бедная тетя Текля, — вздохнула Тереза. — Адасю следовало бы подумать о матери, вместо того чтобы шататься по деревням да по лагерям.

— Окончит университет, получит диплом, тогда и о матери позаботится, — рассудил Соляж. — А с Теклей ничего худого не случилось, только вот срам.

Разговор о тетке Текле был неприятен Соляжам. Она уехала из Невыхова полгода назад. Сперва Пореш без ее ведома продал все, что натаскал в дом в первую послевоенную весну. А потом совсем исчез и не собирался возвращаться. Кажется, он где-то получил должность управляющего государственным хозяйством, а затем сошелся со своей компаньонкой по торговым операциям и потребовал у Текли развод.

— Седой козел! — кипятилась тетка Текля. — Гулять захотелось! Его дочка уже внуков ему принесла, у нашего Адася уже усы растут, а у него — нет, вы только подумайте! — у него вторая молодость... Ну нет! Нашел себе драную кошку, пускай дожидается, пока она его до нитки оберет, пока она ему... пока она его... а я пальцем не шевельну!

* Омтуровец — член Общества рабочих университетов.

Текля недолго прожила в одиночестве. Она была еще женщина в соку, не скупая, но хозяйственная, в шкафах у нее было полно белья и платья, да и про черный день она сумела припрятать кое-какие ценные вещи. Сперва Текля решила ждать, пока сын окончит университет и возьмет ее к себе. Но время шло. К Текле стали заходить старые и нестарые кавалеры, попить у нее чаек. Тех, кто не пришелся ей по вкусу, она вежливо отвадила.

Только один из них понравился Текле, быть может, потому, что он приезжал издалека, из-под главного города воеводства, и редко баловал ее посещениями. Характер у него был решительный, хотя держался он скромно, ходил в костел. Говорил он тихо, степенно, и тетка Текля любила его слушать.

Звали его Леон Такно. Он был старый холостяк, в прошлом служил у помещика; еще до войны, когда с публичных торгов продавали имение его хозяина барона Поренца, Такно приобрел участок в Небожине, неподалеку от главного города воеводства. Участок был никудышный — полоска земли над зловонным, подернутым яркой ржавчиной болотцем, из которого вытекал такой же зловонный ржавый ручеек. Однако в этой грязной воде таилось целое богатство. Из города в Небожин приезжали дачники — там был и лес, и река с хорошим купаньем, а старый замок над рекой, который даже не стали продавать с публичных торгов, придавал особую прелесть летним прогулкам. Такно завел знакомство с одним врачом, который обнаружил, что этот болотистый ручеек обладает целебными свойствами. Они негласно организовали компанию, привезли специалистов, с помощью взяток преодолели недоверие официальных лиц, и несколько лет спустя на участке Леона Такно рядом с изящной виллой стоял ванный павильон с собственным, пусть примитивным, трубопроводом, десятью кабинками и большим котлом для нагревания целебной воды. Медицинская инспекция воеводства неплохо на этом заработала, врачи рекламировали серу и железо небожинской водолечебницы, а подагрики единодушно подтверждали, что не зря выбросили деньги на лечение. Врач-компаньон, санитарка и смотритель ванн имели постоянную квартиру при пансионате. Во время войны дело пришло в упадок, но не совсем заглохло, и даже нашлись такие немцы, которые не без пользы для здоровья мокли в ваннах Такно. В конце войны санитарка умерла, а смотритель

отказался служить и вернулся в родные места — его отчим жил в Ружанцах. Такно отправился туда за обидевшимся помощником и в поезде познакомился с Теклей Пореш. Пока Текля и Такно доехали от Рыбок до Невыхова, они уже беседовали, как старые знакомые. Тетка Текля умела покорять людей.

— Ну что ж, — проворчал Соляж, — видно, ей неплохо в Небожине, раз она там сидит... Но так вести себя... — он покачал головой. — Ты когда-нибудь его видела? Этого Такно?

— Однажды я застала его у Текли, еще в Невыхове, — сказала Тереза. — Крепкий мужчина, волосы у него темные, жесткие и лицо темное, в морщинах, только глаза светло-голубые, прямо какие-то белесые. Человек он бывалый, но мне не понравился...

Соляж был недоволен, когда узнал, что приезжали Яворы.

— Глуп, очень глуп этот Явор, — пожаловался он. — Меня боится как огня, а я знаю, что он ко всяким сомнительным личностям ездит в Невыхов. Да и пьет. Вот, увидишь, Терезка...

Он не закончил, а встревоженная Тереза стала, как всегда, заступаться за Явора.

— Не трогай ты его, Юзеф. Все-таки он Болеку отец, не порть ребенку будущее. В память покойной Альдоны прошу тебя...

Соляж слушал, нахмуясь, и расчесывал пальцами свои все еще густые и кудрявые волосы; потом наклонился и заглянул Терезе в глаза.

— Терезка, — сказал он каким-то приглушенным, не своим голосом, — мне нужно, чтобы ты меня поддержала, а ты хочешь меня сделать мягким, безвольным...

— Что у тебя? Неприятности?

Он глубоко вздохнул, задумался, искривил страдальчески рот; казалось, в узоре клеенки, которой был покрыт стол, он разглядывает невидимые Терезе картины.

— Не то чтобы неприятности. Иногда мне кажется, что я уже ни на что не гожусь. Пока только появлялись первые ростки новой, нынешней жизни, я чувствовал себя на месте. А сейчас...

— Не уважают тебя?

— Уважают. — С минуту он помолчал. — Такие люди, как я, как Тадек Мруз, получают теперь хороший урок.

Потруднее, чем Боек у твоей инженерши. Боек просто не нравятся поты. А мы многого не умеем. Приходят к нам всякие люди — умные, образованные, речь у них так и льется... Вот ты и поди с ними. Я таким людям не всегда верю, а почему, объяснить не могу. Боюсь, что у меня не хватит смелости в работе, что я напутаю, отстану. А отсталый будет плестись в хвосте.

— Я тебя одного не оставляю, не бойся.

— Когда я не знаю, как поступить, — продолжал Соляж, — то стараюсь представить себе, что бы на моем месте сделал другой человек, такой, которому я верю. Роюсь в книжках, но мне не всегда удается найти то, что нужно, а у тех, кто поученей, я стесняюсь спрашивать. И тогда я думаю — не смейся, — а как бы на моем месте поступила ты, только одна, без моей помощи, так, словно меня нет на свете...

— Ну, где уж мне там равняться с книжками, с тобой, Юзусь! — всплеснула руками Тереза.

— Можешь, можешь равняться, потому что ты не искала богатства, когда за меня шла, и все эти годы ты меня заставляла держаться с народом... и никогда мне не мешала... Потому что ты, сама того не зная, стала нашим человеком... И я тебе верю...

Бледные щеки Терезы покрылись румянцем.

— Ты не обо мне думай, что там мой бабий ум... Ты так думай, так поступай, чтобы народу легче жить стало. А тех, кто с тобой заодно, не бойся и не стыдись. Каждый слаб и боится, когда действует в одиночку, а все вместе разрушат старый мир и построят новый. Ты пишешь Мартину?

— Пишу. — Юзеф снова помолчал, потом уже другим, более веселым голосом попросил: — Завари, Терезка, чаю покрепче да прибери на столе, я здесь разложу свои бумаги... Школьные дела хромают...

— Панна Гожек вернулась, — вспомнила Тереза.

— Да, я знаю. А в Беяве нет школы. У меня тут письма и от панны Гожек и от солтыса Грели, просят подержать их...

Тереза хотела было сказать: «Боек поступит в школу у нас, в Рыбках...» — но вспомнила, как похвалил ее Юзеф, и устыдилась.

Когда Юзеф лег и погасил лампу, Тереза еще не спала.

— Не идет у меня из головы Явор, — сказала она вполголоса. — Я знаю, что это не твоя забота, но ты ведь обо всем должен думать, за всем уследить...

Соляж ждал, чувствуя, что она не все сказала.

— Ему не место в Садополе, я знаю... — Тереза тяжело вздохнула. — Но вы там, Юзеф, потерпите еще с полгода, дайте ему поблажку... Может, он в конце концов человеком станет...

Юзеф понимал, что Тереза сама не верит в то, что говорит. И снова на душе у него стало тяжело, тревожно. Из соседней комнаты доносилось спокойное, ровное дыхание троих спящих детей, и он невольно им позавидовал. Ему не хотелось спать; он так и не сомкнул глаз. Ночь была темная, душная. Он потянулся за сигаретой, но Тереза удержала его руку.

— Не кури столько, Юзусь...

Он повернулся к ней и совсем по-детски, словно испугавшись чего-то, обхватил ее шею:

— Как хорошо, Терезка, что ты у меня есть.

И только тогда заснул.

Третья послевоенная осень была нелегкой для Терезы. К новому учебному году Владек вернулся в Невыхов, однако почти каждую субботу он приезжал в Рыбки, брал чистое белье для себя и отца, немножко фруктов и домашнего печенья. Тереза определила Магдусю в первый класс рыбчанской школы. Девочка была прилежная, но не очень понятливая, случалось, она плакала над трудными буквами, и Тереза помогала дочке в чтении и арифметике. Болек все присматривался, как Магдуся учится, и сам принимался писать, вспоминая, как мать показывала ему в Жджорах буквы и цифры. Теперь он довольно часто пропускал уроки музыки: погода испортилась, учительница жила от них далеко, дни стали короткие, рано темнело, а у Терезы не всегда находилось время, чтобы проводить мальчика. В конце концов она позволила ему ходить на урок одному. За год Болек подрос, окреп, на щеках его появился румянец, он перестал дичиться людей. Все это радовало бы Терезу, если бы мальчик ладил с Магдусей. Их нельзя было оставить вдвоем ни на минуту. Болек задирал девочку, приставал к ней, мешал готовить уроки, лез в драку, хотя был меньше ее. Магдуся плакала и жаловалась матери. Соляж, поглощенный предвыборной кампанией, появлялся дома очень редко. Еще реже навещал сына Константин Явор, чему Тереза, впрочем, была рада. Но если уж Константин выбирался к сыну, то старался за один день восполнить все упущенное. Он закармливал мальчика конфетами,

потакал его шалостям, учил грубым бранным словам и при этом гоготал во все горло.

— Ну ладно, хватит, а то тетка на нас рассердится, — притворно уговаривал он Болека. — Папочка-то небось ничего, да вот тетка не позволяет, а?

Независимо от того, хвалил ли Явор сына за хорошее поведение или шутя сочувствовал ему, во всех его ухватках было что-то беспокойное, нестерпимо фальшивое, очень раздражавшее Терезу. Всякий раз после отъезда Явора ей бывало очень трудно справиться с мальчиком — он капризничал, кривлялся, не хотел слушаться.

В начале ноября в Рыбках появились афиши, извещавшие о том, что в ближайшие дни состоится торжественное собрание, на котором выступит с докладом Юзеф Соляж, а потом будет концерт. На это собрание Тереза отправилась вместе с детьми. В просторном помещении депо собралось много народу: пришли жители окрестных деревень, ожидая, как это обычно бывало перед выборами, любопытных и острых столкновений. У входа была давка. В толпе промелькнули лица Грели и его дочери. Тереза не решалась оглядываться, сердце у нее сильно билось, она волновалась за Юзефа. Когда он появился на трибуне, на фоне праздничных бело-красных полотнищ, в задних рядах кто-то протяжно свистнул. Соляж переждал.

— Желающих больше нет? — спокойно и не очень громко спросил он, но в напряженной тишине слышен был бы даже шепот. — Ладно, — усмехнулся он. — Остальные свистуны могут выступить на концерте.

И сразу, без предисловий, Соляж стал говорить о том, как обстоят дела в уезде, что хорошо у них и что худо, рассказал, что уже сделано и что упущено и ждет, пока до него дойдут руки: сколько построено домов, мостов и школ, сколько вспахано земли, лежавшей без обработки, сколько молодежи пошло учиться в школы и сколько пошло на работу. Он говорил о том, что всего этого мало, очень мало, потому что народ должен жить лучше. Тут восстановили мост, а там уже целый год гниет фундамент под новую школу. В одной деревне разминировали все поля, крестьяне перевыполнили план контракции скота и зерна, а в другой — солтыс с шайкой сообщников разграбил в кооперативе нормированные товары и искусственные удобрения. Пора уже всем об общественном добре думать, как о своем собственном, пора уже всем принять участие в народном деле.

Соляж называл знакомые места, приводил примеры, взятые из жизни. Он говорил без обиняков, рассказывал, во имя чего ведется борьба и кто в ней победит.

— Революция — когда-то было страшное слово. Паны прятали от народа это слово, запрещали думать о нем. Кто подумал, шел к исповеди. А кто сказал вслух, шел в тюрьму... И что же? Оказалось, что революция дает простым людям хлеб, ученье, все лучшую и лучшую жизнь.

Гром аплодисментов разбудил задремавшего Болека. Теперь он внимательно слушал и следил за тем, что происходит. Заиграл оркестр — и Боек вдруг вспомнил забытую уже картину: грузовик на шоссе с целой горой золота, темноволосый человек в мундире играет на трубе песенку. Слово по волшебству, хор, который тем временем разместился на сцене, запел ту же самую песню. Боек всмотрелся в лица поющих и вдруг дернул Терезу за рукав.

— Тетя, поглядите! Там Владек!

— Да, — ответила она шепотом, — это школьный хор из Невыхова. А Янека Грелю заметил?

Потом выступил местный хор заводских рабочих, а в заключение все встали и под аккомпанемент оркестра вместе с обоими хорами спели длинную песню, которой Боек никогда раньше не слышал.

— Что ты играешь? — рассердилась на Болека учительница, когда он после этого пришел к ней на урок. — Перестань сейчас же! Какой ты стал несносный!

И она ударила Болека по руке палочкой, которой указывала ему на ноты.

Вскоре после этого случая учительница пожаловалась Терезе, что Боек упрямится и своевольничает, сладу с ним нет. Тереза огорчилась. Теперь Боек почти всегда возвращался с урока хмурый, надутый, часто даже в слезах. Но Терезе он ничего не рассказывал.

— Какой ты непостоянный ребенок, — корила его тетя. — Сперва все приставал — играть да играть, а теперь тебе скучно...

— Тетя, — спросил Боек, — почему дядя Куба к нам не приходит?

— Вот вспомнил. Дядя Куба ушел в армию.

Боек грустно вздохнул. В тот вечер он тихо играл с Магдусей, а потом достал из своего ящика «музыку», к которой давно уже не прикасался, потрогал струны, прислушался и предложил ей:

— Хочешь? Возьми себе.

Как-то уже зимой Болек после урока принес под полой курточки тетрадку в черной картонной папке. В ней были одни только ноты, ничего больше.

— Пани велела тебе взять тетрадь домой? — спросила Тереза.

Болек пробормотал что-то невнятное и кивнул головой.

— Ну, тогда учи, — сказала Тереза. — Раз велела взять тетрадь домой, значит, задала урок.

Болек сел на пол, прислонил тетрадь к стене и раскрыл. Потом стал стучать пальцем по полу — то медленно, то быстро, совсем как телеграфист, которого Тереза видела на станции у аппарата. Свободной рукой он водил по воздуху. Но скоро ему это надоело, он позвал Магдусю и усадил ее рядом.

— Погляди, — сказал он ей. — Это маленькие птички. Тем, которые посредине белые, не очень хочется двигаться. А эти черные, с хвостиками, они поживее. А у этих вот крылышки, они сразу — фюиты! — и улетели!

— Врешь, — усомнилась Магдуся. — Все они тут сидят и ничего с ними не делается.

— А если бы я заиграл!..

Болека обескуражила непонятливость Магдуси, и они снова поссорились, потому что Магдуся уже ходила в школу и очень сердилась, когда Болек хотел командовать ею. Тереза прикрикнула на детей, велела им сидеть смирно и замахнулась на Магдусю передником. Девочка разревелась.

— Ты старше, должна уступать! — бранила дочку Тереза.

«Тяжело воспитывать чужого ребенка», — с горечью подумала она.

За ужином, взглянув невзначай на руки Болека, Тереза ужаснулась:

— Что это у тебя с руками? Кто тебе их так исполо-совал?

Болек опустил голову, зажмурил глаза, а руки спрятал под клеенкой. Упрямство мальчика разозлило Терезу.

— Скажи сейчас же!

Он задрожал, расплакался, потом с воплем вскочил из-за стола:

— Не хочу к ней больше ходить, не пойду!

— Ах, вот как! — крикнула Тереза. Она подозвала Болека и потребовала, чтобы он все ей рассказал, но маль-

чик испугался, заупрямился, и она ничего от него не доби-
лась.

— Ты плохой стал, Болек, умничаешь, — с горечью говорила Тереза. — Я о тебе забочусь, как могу, не бью, не браню, свою дочку из-за тебя обижаю.

Она замолчала недовольная тем, что сказала лишнее. Еще мгновение — и у нее сорвалось бы много несправедливых слов. Болек стоял у стены, зажмурив глаза и сморщив лицо, как всегда, когда он чего-нибудь очень стыдился или пугался.

На следующий день до прихода Магдуси из школы Тереза пошла к учительнице. Сершина приняла ее в передней; щеки у нее горели, в руке было письмо, которым она возбужденно размахивала.

— Увы, дорогая пани Соляж, увы! Нам надо рассчитаться. И... ах, голова у меня кругом идет. Словом, я уезжаю, наконец, из этой дыры... Не помню, говорила ли я вам, но наш воевода — мой родственник. Даже довольно близкий. Сегодня я получила письмо, — и что вы скажете? — мне пишет сам директор Хмель... Ах! Вы знаете директора? Боже, какая у меня мигрень...

Отчаянный плач Магдуси был слышен даже на улице. Тереза опрометью бросилась через двор и вбежала в дом. Сначала она ничего не смогла разглядеть в клубах едкого дыма. Быстро распахнув окно, Тереза схватила захлебывавшуюся от слез дочку.

— Что вы тут натворили? Что с тобой?!

Магдуся показала ей свои руки и еще сильнее расплакалась. Руки у девочки были обожжены, на пальцах вздулись волдыри. Тереза кинулась в кухню, затоптала еще тлевшую около печи бумагу, потом обмыла Магдусе руки, смазала ожоги растительным маслом, забинтовала льняными обрезками. Дым рассеялся, и только теперь она заметила скорчившегося в углу Болека. Рядом с ним валялась обложка нотной тетради, все страницы были вырваны.

— Он жег тетрадь? — спросила Тереза у Магдуси.

— Да, — всхлипнула девочка. — Я пришла из школы, а тут из плиты дым валит. Вся тетрадь выпала из дверцы прямо на пол... И мы тушили... Я так боялась, просто ужас...

Тереза впервые избила Болека. Сначала он стоял неподвижно, что еще больше ее рассердило, потом поднял руку,

чтобы заслониться от ударов, и Тереза ахнула. Руки у Болека распухли и были сплошь покрыты ожогами.

— Не хочу... Не хочу... — задыхаясь, повторял Боек, когда тетка его била, и потом, когда она перевязывала ему руки, с которых уже слезла кожа. Но Тереза даже не спрашивала, чего он не хочет. Ей было ясно.

— Ах, дети, дети, — горевала Тереза, — ни на минуту вас нельзя оставить, дом сожжете дотла... И где это видано, чтобы руками тушить...

После этого случая она как будто перестала любить Болека.

— Иной раз как погляжу на него, — призналась Тереза Юзефу, когда он приехал с Владеком на праздники, — и вспомню Альдонку, так все бы на свете ему отдала. А в другой раз покажется мне, что до того он похож на Явора, до того не наш и по характеру и даже по внешности, что и сама не знаю...

— Привыкнешь, — утешал ее Соляж. — Ребенок как ребенок.

Юзеф не огорчился, когда она рассказала ему об учительнице и сожженной тетради.

— Оно и лучше, что с музыкой кончено. Я не хотел с тобой спорить, но учить его еще рано. Пусть парнишка растет, как ему положено, пусть ходит в школу, играет и учится вместе с другими. Подрастет и не забудет про музыку — очень хорошо, тогда и будет время все обдумать и решить, да и сам он поумнеет и скажет, чего хочет. А расхочется ему, тоже неплохо. Хуже всего, когда получают какие-то уродцы, чудачки — не то ребенок, не то не ребенок, мозги набекрень...

Тереза успокоилась, и больше у них об этом не было разговора. Боек притих, дома вел себя примерно, к Магдусе не приставал. У него нашлись товарищи на их же улице, и он тайком бегал с ними на каток, благо тетка не особенно его удерживала.

Несмотря на зловещие панические слухи, которые поползли по местечкам и деревням, несмотря на все мрачные предсказания, день выборов* прошел спокойно. Тереза боялась за мужа, но ее опасения, к счастью, не оправдались. До нее доходили глухие угрозы, рассчитанные на то, чтобы

* Речь идет о выборах в сейм, которые состоялись 19 января 1947 года.

запугать ее, но Юзефу она ничего не говорила. На следующий день после выборов Тереза попросила дочку соседей пригладеть за детьми и поехала в Невыхов. И на лестнице, и на полу в коридоре, куда выходил кабинет Соляжа, было полно грязи и талого снега. Терезу то и дело обгоняли люди с возбужденно горевшими глазами. Приоткрыв дверь, она увидела Юзефа, около него толпились какие-то мужчины; за густыми облаками табачного дыма она едва могла разглядеть их лица. Никто не услышал, как она постучалась.

— Не посмеют они теперь, — убеждал кого-то Соляж, — будьте уверены, что не посмеют. Крышка им с ихней политикой.

Человек, к которому обращался Юзеф, развел руками, точно все еще в чем-то сомневаясь, и Тереза узнала солтыса Грелю. В это мгновение Юзеф увидел жену и кинулся ей навстречу. Он обнял Терезу, расцеловал в обе щеки и радостно прошептал:

— Ты ведь уже знаешь? Мы победили!

Несколько часов спустя, когда Владек вернулся из школы и они обедали втроем, Соляж сказал Терезе:

— Надоела нам, мать, холостяцкая жизнь. Теперь уж мы с Владеком в Рыбках тебя не оставим. Квартира тут освобождается. Напакостил один, как только мог, теперь вот уходит — ни водка, ни вино больше уж ему не помогают. Квартирка поменьше нашей. Домик с удобствами, стоит в стороне, садик есть, а в садике седые елки. Ребятишкам понравится... Хватит тебе месяца на сборы? А, Терезка?

— Может быть, подождать до весны... — неуверенно сказала Тереза. Теперь ей стало жалко расставаться с Рыбками.

— Эх, бабы, бабы, — рассмеялся Соляж. — Экие вы, право. Читал мне как-то Владек басню «Брито-стрижено» — ну совсем про тебя!

— Хо, хо, хо! — отразила удар Тереза. — Тоже нашились грамотей! Я эту басню читала, когда о вас и слыхом не слыхивала.

Они стали вспоминать старые белявские времена. Потом перешли к нынешним делам, размышляли о том, как заживут вместе в Невыхове, и как Владек пойдет в высшую школу, и что будет делать Магдуса, и что Болек... И оба словно помолодели.

Прошел этот радостный день, и жизнь Соляжей вошла в прежнюю колею. Владек, как и раньше, приезжал за рубашками и домашней снедью, Юзефа снова захлестнула его беспокойная работа, а Тереза мало-помалу перестала верить, что когда-нибудь уедет из Рыбок. Как-то в субботу Соляж явился раньше обычного и еще с порога, возбужденный и злой, крикнул:

— Явор вернулся в Беляву. Ты знаешь, Терезка? Слышишь? С Гундой, конечно. У Быськи поселились.

— Что случилось? — всплеснула руками Терезка.

— Что?! Явор еще легко отделался. Хуже могло получиться. Выгнали со службы, задали взбучку — вот и все. Натешился властью, мундиром, дурак! Ты знаешь, что он натворил?

Болек еще не вернулся с катка, и Соляж мог говорить без стеснения. На Явора пожаловались жители Садополе, беспартийные. Накануне выборов Явор в пьяном виде ходил по домам и требовал, чтобы они выкладывали ему свои политические взгляды. Он самовольно вел агитацию, ссылаясь на якобы данное ему поручение.

— Это самоуправство. Явор — дурак, его кто-то подучил. Враги хотели посеять смуту, подорвать к нам доверие... Теперь уже известно, что это за люди... Главарь шайки, замаскировавшийся матерый провокатор и вредитель, пронюхал обо всем и попросил по болезни освободить его от работы...

Терезу не это интересовало.

— А Явора! Ты мне про Явора расскажи!

— Да ведь я же тебе рассказываю. На допросе он плакал, каялся, что сам, по доброй воле, желая доказать свое усердие, уговаривал тех, кто на него потом жаловался. На месте, в Садополе и в Невыхове, проверили личное дело Явора и выяснили, каким путем он пробрался в милицию. Не знаю, Терезка, не знаю, так ли он глуп, как прикидывается, только в бумагах ничего не нашли и расследование ничего не дало. Поэтому все сошло ему с рук. Покрепче достанется тем, кто заварил эту кашу... Кое-каким его советчикам и покровителям...

Юзеф строго поглядел на Терезу и сказал:

— Все можно было в свое время предотвратить. Я не знал, куда деваться со стыда, — ведь это и меня коснулось... Никогда больше — слышишь, — никогда не уговаривай меня, не проси черт знает за кого.

Но Тереза тут подумала совсем о другом, и предчувствия не обманули ее. Неизвестно, кто сообщил Явору, что они собираются переезжать в Невыхов. Как-то вечером, когда Тереза уже укладывала детей спать, Явор ввалился к ней в дом. Должно быть, перед этим он здорово выпил на базаре в Рыбках, потому что кабаком запахло, как только он отворил дверь.

Не снимая шапки, Явор взмахнул кнутом и крикнул: — Одевайся, Болек, едем! — Потом он повернулся к Терезе. — Попробуй мне его не отдать, туда твою... — Явор грубо выругался, язык у него заплетался. На мгновение он как будто устыдился, но тут же с еще большей яростью заорал: — Ну и услужили вы мне, Соляжи! Ну и воспитали мне сына! Плевал я на вас и на ваши милости! На кой черт мне ваши благодеяния! Я Соляжу в глаза плюну, загубил, сукин сын, человека, человека!..

Явор икнул, в глазах у него блеснула пьяная слеза.

— Заберу у вас сына, не имеете права, силой заберу! Заморили мальчишку голодом, замучили! Хватит ему скитаться по чужим углам! Есть у него отец, есть дом и мать, все равно что родная. Берегитесь, берегитесь! А то я вас, Соляжей, черт бы вас драл...

Дрожа от гнева, превозмогая отвращение и страх, Тереза вытолкала пьяного в сени. Он пытался ударить ее кнутом, но Тереза с неожиданной силой выхватила у него кнут и сломала его. Дверь она заперла на засов. Явор еще некоторое время стучался, потом слышно было, как он расшвыривал в сенях ведра, наконец хлопнул дверью, выругался под окном и ушел.

Тереза успокоила плачущих детей, погасила лампу и легла. Заснула она, когда за окнами уже брезжил рассвет, и рано проснулась с тяжелой, горькой обидой в сердце.

Вскоре после завтрака приехал Явор с женой. Константиий, глупо ухмыляясь, мямлил, просил извинения и пытался поцеловать Терезе руку. Она отдернула руку и не предложила им сесть. Гунда, как могла, изложила суть дела. Болек им нужен дома, потому что идет весна, ну и корову надо пасти, и за маленькой Хельцей присмотреть. Бабка постарела, никуда не годится. А Гунде с Константием одним со всеми делами не управиться.

С суровым, постаревшим от гнева лицом слушала ее Тереза, а сама увязывала в большой узел вещи Болека. Она велела мальчику потеплее одеться, проверила, поддел ли он

под курточку ее старую кроличью безрукавку. Когда пришло время прощаться, она поцеловала его в лоб и сказала: — Может, ты кому жаловался, Болюсь, что тебе у нас плохо. Не знаю и знать не хочу. Подрастешь и, если тебе вздумается, вернешься к нам.

Болек побледнел. Он то закрывал глаза, то оглядывался вокруг, казалось, плохо понимая, что с ним происходит.

— Ты ничего мне не скажешь? — спросила Тереза.

Болек подумал, глотнул воздух:

— Когда Магда придет из школы, скажите ей, тетя, что Метек стащил ее коньки и катается...

Он показал через окно на дом соседей.

— Какие коньки?

— А из сеней.

Он поцеловал руку Терезы и шагнул к двери. Она смотрела на него, цепenea от обиды. «Как я его берегла! Да ведь это камень, а не ребенок». Тереза вышла на порог, ожидая, пока Яворы уедут; теперь уже она хотела только, чтобы все это скорее кончилось. Константин взял вожжи, чмокнул на гнедого, телега качнулась, заскрипела и двинулась. Тереза увидела, как Болек обернулся в ее сторону, услышала, как он дважды, будто вспомнив о чем-то, вполголоса, окликнул ее: «Тетя, тетя!» Но она не подошла к телеге, только помахала рукой и быстро вернулась в дом.

Х

ШКОЛА

Яворы жили у старой Быськи. Константин никак не мог взяться за хозяйство. За год он отвык от крестьянской работы, легкий хлеб развратил его. Еще до того как Гунда переехала в Садополе, Явор с Мысоном разобрали старый дом Рапачей. Соседи удивлялись глупости Явора — дерево было совсем хорошее, сухое и твердое, как камень. Рафалу оно пригодилося для стройки, а балки похуже он порубил на дрова.

Гунда не согласилась поселиться на «старой яворовке» в Жджорах. «Какая моя конура ни на есть, — говорила она, — но сюда ко мне никто не сунется. Немного радости принесли Жджоры твоей первой жене, да и с Кубой я не хочу судиться». Явор рассердился и, чтобы показать ей,

что не боится Кубы, не долго думая, разобрал и «старую яворовку». Половину трухлявых балок оставил брату, поручив присмотр за ними Нехоцким, остальные свез к себе. И в этом деле ему помог добрый сосед Мысонь.

Мысони перебрались в новый дом еще до наступления зимы. Красивый это был дом, крытый железом, обшитый тесом, с большой кухней и с двумя комнатами. В кухне гостей поражали белый как снег пол и стоявший в углу сепаратор шведской марки. В комнатах, где еще не успели настлать полы и закончить отделку, уже красовалась новая городская мебель; на кроватях громоздились перины и подушки. «Какие эти Мысони хозяйственные, какие ловкие, — восхищались крестьяне и завидовали. — Никто, видно, с ними не справится...»

Такие разговоры пошли с прошлой осени, когда у Мысоней случились неприятности. Однажды к ним приехала какая-то комиссия — трое в штатском и двое из милиции, все из Невыхова. Они потребовали, чтобы их повели на чердак, обыскали ригу, погреб, а потом долго писали протокол. Мысону удалось утаить сепаратор, но разные другие машины и аппараты — а он откуда-то навез их немало — ему пришлось доставить в город и сдать властям — и, кроме того, еще заплатить штраф.

Наездился он тогда в город, но мебель все-таки стоял. В эти тяжелые дни Мысонь возненавидел Кубу Явора и втайне поклялся ему отомстить.

В оставленной Мысонями избе Котовских поселилась Анна Гожек. Мруз тщетно упрашивал ее переехать к нему. Анна отказалась — до поры до времени она хотела жить одна. Старую школу сожгли гитлеровцы, и учительница не нашла для себя лучшего пристанища. В Беляве было мало свободных хат. Анна легко мирилась с личными невзгодами, гораздо больше тревожило ее, что будет с детьми. До ее возвращения белявские дети ходили в школу в Ружанцы и даже в Немжу. Они отправлялись на рассвете, а возвращались в сумерки. Но и это было возможно лишь до наступления осеннего ненастья. Мруз выхлопотал у своего начальства разрешение временно открыть школу в пустовавшем доме бывшего лесничего Хетты. Куба Явор ждал в те дни призыва в армию. Он по целым дням сидел в лавке у Ядвиси, а по вечерам заходил к Мрузу; изредка он навещал и Анну: часто бывать у нее он стеснялся. Кубу не надо было упрашивать; Тадеуш кликнул своих сезонных

рабочих, и с помощью Кубы они сколотили школьные парты и доску. Солтыс Греля теперь часто ездил в Невыхов навещать сына и не упускал случая напомнить о себе Соляжу. Отпущенных денег хватило на первоочередные школьные нужды. До наступления зимы Анне удалось даже вызвать в Беляву комиссию, договориться с громадой относительно выбора места под строительство новой школы и добиться через воеводство пособия и кое-каких кредитов. Гминный комитет в Немже взял дело под свое наблюдение, а белявский комитет обязался закупить и доставить необходимые материалы. Пока судили да рядили, белявские крестьяне не скупились на хорошие слова. Хуже стало, когда пришло время браться за работу. Строительство требовало жертв, а люди — как люди — каждый кивал на соседа. Жаль было тратить время, дома забот и хлопот было по горло, не хватало лошадей и подвод. К весне по деревне пронесся слухок, будто обнаружена недостача цемента, извести и кирпича, привезенных для кладки фундамента и цоколя.

— Ну, мне теперь все едино, — заявил вдруг Збышек Сикора, — все несчастья на меня обрушились. Да что же это вы, люди, слепые, что ли? Не видите, кто у нас в гору пошел? А почему? Да потому, что крадет.

Больше, однако, он ничего не сказал, словно вдруг испугался. Ведь ему тоже люди еще не доверяли, хотя он охотно участвовал в общественных делах и не пошел по дорожке отца. Ему даже ставили в вину то, что он обнищал, опустился, ходит в лохмотьях. В деревне не любят богатых, но не уважают и тех, кто захудал, разорился. Вскоре после этого Мысонь подрался с Сикорой, но над ними только посмеялись, никто не задумался над тем, почему же это они затеяли драку. Ядвися Греля настаивала, чтобы отец проревизовал все кассовые книги и привел в порядок счета громады и кооперативной лавки. Греля не отказывался, понимая, насколько это важно. Они попросили учительницу помочь им в непривычной, канительной работе. Недели две они по вечерам разбирали документы, выписывали на отдельных листах долги громады и лавки и суммы, которые причитались с крестьян. Когда подсчеты подходили к концу, на помощь явился Гдовяк из Немжи — секретарь гминного комитета. Покончив с проверкой отчетности, Греля вызвал кое-кого из белявских хозяев и напомнил им о просроченных взносах, задолженности по кооперативной лавке,

невыполненных обязательствах, которые легли бременем на бюджет громады. На ближайшем собрании солтыс бил себя в грудь и каялся в своих и чужих грехах.

— Люди добрые, — сокрушался не на шутку испуганный Греля. — Да у меня только теперь глаза открылись! Ведь больше всего задолжали самые крепкие наши хозяева. Как же это понимать?

Когда Рафала Мысоня попрекнули неоплаченными сче-тами, он надменно ответил:

— Учительницу я держу на квартире почти что задаром. Разве громада мне за это платит? Или вы это не считаете? Вам мой новый дом глаза колет. Да плевка не стоит весь тот цемент, что я у вас взял. Я в десять раз больше вам заплатил и еще заплачу, не бойтесь.

Мужики по доброй воле решили помочь строительству школы, как кому удобней — деньгами ли, работой или материалами. Они даже постановили платить Мысоню за квартиру учительницы. Но с этого дня его стали уважать гораздо меньше.

Тадеушу неудобно было навещать Анну Гожек. Ему не нравилась ее квартира. Стоило ему войти в сени, как в окне нового дома Мысоней приподнимался край занавески. Всякий раз, когда Мруз замечал шпионский взгляд, ему хотелось стряхнуть его с себя, как колючку чертополоха. Он старался приходить к Анне, когда уже стемнеет. Но весенние вечера наступали все позднее, а ему хотелось поскорее увидеть ее. Днем они почти никогда не встречались, хотя Анна, возвращаясь из дома лесничего, где теперь помещалась школа, проходила мимо его дома. В эту пору Тадеуш обычно был еще в лесу.

Вести, проникавшие из соседних уездов, беспокоили Мруза. То тут, то там появлялись банды, грабили народ, сеяли страх и смятение. О самой страшной из банд, которую возглавлял некий Яблушко, перепуганные жители в деревнях говорили только шепотом. Яблушко был неуловим, непобедим и вездесущ. Среди бела дня он уводил неугодных ему людей, истязал их, не останавливаясь перед убийством. Пока банда, по непроверенным слухам, орудовала где-то за Вислой, опасность казалась не особенно грозной, а люди рассудительные думали даже, что все эти тревожные слухи очень преувеличены. Но вот угроза нависла и над Невыховским уездом. Близ Садополе бандиты сожгли все постройки в государственном хозяйстве и увели рабочий

и молочный скот. И все же это было еще довольно далеко от Белявы. Вслед за тем неизвестные злоумышленники совершили налет на здание гмины в Ружанцах. Настичь их не удалось. А ранней весной 1947 года в воеводской газете «Новины» появились сперва заметки, а потом и пространные сообщения, подтверждавшие, что враг близко. И сразу же, точно издеваясь над газетой, Яблушко вынырнул где-то очень далеко, совсем в другой части страны. Потом он притих, словно сгинул — ночи стали совсем безопасными, люди облегченно вздохнули...

Тадеуш поглядел на маленький будильник Анны и удивился: было уже около двух часов ночи. Он отложил газету, у него слипались глаза. Анна, угадав, о чем он думает, оторвалась от тетрадей и бросила на него взгляд, полный дружеской нежной заботы.

— Засиделся...

— Да, пора уже.

После долгого молчания звуки собственного голоса в ночной тишине показались им странными, неясными, понятными только для них двоих. Тадеуш и Анна разбудили сверчка, дремавшего где-то в углу у двери, и теперь в полумраке раздавался его тонкий и мерный стрекот. Тадеуш обнял Анну за талию, привлек к себе, откинул упавшую на ее лицо прядь волос. При свете лампы глаза Анны показались ему более глубокими, чем днем, а губы мягко блеснули в отсвете огня, по-детски розовые и нежные.

— Ты не должна здесь жить, Анна, слышишь? Почему ты упрямисься? И долго ли мне еще ждать? Ну, скажи же, скажи.

Она погладила его по голове.

— Еще не время. Ты сам знаешь.

— Нет, я только знаю, что седых волос у меня прибавилось.

— Мало.

— Чего тебе мало? Седины моей? Терпения?

— Тадеуш, я не намного моложе тебя, не будем считать годы. Разве в этом дело? Я боюсь, дорогой мой, что это из-за меня ты так прочно здесь обосновался, только из-за меня. Может, ты стремился бы к свету, как знать? Захотел бы учиться, перейти на более интересную работу... Я ведь помню, тебя всегда увлекало все новое. А что получилось? Ты застрял здесь, бродишь по лесу, потом ждешь, пока я исправляю тетради, и, конечно, тебе скучно, и поэто-

му ты сердишься и теряешь терпение. Моя жизнь всегда будет такой, как теперь: школа, дети в школе, — дело известное. А твоя может сложиться совсем иначе. Пока мы еще не связаны друг с другом. А если судьба свяжет нас? Что же тогда? Я стану на твоем пути, буду мешать тебе.

— Как ты меня мучаешь. Вечно одно и то же, одно и то же, а жизнь меж тем уходит.

— Вот видишь: по-твоему, уходит. А по-моему, нет. Я тебе, Тадеуш, все о себе рассказала с самого начала. Знаешь, когда мне думалось, что жизнь уходит? Когда в ней не было никаких событий, когда весь мир казался пустым — ни будущего, ни надежды. Так со мной было в молодости. До того, как я получила это место в Беляве, я часто думала, что живу уже сто лет, а ведь я была девчонкой, только что окончила школу. На первый взгляд это может показаться противоречивым, и я знаю, что многие люди, особенно женщины, посмеялись бы надо мной. Но чем старше я становлюсь, тем полнее ощущаю жизнь. Почувствовала я это еще в лесу, в партизанском отряде. Передо мной точно открылся новый мир. И теперь я твердо знаю: чем жизнь содержательней, тем она дольше. Я ее не меряю седыми волосами, хоть и вижу их на гребне каждое утро, да, да... Для меня важно одно — чем я живу, и если жизнь моя полна, то я как-то верю, что моих лет хватит, должно хватить. Тадеуш, я что-то болтаю, и ни складу, ни ладу в моей болтовне — хорошо мне с тобою...

Анна прижалась щекой к его щеке. Но он не уступал, в нем внезапно проснулось подозрение.

— Я слишком глуп для тебя, — сказал он глухо, — слишком прост. А может, ты еще что-нибудь против меня имеешь? Скажи прямо.

У него задрожали губы. Целуя его, Анна почувствовала, как он стиснул зубы, чтобы унять частую, мучительную дрожь. Жгучие слезы застлали ей глаза. Теперь ей не хватало слов, чтобы сказать ему, как она счастлива, как до боли благодарна ему за это большое чувство. Она хотела уверить его в этом. Усилием воли Анна собрала разбегавшиеся мысли, чтобы сразу, немедленно погасить его сомнения.

— До тебя я никого не любила. Никто никогда не был мне так дорог, как ты.

Затаив дыхание, Тадеуш слушал ее. Она уже умолкла, а он все слушал, словно ждал, что сейчас она скажет самое важное.

В это мгновение Анна почувствовала себя такой усталой и беспомощной оттого, что не может унять его тревогу, что даже ради него не может переломить себя, забыть суровую правду.

Густая синевя ночи поредела, по железной крыше дома Мысоней скользнул луч зари. У Сикор еще светились окна. Кто-то неподвижно стоял возле их забора, держась за решетку широко раскинутыми руками и прижавшись головой к ее острым прутьям.

— Збигнев? Что с тобой? Ты пьян?

Сикора поднял голову.

— Отец у меня умер.

Он произнес эти слова отчетливо, каким-то безжизненным голосом и снова опустил голову.

Тадеуш глубоко вздохнул и не уходил. С минуту длилось молчание.

— Ступай, — проговорил Сикора с усилием и, казалось, недружелюбно, — там где-то горит...

Не поднимая головы, он показал рукой в сторону леса.

Когда Тадеуш прибежал к месту пожара, дом Хетты уже догорал. У колодца, вопя и стоная, лежали вповалку пятеро лесорубов, крепко связанных пеньковой веревкой. Лица у них были окровавлены, одежда в лохмотьях. Тадеуш подобрал валявшийся неподалеку топор, разрубил узлы веревок, зачерпнул ведром воды и плеснул на рабочих. На срубе колодца белела прижатая камнем бумажка. Мерцали, тлея, головни, зажглась уже утренняя заря. Тадеуш прочитал ровно отпечатанные слова: «Не зарьтесь на чужое добро. Долой коммуну». Где-то вдали лаяли собаки, и лай их, приглушенный чащей деревьев, теперь, когда лесорубы умолкли и только головни шипели и трещали, угасая, явственно звучал в лесной тишине. В полном безветрии от движения раскаленного воздуха трепетали сосны. Дым клубился над пожарищем, лениво стлался по поляне, поднимался столбом меж ветвями. Трудно было поверить в реальность этой картины.

— Мы боялись, как бы огонь на лес не перекинулся.

— Счастье, что погода безветренная, да и деревьев поблизости нет.

Лесорубы были нездешние. Мруз нанял их за два дня до этого. С тех пор как сюда перевели школу, сезонники ночевали на чердаке.

— Бандиты могли вас сжечь живьем.

— Они пришли, когда мы спали. Шарили, видно, всюду. Мы не давались, да что поделаешь? Смертью нам пригрозили, выволокли сюда, избили. Вот и все.

— Когда это случилось?

— Должно быть, за час до полуночи. А может, и за два.

— Много их было?

— Разве сочтешь? Пробыли они тут недолго. Как же тут узнаешь...

— А потом никто сюда не заглядывал? Лесная охрана? Какие-нибудь люди?

— Они запретили нам звать на помощь. Пригрозили, что вернутся и прикончат нас. Откуда мы знаем? Мы не подавали голоса, пока не начало светать...

В тот же день, еще до того, как прибыла милиция и представители органов безопасности, лесорубы исчезли. «Не сообщники они, — думал Мруз. — Ведь им тогда ничего не стоило бы раскрыть мне топором череп...» Угоревший от чада, терзаемый бессильным гневом и жаждой мести, он обегал всю деревню. Никто ничего не видел и не слышал. В ту ночь вся Белява спала крепким сном.

«Бояться», — подумал Тадеуш. И вдруг ему вспомнился давнишний разговор с Соляжем. Разъяснять, учить... Вести политическую работу. Он протер глаза, наморщил лоб, точно хотел отогнать внезапную горькую мысль, что сам во всем виноват.

— Нужно установить ночную охрану, — волновался Греля.

— Нужно.

— Да и вы, пан лесничий, должны с вашими людьми...

— Да, солтыс, да, вы правы...

Со вчерашнего дня Мруз не заходил в свой домик. На рассвете, когда он проходил мимо, торопясь в деревню, убедился с одного взгляда, что ночью у него никто не был.

Теперь измученный, усталый, с трудом волоча ноги, он медленно возвращался домой. На пороге его ждала Анна.

— Ты видел?

Она отошла от двери. На светлой неокрашенной доске отчетливо выделялся намалеванный углем крест. Тадеуш дотронулся до него пальцем — осыпалась черная пыль; он широким движением руки стер знак угрозы.

— Я останусь с тобой, — сказала Анна.

Они обнялись и поцеловались, оба смущенные и торже-

ственные. Он прижал к губам ее руку и провел Анну через порог в дом.

— Ты должна помочь, Аня, — говорил он, и, как в давние времена, отблеск пламени, выбивавшегося из печной дверцы, играл на его суровом лице. — Мне, солтысу, всем в Беляве. Ты понимаешь, о чем я думаю?

Они засиделись допоздна, все строили планы на будущее. В печке трещали догоравшие головешки, на бревенчатой стене скользили розовые отсветы, потом и они исчезли.

На похороны старого Сикоры Мруз и Анна пошли вдвоем. Они не стали присоединяться к погребальной процессии, а прямо направились на кладбище. Трава, буйно разросшаяся на могилах, дышала майской свежестью. Каждый порыв ветерка приносил одуряющий запах черемухи. На главной аллее сидел на скамье хорошо одетый мужчина в очках, он показался им как-будто нездешним. Молодые листья отбрасывали нежно-зеленую тень на его гладкий лоб. Мруз и Анна одновременно вспомнили, что во дворе костела видели легковую машину. Когда они подошли ближе, Павел Хмель встал и с подчеркнутой любезностью поклонился. Тадеуш кивнул головой и прошел вперед. Анна, когда Хмель протянул руку, остановилась.

— Душно в костеле, — начал он, — а органист на отпевании так фальшивит, что слушать невозможно...

Анна не поддержала разговора на эту тему и заметила, что Хмель несколько обескуражен.

— Я была у вас недавно, пан директор, в попечительстве, — сразу приступила она к делу, — но не застала вас.

— Вероятно, по каким-нибудь школьным делам?

— Да. У нас много забот.

— Знаю, знаю, слышал, — закивал он головой. — Кое-что мне говорил ксендз-настоятель. Сгорел дом, в котором находилась школа... Искренне сочувствую.

— Да, да. А новая школа еще только строится.

Он озабоченно поправил очки.

— Если бы школу уже построили, — сказал Хмель многозначительно, — как знать, может быть, именно ее и сожгли бы...

И, отвечая на немой вопрос Анны, прибавил:

— Я бы на вашем месте переждал, пока минует эта бурная пора...

«Как он постарел», — мелькнуло в голове у Анны.

Не обратив внимания на благой совет, она спросила в упор:

— Вы можете, пан директор, оказать нам поддержку в воеводстве?

Теперь Хмель из-под очков бросил на нее быстрый, испытующий и словно помолодевший взгляд. С жалкой улыбкой он смял сорванный листок сирени.

— В Рыбках, вероятно, толкуют о моей женитьбе? Да? Признайтесь, пани. Говорят, что Сершина, моя жена, состоит в родстве с воеводой и что я из карьеристских соображений... Ну, пожалуйста, прошу вас, по старому знакомству, скажите мне откровенно...

Анне стало противно, она смешалась, стала искать глазами Тадеуша. Но Хмель удержал ее за руку, давая понять, что просит его выслушать.

— Простите, пожалуйста, — старался он смягчить ее, — я не вас имел в виду, но другие, конечно, так обо мне судят. А это неправда. Помилуйте! Я женился, когда положение воеводы уже пошатнулось, и мне это было известно, клянусь вам. Да, отпустили воеводу на все четыре стороны, — вопреки клятвенным заверениям в бескорыстии сокрушенно вздохнул Хмель.

— Но я, пан директор, совсем не об этом думала...

— Директор, директор... — шутливо передразнил ее Хмель, — вот как меня называют. Много лет профессором звали, а теперь вот... По правде сказать, дорогая пани, все эти чины и звания — пустой звук. Мало чем я могу вам теперь помочь. В бюджетных вопросах я не могу оказать никакого влияния, со школьной администрацией, с начальством я почти не связан... Все меняется, приходят новые люди, свежие кадры; политика, знаете, дело такое, очень уж все резко...

Он понизил голос до беспокойного шепота, словно хотел вызвать ее сочувствие и не сомневался в том, что она с ним за одно. Анну неприятно поразил интимный тон его излияний.

— Мне хотелось бы, — продолжал Хмель, — вернуться, так сказать, к идеалам молодости. Песни, музыка, отчасти наука... Сознание того, что ты на своем месте, работа, разумеется, с молодежью, но более самостоятельная и не на виду... — Без всякого перехода, он спросил: — Вы бывали в Небожине?

— Бывала. Я слышала, там восстанавливают дворец.

— Да, да! — обрадовался и оживился Хмель. — Восстанавливают, а потом откроют для молодежи! Я вижу, вам все уже известно. Наши власти это удачно придумали, не спорю. Теперь я мечтаю о чем-то таком... знаете...

Анна не знала и не желала знать, о чем мечтает Хмель. Из костела донеслись тонкие протяжные женские голоса — погребальное шествие двинулось на кладбище. Откуда-то повеяло горьковатым крепким запахом вишневого цвета. Хмель опустил голову.

— Ксендз-настоятель хотел поговорить с вами. Наливочка у него замечательная, я попробовал за завтраком... Не зайдете ли к нему после похорон?

В это мгновение она пожалела о том, что затеяла с ним разговор, и подсадовала на себя за то, что ничего не заметила. Павел Хмель был пьян...

Еще до конца мая удалось возвести стены в одном крыле новой школы. Оправившись от испуга, люди решили теперь, что дети не должны прерывать занятий. Все чувствовали, хотя вслух об этом и не говорили, что налет на дом Хетты помог школе, пробудил в людях упорство и самолюбие. В деле строительства вся деревня, за небольшим исключением, проявила полное единодушие. Еще больший подъем вызвало добровольное подкрепление, которое в один прекрасный день прибыло из Немжи. Перед собравшимся на строительстве народом выступил Гдовяк — его речь выслушали со вниманием.

Общими силами спешно заканчивали временное помещение для занятий. Бабы с подростками проконопатили мхом щели в стенах, мужики настлали потолок и покрыли дом, как умели, плоской соломенной крышей. На неровном полу расставили невысокие козлы, приколотили к ним грубо остроганные доски — вот уже и сидеть стало на чем. Один оконный проем заделали фанерой, для другого окна Греля в ружанецком садоводстве выклянчил парниковую раму. Затем смастерили стол, стул и доску — и первая классная комната в новой школе была готова. Правда, она больше напоминала сарай, но пока пришлось довольствоваться этим.

Работы продолжались до зимы — в другом крыле здания нужно было сделать уже не временный, а настоящий, хороший класс. В начале июня дети вернулись к прерванным занятиям. Слышно было, как за стеной стучат топоры и визжат пилы; перед парниковой рамой то и дело мелькали

знакомые лица взрослых. Близость отцов и братьев смущала ребят; когда их вызывали к доске, им казалось, что старшие подслушивают, как они отвечают. Даже учительница, обращаясь к ученикам, говорила тише, чем всегда. Все было непривычно детям, казалось им каким-то торжественным и вместе с тем забавным и нравилось, как воскресное гулянье.

Несмотря на сенокос, крестьяне приходили на строительство, договариваясь об очередности с солтысом. По вечерам Ядвига Греля деловито писала под диктовку отца. Она очень жалела, что Куба Явор в армии — вот кто бы им пригодился! Нашлись, однако, и плотники: об этом позаботился Мруз, он знал, где их искать. Особенно усердно помогал строить школу молодой Сикора, что очень радовало и Тадеуша и Анну. После похорон отца Эбыхек при каждом удобном случае старался доказать им свои добрые чувства. Он видел их на кладбище и запомнил это.

Анна очень уставала и все-таки чувствовала себя счастливой. Сверх всяких ожиданий деревня спокойно, без издевок и насмешек, а наоборот, даже сочувственно отнеслась к тому, что Анна поселилась у Тадеуша. Никому, даже солтысу, не сказала Анна всей правды и Тадеушу запретила говорить. Для них обоих это было испытанием собственных сил и союза их с Белявой. Первые недели совместной жизни укрепили их уверенность в том, что они не обманулись. Правда, изредка до них доходили злобные пересуды и толки, но они знали своих врагов и не от них ожидали понимания. Молодежь была на стороне Тадеуша и Анны, а люди пожилые помнили, как Мруз защищал их в беде и скольким они обязаны своей первой и пока что единственной учительнице. Даже сплетницы прикусили языки.

— Теперь все на свете переменялось, — рассуждали кумушки, — чего нам других судить. Учительница государственный хлеб ест, не наш, может поступать, как ей вздумается. А Мрузы с деда-прадеда хорошие люди.

Эта снисходительность не была вполне бескорыстной — Тадеуш и Анна не обольщались на этот счет. Лесничий Мруз славился своей отзывчивостью, он всегда старался помочь людям в нужде. Без его участия не обходилось ни одно общественное начинание. Сколько раз он ездил в город хлопотать по деревенским делам. К Анне крестьяне с дав-

них пор привыкли обращаться за помощью. Хотя она и была молода, но разбиралась в болезнях, всегда могла посоветовать лекарство против ожога, запущенной раны, солнечного удара и лихорадки; если она и не превзошла в этом искусстве Сайдачку, то, во всяком случае, могла соперничать с ней. Кроме того, Анна всем, кто только ее ни просил, писала всевозможные заявления и письма. Как рукодельница, она завоевала признание девушек. Наиболее сознательные из них брали у нее книжки для чтения.

Победить с давних пор укоренившиеся взгляды помогло, быть может, и то, что на новую квартиру Анна переехала от Мысона, который восстановил против себя Беляву тем, что отказался работать наравне со всеми, а когда подошла его очередь, прислал батрака. Надо сказать, однако, что каких-нибудь два года назад не помогло бы и это.

— Нет, ты только погляди на нашу Беляву, — радовался Тадеуш. — Песок, нужда, а народ ведь сознательный.

— Я тоже думала об этом, — сказала Анна. — Это очень хорошо. Может быть, придется прожить здесь всю жизнь, вот и хотелось узнать поближе людей, с которыми век коротать. Теперь я их знаю.

По случаю окончания учебного года в школу приехал ксендз-настоятель Заблуда. Собралось много народу из деревни. Анна раздала свидетельства только старшему, четвертому классу; ученикам младших классов пришлось примириться с тем, что учительница только вслух прочитала их отметки, — на всех не хватило бы бланков свидетельств. Анна добилась, чтобы лучшим ученикам выдали в награду книжки. Дети спели несколько песен.

Ксендз, сидевший в первом ряду, поднялся со своего места и объявил родителям и детям, что после каникул уроки закона божия будут происходить уже в белявской школе и вести их будет раз в неделю новый законоучитель. Ксендз призвал отцов и матерей выполнить их долг и, закончив свою речь, запел «С нами бог». Большинство взрослых и кое-кто из детей стали подпевать ему. В общем хоре особенно выделялся прекрасный, хорошо поставленный тенор ксендза. Чтобы любители протяжного пения не сбивались с темпа, он кивал в такт головой. Его глубоко посаженные острые глаза скользили по лицам, в то время как костлявые пальцы, гораздо более подвижные, чем глаза, машинально перебирали пуговицы сутаны, словно репетируя другую, захватскую мелодию.

В эти минуты Анна испытывала горечь поражения. «Он меня победил... недосмотрела я...» — мелькали у нее в голове обрывки мыслей. Она старалась овладеть собою, чтобы только не покраснеть, не опустить глаз.

— Дорогие дети, ксендз-законоучитель будет обучать вас и пению...

Анна очнулась. Это снова говорил Заблуда.

— Спасибо вам, дети, — сказала Анна, — за то, что в это трудное время вы не бросили учиться, не оставили школу, бодро переносили невзгоды. Все, что нужно, вы уже знаете. Ведите себя на каникулах так, чтобы потом не было стыдно. Будьте осторожны. Не купайтесь в глубоких местах, не разводите в лесу огня. Антось Нехоцкий, не ешь яблок до августа. Бронка, Геня, Вицек и ты, Марыся, обещали собирать семена, не забудьте об этом. Помните о гербариях. Если зайдете ко мне за книжкой или за чем-нибудь другим, всегда буду вам рада. Помогайте родителям, им ведь тяжело. Не хворайте, дети, и приходите здоровыми через два месяца. Теперь можете идти, а взрослые еще немного останутся. До свидания, дети!

— До свидания, пани! — дружно и звонко отчеканили четыре белаявских класса.

— Спасибо и вам, — обратилась Анна к оставшимся, когда утих шум, поднятый детворой, — за все спасибо, а главное за то, что трудности не сломили вас, а только сплотили...

— Чего там благодарить, — вдруг прервал ее женский голос, раздавшийся под самой дверью. — Не для вас стараемся. Для ребят.

Поднялся шум, затрещали скамьи. Греля первый догадался, кто бросил этот вызов, и от удивления всплеснул руками.

— Явориха?! А ну-ка, подойди поближе и расскажи, очень ли тут твой Явор намааялся!

Люди расступились, чтобы дать ей пройти, но Гунда не двинулась с места. Густо покраснев, она туго стянула под подбородком концы платка и закричала истошно, с надрывом:

— За тем и пришла, чтобы правду сказать. Ксендз-настоятель знает, все люди знают, какой тут разврат! Учительница невенчанная живет!

— Явориха! — топнул ногой солтыс.

Анна мигнула ему, чтобы не прерывал бабу. Ксенда

поднялся с места и поднял руку, призывая к спокойствию, хотя в комнате и без того царил мертвая тишина. Затем он кивнул в сторону Анны, не даст ли она ему слова.

— Прошу не гневаться, — тут же обратился он к ней, и в голосе его зазвучали как будто благожелательные, примирительные нотки, — что я и как случайный свидетель, и особенно как духовное лицо, раз уж так вышло и от слов отказываться не приходится, позволю себе высказать в присутствии прихожан мое скромное мнение. Все мы уважаем ваш труд, уважаем также свободу ваших убеждений и нравственных правил. Будь у вас любая другая профессия, ваша жизнь была бы только вашим личным делом. Но вы учительница, а значит, и воспитательница и должны подавать деревне достойный пример. Сегодня в новой Польше нам больше, чем когда-либо, нужны прочные, священные устои... я имею в виду супружество...

Он остановился и поглядел на Анну с трогательной заботой, словно опасаясь, не слишком ли чувствительно задел ее.

— С огорчением должен сознаться... прошу вас только, пани, не рассматривать это как нарушение ваших и моих, так сказать, профессиональных прав, потому что я не смею вмешиваться... так вот, я должен сознаться, что прихожане обращаются ко мне в тревоге и смущении, сетуя на известное вам дело, они сожалеют, они говорят... они справедливы, прошу прощения, именуют это развратом...

Збышек Сикора вскочил, бледный от гнева.

— Неправда! Никто так не думает!

— Вы, пан Сикора, спросите лучше у себя дома, — отрезал ксендз.

В напряженной тишине раздались громкие возгласы:

— Это Юстина подговорила Явориху! Святоша!

— Нет, Мысони! Явор у них в батраках!

Закутанная в платок старая Юзусиха пропищала тонким дискантом:

— Как мартовские коты! Грех, грех!

Парень, который сидел рядом с нею, дернул старуху за руку и крикнул, заикаясь от возбуждения:

— Учительница за Польшу сражалась! Стыдно вам, люди! — после чего уже тише сказал прямо в ухо соседке: — Плохо слышите, бабка, так нечего зря болтать!

Анна оперлась руками о стол и спокойным, тяжелым взглядом смотрела то на ксендза, то вглубь комнаты, то

снова на ксендза. Она с легкой улыбкой взглянула на Сикору и тут же широко улыбнулась всем присутствующим.

— Поделом мне, — начала она, когда шум утих. — Я и впрямь заслужила этот урок. Может, оно и правильней, что разговор затеяли вы, хотя я и сама собиралась рассказать вам о себе. Я... — она перевела дыхание, — я и Тадеуш Мруз, четыре года назад, еще при немцах, в партизанском отряде вступили в церковный брак.

Она достала из сумочки сложенную вчетверо бумагу и подала ее ксендзу.

— Как видите, ксендз, здесь есть и церковная печать и подписи свидетелей.

Все замерли. В руках Заблуды дрожал развернутый лист. Осторожно, словно это был хрупкий, стеклянный предмет, он положил его на стол и с удивлением и ненавистью поглядел на учительницу.

— Вы носите, пани, девичью фамилию.

— Да. Мы гражданским браком не сочетались.

— А этот брак? — он показал на бумагу. — Это таинство для вас ничто?

— Ксендз, — она пыталась еще его убедить, но в голосе ее уже звучала усталость, — нам тогда о другом приходилось думать. Была война, вокруг были гитлеровцы, шла борьба, и мы не всегда знали, что ждет нас завтра. А оба мы отвечали за определенную работу. Не раз приходилось нам расставаться с нашими людьми на целые недели, ходить по деревням, по местечкам, ночевать, где придется, у чужих. Неужели вы думаете, ксендз, что мы всюду прямо с ходу вместо документа предъявляли гранаты? Нам нельзя было рисковать, вызывая ненужные подозрения. Бумажка, которая тут лежит, открывала перед нами многие двери. И не стану от вас скрывать, что ксендз, который на ней расписался, хорошо знал, кто мы такие. Не все вели себя в подобных случаях так благородно, как он, — это мы тоже помним.

— Не всякий поддался бы на уговоры, согласился бы пойти на беззаконие. Это верно.

— Нет, тот ксендз, о котором я говорю, по доброй воле исполнил мою просьбу.

— Вы, пани, его просили?

— Да. Я убедила Тадеуша, что так нужно.

— Но почему же, — ксендз Заблуда даже как будто

охрип и должен был откашляться, — почему же вы теперь не даете ему исполнять правила нашей святой веры?

— Мруза вы знаете с детства. Меня — много лет. Вам известно, ксендз, что мы оба не ходим в костел.

— Однако вы венчались в костеле.

— Гражданский брак негде было зарегистрировать.

— Теперь вам ничто не мешает. Почему же...

— О чем вы беспокоитесь, ксендз? Вы стоите за гражданский брак?

В кучке молодежи раздался смех; Анна махнула рукой и подавила эту вспышку веселья.

— Вот видите, — обратилась она ко всем, — как обстоит дело с нами — с Мрузом и со мной. Ксендз-настоятель, Гунда Явор и те прихожане, которые жаловались ксендзу, могут больше не огорчаться, все у нас обстоит так, как им хочется. А мы с Мрузом — нравится это кому или не нравится, по нашим понятиям, еще не считаем себя мужем и женой. Четыре года назад мы, может, иначе относились друг к другу. Если окажется, что наши чувства не изменились, мы тогда найдем дорогу, куда следует. А нет, будем считать себя свободными. Хорошо ли, худо ли то, что мы так проверяем свое чувство, — это наше дело; ошибаемся мы или правильно поступаем — это тоже никого не касается. Я теперь стала смелее и буду с вами беседовать не об одних только школьных делах. Это хорошо. Как в семье. Именно так я и хотела.

— А школу не освятили! — пропищала глуховатая бабка Юзусиха. На этот раз молодежь разразилась неудержимым хохотом.

— Кончим строить, — сказал Греля, — тогда и освятим школу. Никто тут против бога не выступает, лишь бы только по доброй воле. Верно, пани учительница?

— Верно.

XI

ЛЕС

Осенью этого года банда Яблушко была разбита. С наступлением первых холодов в Беляву сразу из разных мест дошли вести о новых налетах. Враг орудовал далеко, но деревня в ожидании как бы затаила дух. Удвоили охра-

ну, спускали на ночь с цепи собак; тревога и страх гнали прочь сон. К Мрузу приехали из Невыхова два молодых офицера, крестьяне видели их в окошечках «джипа»; это всех приободрило, но вместе с тем усилило общее напряжение. Лесной охране вскоре выдали дополнительное оружие, а Мруз почти целую неделю где-то пропадал, и любопытным так и не удалось выпытать у Анны и Грели, куда он девался.

В комендатуре воеводского комитета государственной безопасности, готовившего облаву на бандитов, Тадеуш встретил Щепанека. Они очень обрадовались друг другу.

— Милый мой! — воскликнул Мруз. — Наконец-то я смогу договориться!

Пока он излагал свою просьбу, Щепанек молча слушал, потом долго тер плохо выбритую, отливавшую медью щеку.

— А разрешит тебе Анна? — спросил он, улыбнувшись одними глазами. В их не по годам серьезном выражении ничего не осталось от прежней детской наивности. Щепанек возмужал и как будто даже подрос, а может, это в мундире поручика он казался таким стройным.

— Откуда ты знаешь? — удивился Мруз.

Щепанек широко и как когда-то добродушно улыбнулся.

— Так получается, что я о Беяве все знаю. Только в гости к вам приехать не было времени.

И он вкратце рассказал свою историю.

— Сперва война загнала меня далеко, за Одру. Был легко ранен, потом не знал, что делать, все ведь уже кончилось, ну, а потом... Даже крестьянствовать пробовал; очень мне по началу понравилось, что я сам себе хозяин, — оттого, верно, что у меня никогда ничего своего не было. Но через три месяца все это мне надоело. Случайно я встретил Войтека Гженского, он кузнецом работал в государственном хозяйстве и жаловался на тамошние порядки. Начальником Войтека был Пореш, здешний наш старый торгаш, — помнишь его, — воровал он там отчаянно. Мы прогнали Пореша, и тогда только я понял, куда меня тянет. Переписал я землю на Гженского и опять надел мундир. Служба, офицерская школа... и вот, как видишь.

— Ты, Щепан, не ответил на мой вопрос, — напомнил Мруз.

— Зови меня, как прежде: Щепанек. Ведь это и фами-

лия моя и имя, я уж так привык. Тебе любопытно, откуда я про вас знаю?

Он пригладил светлорусые волосы над розовым лбом, выпятил грудь. Выражение лица у него было таинственное и озорное.

— Я, Тадеуш, собираюсь жениться... Да, совсем забыл, ты ведь иначе ничего не поймешь: я стал пропагандистом, агитатором... Может, ты и сам как-нибудь меня услышишь, потому что я собираюсь в Ружанцы. Тогда и к вам махну. Половину воеводства знаю уже как свои пять пальцев. Ну, и случилось мне попасть... — Щепанек на мгновение закрыл глаза, голос у него стал тише и мягче, — в Небожин. Она там в школе, на практике. Будет учительницей, как и твоя Анна... А если бы ты слышал, как она на скрипке играет... Да, мой милый... — спохватился он и уже деловито закончил: — Живет теперь в Небожине и Текля Пореш, родственница Соляжей, женщина очень общительная и приятная. Ну, а она все знает. И о вас тоже. Иногда она заходит к моей Ванде и рассказывает. Да ты не слушаешь?

— Нет, слушаю. Просто я вспомнил, как ты в Беляве босой ко мне прибегал, худенький такой парнишка...

Щепанек внимательно взглянул на Мруза и опустил руку на его плечо.

— Тадеуш... А ты, что невесел? Чего тебе не хватает?

— Да разве я знаю? Как будто все у меня есть. А что-то не по себе, как-то ни в чем я не уверен. Засиделся в лесу... Ты быстрее шагаешь, перегнал меня... Ты моложе.

С каштана, под которым они сидели, медленно падали листья. Где-то в глубине казарменных строений раздался протяжный свисток и отрывистая команда. Щепанек взглянул на часы. Тадеуш встал и первый протянул руку.

— Ты знаешь, что у меня с Яблушко старые счета. Поддержи меня. Не подведи.

— Хорошо. Постараюсь.

— Не «постараюсь», а обязательно. Идет?

— Идет.

Минул октябрь.

У Гонорки Мысонь были свои тревоги, совсем не те, что у всей деревни. Однажды уже под вечер, она прошла за дровяной сарай, чтобы снять с плетня просохшее белье. По дорожке, которая бежала полем от леска, к ним шел какой-то человек. Гонорка бросила белье и кинулась в дом.

— Рафал, — быстро распорядилась она, — принеси-ка мне из погреба кислого молока, да поживее!

— Янушека пошли, — медлил Мысонь.

— Не разговаривай!

Он послушно вышел в сени и, приподняв ляду, спустился в погреб. Гонорка захлопнула ляду, надвинула на нее бочонок с капустой, потом присела на корточки и в щель решительно шепнула мужу:

— Сиди смирно, пока я тебя не выпущу. За тобой пришли.

Гонорка не впустила гостя в дом, они поговорили во дворе.

— Мой ушел, нет его.

— Куда ушел?

— В Ружанцы. — Гонорка сказала первое, что пришло ей в голову.

Янушеку она велела проследить, куда пойдет незнакомец.

— Кто это был? — Перепуганный, бледный Рафал никак не мог понять, что произошло.

— Тот, который как-то давно уже приходил сюда. Со шрамом за ухом. В тот раз он сказал мне, что ты скоро вернешься, а потом пошел к Явору и...

Она вдруг расплакалась.

— Не хочу я, Рафал, не хочу, слышишь? Сиди дома, чем тебе плохо! Все теперь у нас есть! Ребенок растет! Хватит уж, хватит.

Мысонь сплюнул в угол и промолчал.

— Правильно сделала, — глухо проговорил он наконец, — умно сделала. Навязались! Пошли они к черту!

Но к ужину Рафал не прикоснулся.

Янушек проводил незнакомца до опушки леса, дальше идти побоялся. «В Рыбки свернул, — подумал Мысонь, — должно быть, на станцию...»

— Куда это ты собрался? — крикнула Гонорка, заметив, что Рафал тянется за шапкой.

Он в нерешительности остановился у порога.

— Сейчас вернусь. Видишь ли... — его слова прозвучали чуть-чуть насмешливо и чуть-чуть печально. — Насчет Ружанцев это ты в самую точку попала... Я сегодня туда собирался, к садовнику. Теперь надо как-нибудь выкрутиться...

Рафал вызвал из хаты Збышека Сикору.

— В Ружанцах о колхозе поговаривают... — начал он издали, перебросившись с ним несколькими незначительными словами.

— Ну и что же?

— Да ничего. — И после паузы: — Мруза опять нет. К облаве готовится. Это точно.

— И пускай!

— Не боишься?

Ничего не ответив, Збышек с нескрываемой ненавистью поглядел на Мысоня.

— Сходи-ка, Збышек, в Ружанцы... Скажешь Рендзиковскому, что...

— Убирайся к черту! — прервал его Сикора. — Никуда я не пойду!

— Вот ты, брат, как!

— Так. Ты меня не пугай.

— Может, скажешь, что у тебя уже все чисто?

— Отойди, Рафал, череп раскрою. Мне уже теперь все равно.

Мысонь не стал спорить и пошел к Явору.

Явор выполнил его поручение и еще до рассвета постучался к Мысоням в окно. На ходу завязывая тесемки кальсон, Рафал поспешил отпереть дверь. Они прошли в сени.

— Чтoб ты пропал! — выругался Константиний. — Чуть не влип из-за тебя. До сих пор трясет... — Он сел на бочонок, дрожащими пальцами достал сигарету и закурил. Колеблющееся пламя спички осветило грязные полосы пота у крыльев носа. Мысонь нетерпеливо переминался.

— Ты сказал садовнику? Ну, говори.

— Садовник уже сбежал. Видно, раньше дознался... Морду тебе, Рафал, надо разбить за то, что послал меня на гибель.

— Не валяй дурака. Что я — дух святой? Как я мог знать, что уже началось...

— Началось. Сразу со всех концов и из середины. Милиции полно.

— Ты откуда знаешь? — уже подозрительно спросил Мысонь.

— Счастье, что у самой околицы на меня собака накинулась. Мужик вышел собаку звать, а я узнал его, он из наших, вот и рассказал мне. За штаны, Рафал, ты должен мне заплатить... Одни лохмотья остались, посмотри!

— Плевать на штаны! Плохо дело, Явор.

Константий протяжно зевнул, протер слезящиеся глаза, — ему хотелось спать.

— Может, бог даст, обойдется...

В ту ночь объединенные силы армии, органов безопасности и милиции приступили к действиям. Операция была разработана очень тщательно и в полной тайне. Сигналы с мест, полученные уездными комитетами государственной безопасности, дали возможность наметить пункты нападения. Все отряды милиции по приказу были приведены в состояние боевой готовности. Облава на бандитские гнезда в городках была начата в один и тот же час. Бдительные сторожевые посты закрыли все дороги из лесов и к железнодорожным станциям, заняли городские заставы. Вооруженные силы взяли в кольцо оперативный район, охватывавший три уезда. Внутри кольца по заранее намеченным стратегическим направлениям двинулись атакующие части. Все петли раскинутой сети начали стягиваться.

Ранним утром в Беляве появились патрули и обыскали несколько хат. Кое-кого из мужиков солдаты увели из деревни и доставили к своему командиру. Когда стали уводить Константия, Гунда подняла ужасный крик. Но все, кого взяли на допрос, вернулись еще до полудня. Откуда-то, со стороны Ружанцев, донеслось глухое, быстрое стрекотание, ему вторили еще более отдаленные дребезжащие звуки, однообразные и нудные, как стук швейной машины. Крестьяне не выходили из домов и не выпускали скотину на пастбище. Ребятишки, скучавшие от безделья, выбегали на дорогу, но, заслышав рокот мотора летучего патруля, удирали со всех ног. Под вечер отголоски боя стали доходить с юга, со стороны предгорья, а потом и вовсе умолкли. Белява, настороженно прислушиваясь, затаилась под низкими стрехами хат.

Так прошло четыре дня.

На рассвете пятого дня крестьяне, жившие у самой дороги, увидели быстро передвигавшуюся колонну вооруженных солдат в побелевших от пыли мундирах. Промчались мотоциклы, фыркая и ворча в глубоких колеях песчаной дороги, проехали танкетки с пулеметами, потом проскакали верховые. «Из Ружанцев, — догадывались крестьяне, — на Немжу». Постепенно все стихло, до самого вечера ничего не произошло. Те, кто похрабрее, выходили на

дороги и тропы, качали головами, глядя на отпечатки шин, и шли дальше по следам прошедших здесь войск. Парни, которые успели добежать до немжанского леса, вернулись с известием, что военный патруль дальше их не пропустил. Стало быть, операция еще не кончилась. Все слышали шум недолгой, ожесточенной схватки, которая разгорелась той же ночью. Бой шел никак не дальше Немжи. Весь следующий день в Беляве было тихо. На завтра пришел представитель немжанской гмины и сообщил, что все кончено. Остатки бандитской шайки, разгромленной в Ружанцах, пробились к Немже, но, сжатые с двух сторон, после недолгого отчаянного боя прекратили сопротивление. На этот раз, кажется, никому не удалось вырваться из окружения.

Совершенно ошеломила народ другая новость, принесенная из Немжи: власти арестовали начальника милиции Низио.

Три дня спустя в деревню вернулся Тадеуш Мруз. Анны не было дома, он нашел ее у Грелей, где она пробыла все последние дни. Ей было страшно оставаться одной, она беспокоилась о Тадеуше и горько упрекала себя за то, что так холодно простилась с ним, когда он уходил на дело, которое неизвестно как могло кончиться. Теперь, не стесняясь старых Грелей и Ядвиси, она встретила его с бурной, хоть и безмолвной нежностью, и они долго стояли, обнявшись, на пороге чужого дома, забыв обо всем на свете.

— Мы свели счеты, — сказал Тадеуш, после того как они с солтысом, чтобы согреться, да и для бодрости, выпили по второй стопке крепкой наливки. — Яблушко издох, смерть настигла его под Садополе. Наши выследили его вместе со всей бандой, они прятались в амбаре у одного кулака. Прямо ума решились... Около них загорелась солома, и они очертя голову кинулись из огня... Яблушко, раненый, весь в ожогах, все-таки пытался убежать. Далеко уйти ему не удалось, истек кровью на свекольном поле, там и умер.

У Грели собрались соседи, все жадно слушали. Секретарь комитета, лысый невзрачный человечек, который куда более ловко орудовал шилом, нежели пером, облегченно вздохнул и, настроившись на возвышенный лад, изрек:

— Поднявший меч от меча и погибнет...

— Да что вы, Баланек, какие теперь мечи! — Ядвися,

выручавшая секретаря в каждом серьезном деле, любила спорить с ним о пустяках.

— Садополе, — считал по пальцам Мруз, — Ружанцы, Немжа. Три гнезда в нашем уезде. Да несколько гнезд поменьше в других уездах. Растеклась зараза...

— Говорят, садовник из Ружанцев смылся... Пронюхал и загодя сбежал... Наверно, из той же шайки...

— А Низио... Прямо не верится...

— Я так думаю, что все они одного поля ягода, — проворчал Греля.

— На следствии неожиданные вещи обнаружатся, вот увидите. Ах да! — вспомнил вдруг Мруз и даже хлопнул в ладоши. — Знаете, кто оказался в этой компании? Наш дорогой комендант Кулик. Друг Низио.

— Братва давно уже спелась...

— Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить, — набрался храбрости Баланек. — А теперь мир и спокойствие.

Мруз с сомнением поглядел на сапожника.

— Мир и спокойствие. Оно бы хорошо, да дело-то это непростое. Черное — его сразу узнаешь, что оно черное, а белое — что оно белое. Ночь легко отличишь от дня. Но человека отличить от человека гораздо труднее. Если видишь, что он бандит, убей его, как бешеную собаку. Если видишь, что он вор, суди его. Но разве это все? Думаете, что тогда не останется нечисти на свете и наступит мир? Нет, у бандита и вора есть свои дружки, а у тех — свои. Их не сразу узнаешь, не сразу схватишь за руку. Много еще остается такой дряни, которая ускользает от заслуженной кары, и, хотя ее не видно, пакостит и отравляет все кругом, как измена, как чума...

— Тогда добрую половину народа надо в тюрьму запереть... — неуверенно сказал кто-то.

Сикора вдруг поднялся, налил рюмку водки, но подумал и не выпил.

— Ну нет! Это неверно! — возразил Мруз. — Из них многие могут стать порядочными людьми. Святых нет, и по закону многое человеку можно простить, многое...

— Попробуй такого Явора исправить... — Греля с сомнением махнул рукой.

— А если даже и нельзя? — принял вызов Мруз. — Не в этом дело. Если уж завелась гниль, то пусть гниет, только, чтобы заразы вокруг не распространяла.

— Все вы рассуждаете так, точно истребить зло можно одними облавами и судами, — вмешалась в разговор Анна. — А обо мне вы совсем забыли...

Все одобрительно зашумели, Греля поспешил поднести Анне вина, гости протянули к ней наполненные рюмки.

— На Явора жалуетесь, — сказала она, когда шум утих, — но у Явора есть дети, помните об этом. Выпьем за успехи школы.

ХII

ПАСТБИЩЕ

Деревня зажила обычной жизнью. Беява никогда не славилась тучными лугами. Сена удавалось запасти очень немного, и коров выгоняли на пастбище до самых заморозков. Болека Явора в тот год уже заставили пасти Лыску. Сперва с ним ходила бабка, но с одной коровой хлопот было немного, и старуха отказалась помогать мальчику — пришлось ему управляться одному. Пока стояли теплые дни, Болек усердно исполнял свои новые обязанности, а потом уже не мог отвертеться и подчинился поневоле. Он был еще совсем крошка, и когда Куба приехал однажды ненадолго в отпуск и увидел Болека на пастбище, то поссорился из-за него с братом. Но это не помогло. А если кто-нибудь из приезжих жалел Болека, то Явор неизменно отвечал, что сын у него не по возрасту умный и сильный.

— Я его скоро женю, — грубо смеялся Явор, — он уже сейчас за барышнями бегаёт. Береги, Збышек, свою Анельцу...

Сикора возмущенно плевался.

— Годов тебе прибавляется, а на языке, как у парня, одни пакости. Мучаешь только ребенка. Ну какой из него пастух — от горшка два вершка...

— Подрастет!.. — уверял Явор.

В то утро Болек, как всегда, спросил у Гунды:

— Мама, где сегодня пасти?

Она ему сказала, и мальчик уже во дворе доел свою краюшку хлеба; отец, валявшийся в постели, не любил долгих разговоров в хате и по утрам всегда бывал зол. Болек пошел в хлев, снял с Лыски цепь, для чего ему пришлось влезть на желоб, взял в углу кнут и мешок, которым

укрывался. Потом он ощупал карман — проверил, на месте ли губная гармоника, подарок дяди Кубы, бесценное сокровище, которое он все время ужасно боялся потерять. Седой иней, прихвативший траву, ожег его босые ступни, а от холода бесследно исчезла сонливость. Выйдя за ворота, Болек погнал корову и, топоча ножонками, чтобы согреться, побежал следом за нею. Песок на дороге словно подернуло морозцем. Нужно было сильно шлепать ногами, тогда ступни уходили глубже в песок и становилось чуть-чуть теплее. Возле часовенки Болек остановился, огляделся вокруг и, убедившись, что никто не подсматривает, достал из-под бумажных роз, оббивавших ноги святого, коробочку. Он каждый день таскал у отца две-три спички и прятал их в тайничке. Осенью они ему оченьгодились — с их помощью Болек завоевал признание пастухов, которые были постарше его. Сам он еще боялся разводить огонь.

Болек особенно любил пасти Лыску под лесом, где ему легко было найти компанию. Франек Нехоцкий, крепкий паренек весьма необузданного нрава, верховодил во всех играх: он бегал с мальчишками наперегонки, придумывал такие забавы, которые доставляли им бурное и мучительное наслаждение. Малышей Франек раскачивал на руках, таскал на спине, держал в воздухе вниз головой, учил кувыркаться так, что казалось, они вот-вот свернут себе шею. Игры назывались по-разному: «возить соль», «печь хлеб», «гнести сыр», — все они были коварными для непосвященных, опасными для слабых и в то же время неотразимо заманчивыми. Крики ужаса, мольбы о пощаде, плач и смех сливались на пастбище в неумолкаемый шум. Мальчики собирали в поле картошку, в лесу в известных им грибных местах — рыжики и волнушки, иногда кто-нибудь приносил из дому морковь, яблоко, репу — добычу пекли или, надев на палочку, жарили над костром, а потом съедали вместе с горячей золой. В полдень пастухи ненадолго расходились, а на закате, покрытые синяками, добытыми в драках и состязаниях, красные, запыхавшиеся, с черными от сажи губами, в продымленной одежде расставались до следующего утра. Если бы не нужно было следить за Лыской, не пускать ее в посевы, пасти на заросших травой межах и в оврагах, Болек был бы доволен своей нынешней жизнью. Больше всего ему бы нравилось быть пастухом без коровы.

Януш, сын Мысоня, и Анельця, дочка Сикоры, прихо-

дили к Болеку на пастбище. Они были моложе его, дома ничего не делали и даже не помогали старшим пасти скотину. Болек завидовал привольной жизни малышей и не жалел, когда им доставалось от родителей за то, что они бегают к пастухам. Он знал, что детишки поплачут и снова улизнут из дому — разве уследишь в деревне за ребенком! Януш и Анельця слушались Болека, подчинялись ему, как старшему, и он их любил за это. Маленький Мысонь, совсем еще желторотый птенец, требовал от пастухов уважения к своей особе — плакал, злился, жаловался отцу. Однажды Франек спросил, не хочет ли он увидеть Варшаву. Януш ответил, что хочет. Тогда Франек стиснул обеими руками его голову, приподнял малыша и подержал некоторое время на весу. «Ну видел?» Януш лежал на земле не шевелясь, дети испугались, не случилось ли с ним чего худого. Потом он стал приводить с собой Рекса, кудлатую, очень злую дворняжку с желтой мордой. Но и на Рекса нашли управу: обмотали ему морду мешком, а к хвосту привязали горящую сосновую ветку. Рекс отчаянно завыл и, преследуемый улюлюканьем детворы, понесся вслепую, наугад; только перебираясь вплавь через реку, пес избавился от своего убора. Анельця ни в чем не перечила ребятам и, когда ей приказывали, послушно приносила из дому то немножко соли или масла, то несколько кусков сахара. Ничто не доставляло Анельце такого удовольствия, как игра Болека на гармонике. Она могла слушать его без конца. Болек заметил, что девочка восхищается его игрой, и при ней чувствовал себя на много старше и опытней, чем был на самом деле. Он рассказывал ей о том, что видел в Невыхове и в Рыбках, придумывал разные небылицы и втайне радовался, что Анельця ему верит.

Старшие мальчики иногда слушали его со вниманием, а случалось, нещадно тузили за вранье. И все же, считая его бывалым парнем, они относились к нему почти как к равному. Не раз они гнали прочь девочек и всех ребятшек поменьше и только одного Болека допускали на свои секретные совещания. Франек толоч сухие буковые листья, скручивал из обрывка газеты цыгарку и учился курить, другим он тоже давал попробовать. Давясь от смеха, ребята рассказывали друг дружке, что делают взрослые ночью, но Болеку не захотели объяснить все до конца. Усевшись в тесный кружок, голова к голове, они пели вполголоса неизвестные ему раньше песенки, а потом смеялись до слез, до хрипоты.

Загадочность их слов огорчала Болека; немножко обиженный и все же счастливый, он должен был подыгрывать им на гармонике. Как-то вечером, когда отца не было дома, он стал было напевать:

Лес шумит, лес шумит, да шумит листочек,
Дай мне ты, дай мне ты...

Он не кончил. Гунда так хлестнула его по лицу мокрой пеленкой, что он сразу онемел. Она не сказала ему ни слова...

Во время школьных каникул на пастбище появился Янек Греля. Он тоже пас отцовскую корову, но поначалу держался поодаль и своей невыховской славой обескуражил белявскую компанию. Однако это продолжалось недолго, вскоре они, как ровесники, вместе играли и ходили на речку купаться. Греля научил детей новым играм: они с увлечением гоняли мяч, сшитый из чулка и набитый опилками, сражались в «городки», а в лесу устраивали облавы на разбойников. Янек приносил из дому книжки своим товарищам и, когда ребята уставали от беготни, читал про себя, а иногда и вслух. Его все чаще и чаще просили об этом. Осенью Янек снова уехал в школу, а ребята не раз вспоминали истории о том, как один хлопец застрелил в пустыне и в пуще огромного льва и как тяжело раненный летчик встретился в лесу с медведем. В течение некоторого времени мысонеvский Рекс исполнял роль то медведя, то огромного льва. Потом куда-то запропастился тряпичный мяч и по-старому засияла потускневшая было звезда Франека. Боек все допытывался, откуда берутся дети, и ему, наконец, сказали, заклиная хранить тайну: аист их вовсе не приносит, они вылупляются под периной в квашне из-под теста.

Небо хмурилось к дождю, хотя с утра подморозило. Мир казался больным и старым. В этот ранний час равнодушно и даже враждебно чернели окна дома Мысонеv. Боек вспомнил, что мальчики вчера выгоняли скотину в последний раз и сказали ему, что теперь ее поставят в хлев на всю зиму. Он остался один, некому будет разводить огонь, не нужно больше прятать в часовенке коробочку. Боек раза два покричал Янушу и Анельце, давая знать, что он-то еще идет с Лыской в поле, однако усомнился, слышали ли они его. Тогда он решил вопреки совету мачехи погнать Лыску на луг Соляжей, где можно было укрыться от ветра.

Пруда Боек не помнил. Он только слышал, как дома

рассказывали, будто вода ушла через разрушенную плотину и все там изменилось до неузнаваемости. С одной стороны узкая, продолговатая кромка леса полукольцом охватывала луг — так было и раньше. Но все остальное пространство, откуда отступила вода, густо покрылось низкорослым ольшаником. Взрослым здесь трудно было пробраться. Дети протоптали в зарослях только им одним известные тропинки к берегу реки, лениво катившей свои воды по неровному руслу — на глубоких местах вода была темная, а совсем рядом сверкала ребрами песчаных отмелей. В том месте, где когда-то был остров, стояло несколько высоких осин и верб.

Лыска могла тут пастись, где ей захочется, не требуя особого присмотра. Она потопталась на лугу, тщетно выискивая давно уже выщипанную траву, быстро и брезгливо водя мордой над щетиной редких сухих стеблей, потом углубилась в ольшаник, где еще зеленела буйно разросшаяся, но уже поникшая трава. Тучки, пробегая по небу, сеяли мелкий, как мучная пыль, дождик, и Болек самые неприятные минуты переждал под ольхой, заслонив голову и плечи мешком, сложенным в виде капюшона. Ему стало скучно. Время ползло медленно; Анельця и Януш, наверно, о нем забыли. Болек поковырял палочкой кору дерева, выстрогал себе новый кнут и украсил его мудреным узором, потом он плел из камыша косички, придумывал шляпы для кукол Анельци, месил ногами грязь в лужах. Всего этого ненадолго хватило, но самое приятное он отложил напоследок, когда станет совсем неспособен.

Небо прояснилось, и за пеленой тумана сверкнул диск солнца. День был какой-то тусклый, белесый, словно снятое молоко, но и это было хорошо. Корова слишком далеко забралась в кусты, Болек пригнал ее назад, потом достал из кармана гармонику, заботливо сдул с нее крошки, сперва тихонько перебрал лады, и тогда уже начал играть. Играл он долго, с увлечением, не замечая холода. Зажмурив глаза, он представлял себе картину, которая всякий раз рисовалась ему по-иному. Он играет, а по дороге в Беляву едет карета, какой никто здесь никогда не видал. Он помнит еще по рассказам матери — золотые колеса и четверка коней в золотой упряжке. А может, это даже машина — Янек Греля рассказывал про машины, — только необыкновенная, вся из чистого золота. Незнакомая прекрасная пани велит остановить машину. «Кто это так играет?» —

спрашивает она у прохожих. «Это Боек, сын Явора». — «Раз Боек так хорошо играет, мы его увезем с собой». — «Не увезете, прекрасная пани, отец с мачехой его не отпустят». — «Мы дадим отцу с мачехой много денег, они станут богатыми и тогда отпустят его». И вот прекрасная пани уже подъезжает к ольхе, к Болеку. А Боек будто и не видит ее, будто ни о чем не догадывается — знай себе играет, да все лучше и лучше. Каждую песенку один раз проиграет весело, другой раз печально, чтобы все знали, как это хорошо у него получается на оба лада. И...

Лыска громко фыркнула у самого его уха. Он оглянулся. По лесной тропинке прямо к лугу мчалась большая рыжая собака. Хвост у нее был поджат, с морды — как показалось Болеку — стекала пена. Боек хлестнул корову, побежал вслед за ней в гущу ольшаника, опередил ее и погнался к реке. «В воду бешеная собака не полезет», — вспомнил Боек, как учили его пастухи, и остановился около самого берега. Сердце у него неистово билось. Однако ничего не произошло, камыши, как обычно, шуршали в осенней тишине, а неподалеку Лыска терлась о чахлое деревцо, с которого осыпался последний желтый лист. Боек прислушивался некоторое время, наконец, успокоившись, поднес руки к губам и, хотя знал, что сегодня ему никто не ответит, крикнул по-пастушьи в сторону деревни:

— О-го-го-го-го!

— Не кричи. Поди сюда.

Эти негромкие, но внятные слова, раздавшиеся прямо у его ног, поразили Болека. Он хотел бежать, но даже не шевельнулся.

— Поди сюда, говорят тебе.

Боек шагнул вперед. Под нависшим выступом берега на небольшой песчаной отмели сидел человек, опершись спиной о корявый, почерневший от ила пенек с обнаженными корнями. Болека бросило сначала в жар, потом по спине у него пробежал холод. Мальчик хотел крикнуть, но не смог издать ни звука. Бледное солнце светило прямо в лицо незнакомца, но Боек видел только одно — нож в его руке. Нож поблескивал, отливал синевой. Незнакомец медленно, словно раздумывая, опустил нож и бросил на песок. Рубаха на груди у него была разорвана в клочья. Человек оторвал от себя лоскут, потом с минуту не шевелился, закрыл глаза, словно спал. Правый рукав рубахи был тоже разорван, и обнаженную до самого плеча руку

незнакомец держал в воде. Из-под тряпки, которой был обмотан распухший локоть, сочилась кровь и прозрачными струйками стекала по уже засохшим сгусткам.

Человек открыл глаза и сказал тихо, но внятно:

— Помоги перевязать руку.

Губы у него почернели и потрескались, на лбу, у корней волос, краснел широкий свежий струп; лицо густо заросло щетиной, глаза лихорадочно блстели. Ухватив зубами и здоровой рукой оторванный от рубахи лоскут, он пытался справиться с ним, но не мог. Он топал ногами в высоких сапогах, словно отмахиваясь от мух. Одна нога до половины голенища попала в воду и так и осталась там. А незнакомец попрежнему не сводил глаз с Болека, и мальчик тоже смотрел на него и больше всего теперь боялся повернуться спиной и бежать.

— Сдохну здесь... — слышался хриплый шепот.

И минуту спустя:

— Ты чей, малыш? Не Мысоня?

Но Белек и на этот раз даже не шевельнулся.

— Не бойся, дурачок, — уговаривал незнакомец, сияясь улыбнуться, — видишь, я болен, помочь мне надо, больше не выдержу... Скажи, чей ты?

— Явора... — сказал он едва слышно и смолк.

— Беги к отцу, скажи, чтобы пришел сюда. Сейчас же! Никому больше не говори... помни... потому что... Постой, погоди-ка.

Он сунул руку в карман, достал пачку денег, взял из нее одну коричневую бумажку и протянул руку, но Белек стоял неподвижно, попрежнему в упор глядя на нож, блстевший на песке.

— Ах, боже ты мой, что за дикарь, — незнакомец завернул в кредитку комочек земли, бросил Болеку и застонал, скрипнув зубами. — На вот... и беги...

Белек, совсем запыхавшись, ворвался в хату и еле выговорил:

— Где папа?

— У Мысоня. Погоди, Белек, что случилось? Где корова?

Но Белек уже бежал к Мысоням. Отец на току резал сечку; он был один.

— Папа... — Белек дернул Явора за рукав, — пойдемте, папа, скорее...

— Ну, что ты меня дергаешь? Чего тебе? Говори.

— Он там лежит... за лугом Соляжей... около реки...

Явор притворил дверь риги и нагнулся к Болеку.

— Что у тебя в руке? Покажи.

Спрятав коричневую бумажку, Явор похлопал мальчика по плечу и ласково улыбнулся.

— Ты умный парень. Ничего не бойся и никому не говори. Я отведу тебя к матери, посидишь в хате...

— Я там Лыску оставил...

— Лыску я пригоню. Ну, пойдем.

Явор приказал Гунде следить за Болеком. Он привел корову, потом кружным путем снова направился в ольшаник.

Уже стемнело, когда он вызвал Мысоня во двор.

— Послушай, Рафал, дело есть...

Он помолчал, сплюнул и вдруг, обхватив Мысоня за шею, радостно зашептал ему на ухо:

— Ура, друг любезный! Один только был человек, который нам спокойно спать не давал, жизнь нам портил. Нет его больше. Кровью изошел, сдох, уже не поднимется, сдох!

— Кто? Говори толком, Константиний.

— Хетта.

Явор рассказал, как на его глазах умер Хетта.

— Ты ведь знаешь, в Немже Хетту помяли? И все-таки он от них удрал, потому что дело было ночью, а Низио нарочно так направил облаву, чтобы его спасти. Ну, им не удалось свести счеты с Хеттой, но от смерти он не ушел. Скрывался в лесах, к нам приполз за помощью...

— Признавайся, Костек: ты помог ему... — Мысонь в упор поглядел на Явора.

Константий ударил себя кулаком в грудь.

— Клянусь богом, не дотронулся до него. Сам он кончился, истинная правда.

К вечеру погода испортилась, набежали тучи и снова начал моросить дождь, сея кругом пронизывающую сырость. Деревня спала. Явор и Мысонь взяли в сарае две лопаты и, далеко обойдя дом Сикоры, направились в известное им место. Они не стали рыть глубокую яму и быстро справились со своей работой. На прощанье торжественно пожали друг другу руки.

— Помни, Рафал.

— Помню. Пока он был жив, мне покоя не было. Только

из-за него одного. Ни с кем больше я никогда не связывался.

— Я тоже.

— Ладно, Явор, Но...

— Что?

— Ты, Костек, любишь брехать. А что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Смотри.

— Не бойся.

— Смотри, смотри! Ведь если что случится, так и знай, ты с ним был один...

— Я ведь поклялся. Не веришь?

— Я-то верю, а вот другие поверят ли?

Рафал еще раз остановил Явора уже на дороге.

— Послушай, Константин... Твой Боек разболтает!

— Не разболтает. Я уж знаю, что сделать...

— Боек днем никуда не ходил? — спросил Явор еще в дверях.

Ему никто не ответил. В хате было почти совсем темно, огонек лампы едва мерцал под закопченным стеклом. В нос Явору ударил кислый запах сыворотки, помоев и пеленок. Старая Быська стонала во сне на лежанке. Гунда стояла на коленях. Она молилась, устремив глаза на образ, а локтем толкала колыбель, убаюкивая Хельцю. Постель была постлана на ночь, из-под отогнутого края перины торчала подушка в клетчатой наволочке. Явор зевнул во весь рот, поднялся, потом подошел к лавке, втиснутой между спинкой постели и печью. Кучка тряпья мерно поднималась, и слышно было, как дышит под нею мальчик и как клокочет у него в груди. Явор потряс лохмотья. Гунда перекрестилась и встала с колен.

— Я его никуда не пускала, как ты велел. Картошку возьми в печке.

— А что к картошке?

— Костек, смилуйся, ты все распродал, мы все проели, спустили... и еще спрашиваешь, что к картошке? Побаловались, пожили... кончилось панское житье... — в голосе Гунды послышались слезы. — Опять я тяжела... — прибавила она сердитым шепотом.

Явор пристально поглядел на жену, она повернулась к нему спиной.

— Как крольчиха, плодишься. Только тронь тебя...

Он пошарил в карманах и швырнул на стол пачку денег.

— Со мной не пропадешь, не бойся, — ласково сказал он. — Ничего, мы еще поживем.

Гунда не удивилась, не спросила, откуда такое богатство. Тяжелым, небрежным движением она сгребла деньги и сунула их за образ.

— Бог милостив...

Она похлопала руками по перине, чтобы разбить перья.

— Коли не голоден, так раздевайся. Пора.

Но Явор не послушал ее. Он снова потряс лохмотья, которыми был укрыт мальчик.

— Боек, вставай. Ну же! Надевай куртку, штанов не надо. И ступай за мной, да поживее. Слышишь?!

— Зачем тебе мальчишка! — кинулась Гунда, загородив им дорогу у двери. Явор оттолкнул ее и повел Болека во двор. Гунда в тревоге поглядела в окно — сквозь щель в двери хлева пробился тусклый свет фонаря.

— Ложись, Боек, на желоб, — сказал Явор. — Я буду бить тебя!

— Папа-а!

— Не ори, иначе изобью до смерти. Понял?

Голос у него был спокойный, даже веселый, и Болеку все еще не верилось, что отец не шутит. Явор медленно отстегивал пояс.

— Папа...

Сперва он бил не очень сильно и внезапно остановился.

— Теперь гляди на меня, — приказал Явор, — и говори. Что ты видел сегодня около реки, когда пас корову?

Боек захлебывался от беззвучного плача. Явор поднял ремень.

— Я видел одного... с ножом...

— Ложись. Буду бить тебя.

Он сам сел на желоб, левой рукой зажал мальчику рот и повалил его к себе на колени. На этот раз он бил долго и больно.

— Что видел? Говори. Говори правду.

Боек поднялся дрожа. В залитых слезами глазах светился страх.

— Кровь у него была... на руке... Руку в воде держал... в воде...

— Дурак! — крикнул Явор. — Ничего ты не видел, все врешь!

— Папочка! Не бейте! Я скажу, ска-жу!..

— Ну?

— Не было ножа... Сапоги... в воде...

— Я убью тебя, потому что ты осел и врун, — вздохнул Явор. Он схватил Болека за плечи, подтянул к себе и настойчиво, горячо повторял: — Ты ничего не ви-дел! Ни-ко-го! Тебе это все приснилось. Слышишь?

— Но, папочка...

Явор ударил Болека кулаком, и мальчик упал на помост. Лыска забила копытами по своей подстилке, поднялась, беспокойно мотая головой, и почти по-человечьи вздохнула. Боек извивался под ударами, уползал под желоб, прижимал к губам кулачки, чтобы заглушить стоны. Потом замер, умолк. Явор поднял его, стряхнул с него со-лому и крепко прижал к себе.

— Не отпускаю тебя, пока не скажешь. Что ты видел?

Боек отнял руки от лица. Из носа у него текла кровь. Голова качалась, словно мальчику очень хотелось спать. Светлые волосы упали на лоб и прилипли к мокрым от слез и слюны щекам. Он ловил ртом воздух, дышал прерывисто и тяжело. Глаза у него были закрыты.

— Что ты видел? — повторил Явор.

Ему пришлось приложить ухо к губам Болека, чтобы слышать ответ:

— Ничего...

Явор погладил его по голове и обнял.

— Бедный ты сиротка...

Он взял сына на руки и понес в хату.

— Сегодня будешь со мной спать, под периной...

Еще до наступления зимы Мруз застрелил в лесу большую рыжую бездомную собаку.

— Бродячая собака в лесу — всегда вредитель и вор, — оправдывался он перед Анной. — А эта вовсе одичала.

— Надо было спросить, может, у кого-нибудь в окoliце пропала собака.

— В наших местах никто не держал такой собаки... Была в Беляве похожая, давным-давно, может, и ты помнишь у кого...

Анна не помнила, и Мруз, подумав, заговорил о дру-гом.

Зима была снежная, а с приближением весны внезапно наступили теплые, почти жаркие дни. Река разлилась, подмыла берег, причинив много вреда. В двух милях от Беля-

вы у железнодорожного моста был выловлен труп. Человек, видно, умер давно, и труп вымыло водой из земли, потому что он был разъеден песком, и опознать его не удалось.

— Остался в одних штанах, — рассказывали люди лесничему, — вроде военных, со шнуровкой. Но ни куртки на нем, ни сапог...

— Ни сапог, — повторил Мруз и протер глаза, словно отмахиваясь от непрошенных воспоминаний...

Яворы снова хорошо зажили. Старая Быська разболтала соседям, что зять ее продал часть земли Мысоням, и, должно быть, ему много заплатили, потому что он не жалеет денег на домашние нужды. Всякий раз, как Костек за чем-нибудь ездил в город, он привозил оттуда колбасу, мясо, водку — никогда еще Быське так не жилось. Она перевозносила Явора до небес, прямо молилась на него. Пироги им приселись, жирная шейка с начинкой была больше по вкусу. Гуида толстела и от беременности и от невоздержанности в пище. Хозяйство она запустила, лениво двигалась, иногда весь день ходила в одной рубашке. Дети были до того грязны и заброшены, что соседи пугались, глядя на них. Явор тоже разъелся, лицо у него стало красное, обрюзглое. Когда родился ребенок, он решил справить крестины, но из деревни к ним почти никто не пришел — и Быська, опасаясь, как бы не пропало зря обильное угощение, объелась до колик.

— Зажилась старуха, — ворчал Явор. — Только воздух портит, в хате повернуться негде.

Гунда его обругала.

— Никому не желай зла. Ее конура — пусть себе живет. Будет на то воля божья, всех нас переживет.

Как-то летом Явор отправился с Болеком к учительнице и попросил записать сына в школу. Боек боязливо поглядывал на пани, на доску и парты — его пугали школой и родные и мальчишки на пастбище. Он боялся не того, что его будут бить, а вообще всего нового. До сих пор перемены в его жизни вели только к худшему.

Анна отозвала Явора в сторону.

— Здесь, в Беляве, вас считают плохим хозяином, пан Явор, — сказала она. — Деньги, знаете, легко пустить в трубу. Вы уж не сердитесь за правду — я вам говорю то, чего соседи не скажут. Как это вы, человек бывалый, не подумаете о том, что надо и самому одеться и жену с

детьми приодеть? Неужели вам не хочется заняться хозяйством, ведь у вас и на собственную хату денег, пожалуй, хватило бы...

— Если захочу поставить хату, так уж как-нибудь хватит.

— Знаю. Почему же тогда вы живете хуже всех? Другим тяжелей было, на пустое место с пустыми руками вернуться, а теперь во всем опередили вас.

От обиды щеки у Явора побагровели, глаза стали словно стеклянные.

— Знаю я, пани учительница, кто вам на меня наговаривает.

— Никто не наговаривает. Сама вижу. Вы, Яворы, себбялюбцы, это я вам прямо скажу. Разве вы помогли школе? Разве оказали ей материальную поддержку или пороботали на стройке? Нет ведь. А могли и сейчас можете. Только вы, Явор, ничего не сделали. И народ жалуется, так и знайте.

— Эх, пани! Народ, народ! Я сам своих детей воспитую.

— Но сами их не обучите.

— Школа государственная. И вы, пани, государственный хлеб едите. Ваше дело учить, а проповеди пусть ксендз читает. Если уж на то пошло, я могу не посылать мальчишку в школу.

— Будете посылать, это ваша обязанность.

— Обязанности у того, кто служит. Ведь вы объявили свободу.

— Вам, верно, Мысонь о свободе толкует.

— А вам кто? Сказать? Умники, что смотрят в книгу, а видят фигу.

— Глупые разговоры! Вы рассуждаете, как темный человек.

— Зато вы шляхтянка!

— Ступайте, пан Явор, домой. Хватит уж.

Анна была зла на себя за то, что так скверно вышло с Явором. Она поддалась давней неприязни и не сдержала раздражения. Было ясно, что из всего этого разговора получится. И она не ошиблась. Явор возненавидел белявскую школу.

До наступления нового школьного года Явор сам, как умел, обучал Болека: заставлял его пасти Лыску в лесу, потому что лес государственный, и даже на чужих крестьян-

ских полях, потому что белявские мужики — сукины дети. По вечерам он посылал Болека воровать молодой картофель на соседних полях и овощи в огороде у Нехоцкого. После ужина у Яворов пили водку; придя в хорошее расположение духа, Константин любил пошутить и с Болеком. Он заставлял мальчика петь, но старые песенки ему быстро надоедали, и в пьяном угаре он учил сына более веселым, вспоминал залихватские куплеты. Потом он подносил Болеку рюмочку, и мальчик не смел отказываться — у отца даже в добрые минуты рука была тяжелая.

Болек теперь редко играл на гармонике; обычно он пас Лыску на чужом выгоне, и ему нельзя было шуметь.

Весь июль мальчик чего-то болел.

Как-то в воскресенье, проснувшись, Болек обнаружил, что квадрат солнечного света дошел уже до шкафа с посудой. Проспал! Болек вскочил в испуге. У окна сидела бабка, качая на коленях запеленутого в подушку Стася.

— Кто погнал Лыску?

— Лыску? Не бойся, Болек. Мать погнала, чтобы ты отдохнул, и Хельцю взяла с собой. Баловница она, не дала бы тебе поспать. А отец пошел к обедне.

— Тогда дайте мне, бабушка, поесть.

— Сперва помолись богу. И возьми сам. Борщ в котелке на плите.

Болек заглянул в котелок и обиженно сказал:

— Вы-то шкварки ели...

— Ели, ели, пока не съели, — спокойно подтвердила Быська.

Болек повертелся по хате, присел на корточки около Стася. Ему стало смешно, что братец у него такой маленький и розовый.

— Бабушка, когда я пойду в школу?

— В школу? А я почему знаю? Отец говорил, да я мимо ушей пропустила.

— Нет у вас памяти, бабушка...

— Памяти? Ишь, какой умный. Яйца курицу стали учить... В школу я, правда, не ходила, а вот живу, живу... Ш-ш-ш, Стась, ш-ш-ш...

Болек потянул ее за рукав.

— Я вам что-то расскажу...

— Смотри Стась не разбуди.

— Я тихонько... Что мне сегодня снилось...

Старуха подставила ухо, чтобы лучше слышать.

— Было это будто бы на лугу у Соляжей. Под деревом разбойник сидел, а около него бешеная собака, только убитая — это сам разбойник зарезал ножом собаку. Космы у разбойника были черные, и весь он был черный, а ноги держал в красной воде...

— Откуда же вода, раз ты говоришь на лугу...

— Так, не знаю... Только бабушка, папе не рассказывайте...

— Да о чем же тут рассказывать!

— Страх как я напугался, да... да... бабушка...

— Страшен сон, да милостив бог.

Старуха погладила его по голове, прижала к груди.

— Бедный ты сиротка.

ХІІІ

РУЖАНЦЫ. КРАСНАЯ ЛЕНТА

Письма от Кубы Явора приходили редко. За два года военной службы он четыре раза писал Ядвисе Греле, два раза учительнице и один раз Мрузу. Первая открытка Кубы огорчила Анну. Она сразу узнала чужую руку. В буквах с вычурными завитушками едва сохранился след его простых и сердечных мыслей. «Заканчивая, выражаю почтение и по возможности прошу обо мне также вспоминать, тем более, что я уже старший канонир с одной нашивкой на погонах, целую ручки», — сообщал от имени Кубы его неизвестный секретарь. До того как Куба ушел в армию, он, поборов свою стеснительность, тайком приходил к Анне учиться грамоте. Анна догадалась, откуда такое рвение — Куба боялся, как бы Ядвися не обнаружила его невежества. Однако тогда у них не хватило времени, чтобы основательно пройти забытую младшим Явором науку.

— Почему ты сам не пишешь, — отчитала его Анна, когда Куба навестил ее во время отпуска.

— Туго у меня все это идет, — оправдывался Куба. — Пять листочков перепорчу, а буквы попрежнему торчат во все стороны, как пучки соломы на крыше у старой Быськи.

Потом Анна решила, что Куба на нее обиделся, так как он очень долго не подавал вестей. Только год спустя при-

шло письмо, и она опять рассердилась, увидев на конверте чужие завитушки; однако внутри лежали целых два листа, густо исписанных самим Кубой, а кроме того, — к немалому удивлению Анны, — вырезка из солдатской газеты с кратким отчетом о клубном вечере за подписью: «Бомбардир Якуб Явор». Куба сообщал, что упреки Анны сильно на него подействовали — он окончил курсы чтения и письма; в его части было еще семеро таких, как он, а теперь нет ни одного неграмотного. «Так меня это захватило, — писал Куба, — что ничего мне больше не надо, знай бы читал да читал, но времени мало, служба трудная, а везет мне во всем необыкновенно, и должен вам сказать, пани, меня уже приняли в Союз, ну, вы знаете, Союз польской молодежи, тот, что образовался в июле* из разных старых союзов, и даже, как это ни странно, меня хвалят за то, что вышел, мол, из темной массы, а кое-чего добился».

В этом длинном письме Анна подчеркнула только пять грубых ошибок. Она ответила Кубе сразу же — от своего имени и от имени Мруза.

«Тадеуш просит передать тебе, — писала она, — чтобы ты не беспокоился насчет того, как будешь жить после армии. Он ездил по твоему делу в Ружанцы, где ему сказали, что все будет в порядке. Соглашения между людьми еще нет, даже не все те, кто служил в имении, хотят вступить в товарищество, но комитет уже организован и, безусловно, добьется своего. Им нужен будет столяр; они задумали открыть в усадьбе дом культуры, а потом будут строить новое помещение для машин и, конечно, амбары, коровники и конюшни, потому что, как тебе известно, во время войны хозяйственные постройки сгорели. Там теперь все пришло в движение, приезжает много народу из Невыхова, агрономы и всякие специалисты. На усадебной земле, которую не будут делить, собираются осенью провести первую вспашку и сев. Люди ко всему присматриваются — ведь и в наших деревнях много земли пропадает зря — и очень интересуются, оправдает ли себя договор ружанецкого товарищества с государством. Стало быть, ты не бойся, что для тебя не хватит работы. Раз ты артиллерист — значит умеешь теперь не только плотничать и столярничать. Если почему-либо произойдет задержка, то

* Союз польской молодежи был создан в июле 1948 года.

сможешь пока пожить при нашей школе. Строительство уже кончается. Пока нам не пришлют новых учителей, служебная квартира будет свободна, мне она не нужна. За это ты обнесешь школьный сад хорошим забором, а то дети поставили плохонький заборчик и такой низенький, что курица через него перескочит.

Ты спрашиваешь, как живет народ в Беляве, но Ядвися тебе, конечно, подробно обо всем написала, это я точно знаю, потому что, когда ни зайдешь в кооператив, она всякий раз прячет под прилавок исписанный листок и вытирает пальцы, перепачканцы чернилами. Мы часто с ней о тебе беседуем, только ты не пугайся — говорим одно хорошее. Я толковала с Грелями, они, вероятно, не будут противиться, не хотят они только, чтобы ты с братом за хату судился, да и я тебе не советую. Все равно ты в Жджорах не усидишь. И не обращай внимания на то, что Мысонь о тебе болтает, напрасно невесть чем голову себе забиваешь. У Яворов я была один раз вместе с солтысом и Баланеком по поводу поставок, но в другой раз не скоро выберусь. Болека дома не застала. Обрадовалась только, когда увидела под потолком точно такую птичку, как та, что ты мне подарил.

Что касается самых последних новостей, то не знаю, сообщили ли тебе уже, что умерла старуха Сикора. Она болела два года, с тех самых пор, как Сикора неудачно вырвал у нее больной зуб, ты, верно, помнишь. Заражение проникло в мозг. Сын хотел ее лечить, да она уперлась и слушала только Сайдачку. У молодых Сикор нелады. Збышек выпивает — жаль его; может быть, и ты поговоришь с ним, когда вернешься. Все что-то тоскует, хозяйничать ему не хочется, а ничего другого он не умеет.

Как идут мои дела? По-разному. Мне пока нелегко. Я попрежнему одна на четыре класса. Но это скоро изменится, ведь у нас, как и всюду в деревнях, вводят семилетку, а тогда и учителей пришлют. Атмосфера в учреждениях как-то очистилась, легче можно добиться толку. Мы тут говорим, что после августовского пленума * из Варша-

* В августе 1948 года на пленуме Центрального комитета Польской рабочей партии (ППР) был принят ряд важных решений, особенно в области развития сельского хозяйства, намечен ленинский путь развития народной Польши, заложены основы для создания Польской объединенной рабочей партии (ПОРП).

вы повеяло свежим ветром. Самых отъявленных лодырей унесло этим ветром на все четыре стороны. В Невыхов вернулся Мартин Войтан, не помню, знал ли ты его. Мы сразу получили субсидию и кредит для школы, и тут выяснилось, что они давно были отпущены, но кто-то их придерживал, вставлял нам палки в колеса.

Невыховские пионеры собрали для нас пятьдесят книжек — для детей и взрослых, — чему я очень рада. Привезла их делегация во главе с Янеком Грелей и очень торжественно мне вручила. Так родилась наша школьная библиотечка. Она пока еще скромная, но со временем расширится. Большую радость мне доставила вырезка из газеты с твоим отчетом. Завидую вашему клубу. Я в этих делах еще не сильно, приезжай, может быть, вместе что-нибудь придумаем...»

Куба аккуратно сложил письмо и спрятал его в карман. Он уже знал его чуть не наизусть. Сидя теперь, поздней ночью, в зале ожидания на вокзале, он еще раз перечитал дружеское послание самых близких ему людей, к которым он вновь возвращался. Поезд на Рыбки должен был подойти через полчаса. На узловой станции главного города воеводства стоял монотонный гул. Куба с трудом поборол одолевавшую его дремоту. Он допил чай и взялся за пояс, чтобы немного отпустить его, но в то же мгновение заметил сидевшего неподалеку офицера, поднял было руку, чтобы отдать честь, и смутился — он был уже в штатском. Куба сердито поглядел на рукав своей выцветшей куртки. Офицер едва заметно улыбнулся.

— Вы, видно, из армии?

— Так точно, гражданин капитан. Отслужил.

— В Беляву или в Жджоры?

Куба внимательно посмотрел на офицера и вдруг ответил улыбкой на улыбку.

— Я вас тоже как будто знаю. Очень рад вас видеть.

Они пожали друг другу руки и сели рядом.

— Вместе поедem, — сказал Щепанек. — Я тоже в Рыбки, а из Рыбок в Беляву. На открытие новой школы.

— Значит, я как раз во-время, — обрадовался Куба. — Они мне писали...

— Мне тоже. Наконец-то я навещу добрых знакомых...

— Мрузов, верно, тоже? Учительницу, Тадеуша...

— А как же!

— Они и мои друзья, — похвастал Куба, но сразу

помрачнел и опустил глаза: вспомнилось ему, сколько на-терпелся Щепанек от его брата Константия. Щепанек, должно быть, угадал, отчего Куба смутился, и пояснил:

— Я виделся с Мрузом год назад. Мы вместе уезд очищали... Он мне рассказывал про вас...

Щепанек положил руку на плечо Кубы, видимо, желая ободрить его.

Как раз в эту минуту, протиснувшись между скамьями, где на узлах и чемоданах спали вповалку люди, к Щепане-ку подошел солдат. Ремешек фуражки у него был застег-нут под подбородком в знак того, что он находится при исполнении служебных обязанностей. Солдат отдал честь и протянул капитану заклеенный листок.

— Ничего из моей поездки не выйдет, — вздохнул Щепанек, прочитав бумажку. — Служба — не дружба. Кла-няйтесь, Явор, кому следует в Беляве. И с новой школой поздравьте... Скажите им, что я хотел приехать, да ничего у меня не вышло. Все-таки, черт побери, я туда приеду, и постараюсь как можно скорее...

Он уже собрался уходить и вдруг остановился.

— Запишите мой адрес. Может, он вам понадобится.

— У Мруза, кажется, есть ваш адрес?.. — неуверенно сказал Куба.

— Да, но пусть будет и у вас.

Куба достал записную книжку.

— Давайте, — поторопил его Щепанек, — я запишу ско-рее.

— Нет, я сам, сам! — живо запротестовал Куба.

«Зачем я дал Кубе адрес? — подумал Щепанек несколь-ко дней спустя после удачно проведенной операции в райо-не. — У Мруза он ведь есть...» Доискавшись, наконец, до причины, которая побудила его так поступить, Щепанек был очень недоволен собой. «Страх меня обуял... И так всякий раз, перед каждой операцией... Адрес этот как за-говор, если дам, значит, буду, должен жить... Сколько еще гнездится в нас суеверий, и когда мы от них освободимся...»

В новой школе Анна Гожек горячо принялась за рабо-ту. Не хватало учебников, школьных пособий, карт — за всем нужно было по многу раз ездить в город, добывать постепенно, ценой отчаянных усилий. Но важнее всего было то, что усилия эти, наконец, начали окупаться: с каждым днем занятия во всех четырех классах шли все лучше и лучше. Белявские крестьяне, которые посылали своих

детей раньше в немжанскую или ружанецкую школу, решились теперь же, не дожидаясь зимы, перевести их к себе в Беляву. Во время коротких зимних каникул впервые за много лет поставили спектакль. Анна очень тщательно готовилась к этому спектаклю, чтобы не ударить в грязь лицом перед теми, кто еще помнил театральные вечера у Рапачей. Правда, таких старожилов немного уже осталось. Пьеска называлась «Вертеп» у партизан». И название и многие эпизоды этого рождественского представления придумала сама Анна, желая приспособить посредственную пьеску, купленную в невыховской книжной лавке, к вкусам деревни. Еще осенью она пригласила Янека Грелю, теперь уже лицеиста, и поручила ему одну из главных ролей, хотя он всего лишь несколько раз смог участвовать в репетициях, когда навещал родителей. Янек и Ядвися, исполнявшая в пьесе роль героини, помогли собрать актерскую труппу. Нашлись охотники среди деревенской молодежи, а к ним присоединился Баланек. Сапожник-секретарь играл гитлеровского офицера. Взрослых актеров не хватило даже для половины ролей, и в спектакле были заняты главным образом ребята из четвертого класса; Баланек дико завывал и строил такие страшные рожи, что приводил в трепет маленьких партизан.

Со стихами все было хорошо, тут Анна справилась сама. Но в пении она никогда не была сильна, и ей неожиданно помог Сикора. Не обращая внимания на возражения Юстины, он перевез в школу фисгармонию Хмеля и взялся руководить детским хором. Оказалось, он не зря брал когда-то у шурина уроки. К крещению программа была готова. Куба Явор, уже с месяц живший в Ружанцах, пришел, чтобы принять участие в последних приготовлениях. Вместе с Тадеушем они соорудили в классе подмости, убрали сцену молодыми елками, а посредине из красной бумаги и электрического фонаря устроили партизанский костер. Занавес из покрывал шили все вместе.

Название пьесы было придумано удачно — слово «вертеп» звучало заманчиво, и зрители повалили густой толпой, несмотря на то, что вход был платный. Сперва они роптали, тщетно ожидая появления волхвов и Ирода, хотя сидевшие у лесного костра партизаны начали действие с веселой колядки. Потом, забыв о своих обманутых ожиданиях, увлеклись и стали все внимательнее следить за ходом событий, хорошо памятных и значительно более близких

им, чем Вифлеем. Когда храбрые разведчики, которых в сочельник оторвала от вечера внезапно возникшая опасность, вернулись из похода и вывели на сцену пленного — Баланека, кто-то гневно крикнул: «Гитлер, Ирод!» — и раздался резкий свистки. Взрослые вспомнили об избии детей около немжанского костела. Старая Юзусиха, сидевшая с краю на второй скамье, наставив уши, чтобы лучше слышать, что происходит на сцене, вдруг поднялась и плюнула Баланеку прямо на сапоги.

— Ах ты, черт этакий! — погрозила она ему кулаком.

— Тише, бабушка, — осадил Юзусиху ее светловолосый молодой сосед, — вы опять себя ведете, как маленькая.

Не опуская занавеса, труппа приступила ко второй части программы. Празднично одетые дети, стоявшие до этого под стеной, быстро взобрались на подмости и выстроились вместе с партизанами в три ряда. Под аккомпанемент фисгармонии они пропели сперва одну, а потом другую колядку — и всем очень понравилось, как хитроумно расставлены голоса: соловушка, воробей, скворец и голубок перекликаются между собой, каждый на своей ноте, а потом все голоса сливаются в общий хор. После этого зазвучали уже известные в Беяве солдатские и школьные песни, которым обучил ребят молодой Греля. Когда запели «Оку» *, Боек Явор вырвался из рук мачехи, протолкался к самой сцене и до конца пел вместе со всем хором. В заключение выступила с чтением стихов Ядвися, и старая Грелиха прослезилась, слыша, как все аплодируют ее родным детям. Но Ядвися не уходила со сцены, и сердце у матери сжалось, она прямо-таки обмерла.

— Наша труппа, — сказала Ядвися, для храбрости тряхнув кудрями, — благодарит, граждане, всех вас за то, что вы пришли на наш вечер. Мы хотели отметить здесь очень важное событие: к нынешнему новому году объединились все рабочие и трудовые крестьяне **. Это хорошо для всей нашей родины, а стало быть, и для нашей деревни. Те, кому понравилось наше представление — особенно молодежь, — приходите в школу и скажите нам, не хотите ли вы и в будущем участвовать в наших вечерах. Сбор с

* Песня Первой польской дивизии имени Тадеуша Костюшко.

** В декабре 1948 года состоялся объединительный съезд, на котором была создана Польская объединенная рабочая партия (ПОРП).

сегодняшнего спектакля пойдет на учебные пособия для самых бедных детей, а если что останется, так купим еще книг для библиотечки, и книги смогут брать все, в том числе и взрослые.

Куба проводил Ядвисю до самого дома. Они стояли на улице, пока их не позвал солтыс.

Грелиха, усердно передвигавшая горшки на раскаленной плите, сделала вид, что не заметила их появления. Впрочем, притворялась она недолго.

— Уж очень ты, Ядвиська, стала речиста... смотри, не слишком ли...

— Оставь девчонку в покое, — прервал жену Греля, — тебе бы только ворчать да плакаться, а тут и плакаться-то не на что.

— Чем вам, мамочка, плохо, что мы у вас такие? — подлизнулся к матери Янек.

Она, будто осердясь, оттолкнула сына, но все в доме отлично знали: что ни скажет или сделает Янек, матери все хорошо.

— Как там в Ружанцах? — обратился солтыс к Кубе.

— Зима — вот все и притихло. Дали мне квартиру в доме, где раньше жил садовник, а за столярную работу мне платят и гмина и уезд. У себя по хатам люди пока еще спорят, но большинство уже идет за солтысом. Башковитый в Ружанцах солтыс, умеет с народом разговаривать...

— Башковитый, говоришь, — задумчиво протянул Греля.

Жена подала голос из кухни:

— Ну, ну, старик. Никому не завидуй и пустяками не занимайся.

Ядвися и Янек, давась от смеха, многозначительно переглянулись.

После ужина Куба встал и потянулся за курткой. Солтыс удержал его за рукав, кашлянул, а Ядвися, неизвестно почему, покраснела.

Грелиха вздохнула и, словно пересилив себя, сказала:

— Оставайся у нас, ну, чего там по ночам шататься. Переночуешь с Янеком в боковушке.

Она принесла из чулана сеник, на котором спал Янек в самое тяжелое военное время, когда постелей у них не хватало.

В ту же ночь неизвестные злоумышленники опрокинули статую святого в белявской часовенке, а скромные украше-

ния изорвали и раскидали на дороге. Никаких следов обнаружить не удалось, потому что после этого выпал снег и покрыл землю. Загулял слушок, будто это приверженцы новой политики наступают на религию. Спустя некоторое время жена Баланека поссорилась с Юстиной Сикорой — обе они добивались благоволения нового законоучителя и ревновали его. Юстина попрекнула сапожницу тем, что ее Баланек отщепенец и еретик, и хоть она и бьет его по голове сапожной колодкой, а все равно у черта его не откупит. Это было сказано на людях, около кооператива. Задетая за живое сапожница огрызнулась и заявила, что Баланек хоть и проданся дьяволу, а все-таки лучше Юстины, и не по его вине статуи святых валяются на дороге в конском навозе, а Юстина знает, и притом очень даже хорошо, кто сотворил такое богохульство. Солтыс вызвал к себе обеих баб, но те с перепугу от всего отреклись и ни в чем не признались. Однако их ссора многим дала повод для размышлений и притупила жало клеветы. На собрании громады выступил с речью Мруз. Он привел несколько примеров из военных лет и напомнил крестьянам, что такое провокация и кому она на руку...

« $2 + ? = 10$ », — задумался Боек над задачей. Арифметика ему сегодня не давалась. Напрасно он качал ногой люльку. Стась орал благим матом. Хельця выгоняла из хаты курицу, а курица никак не могла попасть на порог и вдруг с отчаянным кудахтаньем, трепеща крыльями, взлетела на подоконник и шлепнулась между горшками миртов.

— Вот видишь, как я живу, черт бы их побрал, — сказал Константин, обращаясь к Мысону.

Они сидели на лавке около печки и курили. Рафал редко заходил к Яворам, да и сегодня ему сразу стало скучно.

— Пойдем лучше к нам, — поднялся он и потащил Явора к двери.

— Жена Баланека всем растрепала, что ты путаешься со своей со... — что было сказано дальше, Боек не расслышал, взрослые вышли.

« $2 + ? = 9$ ». Боек обвел глазами хату и обрадовался, увидев, что Мысонь забыл на лавке спички: легче будет считать. Но коробочка оказалась пустой. Боек долго держал ее в руке, рассматривал со всех сторон, хмурил брови. На коробочке были сделаны четыре насечки складным ножиком, кроме того, Боек вспомнил, что однажды, когда

мальчишки разводили костер, она у них сгорела. «Нашли мой тайничок, — думал он, — и даже ни о чем не спрашивали, не побили...» Он приоткрыл дверцу печи и бросил коробочку на тлеющие угли.

В марте по всем деревням разнеслась на этот раз достоверная весть о том, что ружанецкие крестьяне решили совместно вести хозяйство. Из тех, кто недавно получил землю, отказались только одиннадцать человек: они держались заодно с богачами, которые по-старому цеплялись за свое хозяйство. Новость была важная, ничего похожего до сих пор не случалось нигде во всем уезде. В Ружанцы съезжались делегации и разные комиссии, да и отдельные крестьяне из любопытства приходили сами посмотреть первый великий сев на полях, более обширных, чем когда-то у помещика. Куба Явор купил велосипед и почти каждое воскресенье приезжал к Грелям. У солтыса собирались соседи, а иной раз послушать новости являлись гости из Ждзор и из Немжи.

— Значит, из помещичьего брать...

— Конечно. А кто задаром берет, недолго удержит.

Баланек рассуждал вполголоса:

— Какое поле, такая и воля.

Его не поняли, и Баланеку пришлось пояснить:

— В Ружанцах земля лучше, чем у нас. Может, им стоит попробовать. Хотя и трудно поверить, чтобы кому-нибудь хотелось на общественном, как на своем...

— На наших песках, — поддержал Баланека сосед, — хоть целую гору селитры раскидай да надорвись на работе, все равно ничего не выйдет. Гни хребет да как-нибудь терпи.

— И мне так сдается, — огорченно вздохнул Греля.

— Да ну, солтыс! — вспыхнул Гдовяк из Немжи, который часто теперь навещал Грелю. — Помните, что управляющий Шиц-Нивиских говаривал про нас, мужиков? «Мужик — остопоп, скотина, дерьмо, пороху не выдумает, навозом живет, в навозе и сгниет». Что же так всегда и должно быть? Авось, небось да как-нибудь? — И он обратился к Кубе: — Явор, разрешите мне у вас на квартире остановиться, когда я в Ружанцы приеду. Надо мне хорошенько присмотреться...

Съездил он разок-другой, присмотрелся, и в Немже забеспокоились. Ксендз-настоятель Заблуда с амвона недвусмысленно намекнул, что надвигается беда.

— Горе искусителям, — сказал он проникновенно и весьма выразительно. — Лучше им камень привязать на шею и утопить на глубоком месте...

Гминный комитет в Немже вызвал из уезда агронома. Шли совещания по вопросу о закупке искусственных удобрений и селекционных семян. Бабы встревожились, запретили мужьям подписывать долговые обязательства. Гдовяк снова поехал в Ружанцы договориться с начальником машинной станции, чтобы им на пробу дали селлку.

В понедельник ранним утром Куба Явор возвращался на велосипеде от Грелей. Теперь они часто оставляли его ночевать. На строительство он являлся к семи часам. Сейчас у него еще оставалось немного свободного времени. Обычно, когда Гдовяк один ночевал на холостяцкой квартире Кубы, он утром поджидал его и кормил горячим завтраком.

— Как, вы еще спите, Гдовяк? — удивился Куба, заглянув в комнату. В неверном утреннем свете одеяло, которым укрылся его гость, показалось Кубе не то странно потемневшим, не то мокрым. «Напился, что ли, Гдовяк?» Куба откинул одеяло. Гдовяк лежал навзничь с проколотым горлом. Рукоятка кухонного ножа торчала под подбородком. Крови вытекло немного.

Куба кинулся в сени, а оттуда на улицу, чтобы позвать людей. В открытую дверь проникли лучи восходящего солнца. И, еще до того как на его крик сбежался народ, Куба обнаружил убийцу. На перекладине лестницы, ведущей на чердак, висел на веревке ружанецкий садовник Рендзиковский.

Куба смотрел на посиневшее лицо самоубийцы. Ненависть, отвращение и изумление заглушили в нем все другие чувства. Наконец, он отвел глаза и, охваченный ужасом, сказал про себя с горьким чувством облегчения:

— Это он мне хотел всадить нож в горло.

На следствии выяснилось, что пастухи видели, как садовник вырывал из земли картофель и тут же ел его сырым. Обнаружилось также, что крестьяне однажды встретили его в лесу: обезумевший от страха и одиночества, он похож был на дикого зверя. Садовник убежал от крестьян, им не удалось его подманить; даже вид еды не соблазнил безумца, а меж тем в деревне были люди, которые помогли бы ему. С тех самых пор как он ускользнул от облавы, Рендзиковский в течение полутора лет где-то скры-

вался, пока, наконец, не вернулся домой за чужой и своей смертью.

Гдовяка хоронили в Немже очень торжественно и без ксендза. Пожилых людей из местных жителей пришло мало, зато собралось много молодежи, явились ученики окрестных школ с учителями, гминные и громадские власти. Приехали крестьяне из ружанецкого товарищества, из ближних и дальних мест прибыли друзья покойного, дружившие с ним еще в довоенное время или сражавшиеся вместе с ним в партизанском отряде. Никогда еще Немжа не видела, чтобы столько народу провожало умершего в последний путь, и не слышала таких песен, как сегодня, в час последнего прощания с Гдовяком. И хотя хоронили его не по обычаю, хотя за гробом несли знамена, а не хоругви, немжанские жители почтили память погибшего скорбным молчанием. Глядя через окна на траурную процессию, они говорили: «Их сила. Сколько тут нездешнего народу... Видно, держатся друг за дружку...»

Только теперь встретился Щепанек со своими старыми друзьями, но ненадолго: сразу после похорон он должен был вернуться в город, да и момент для приветствий и бесед был неподходящий.

На могиле выступили с речами староста Войтан, Соляж и ружанецкий солтыс. Мруз стоял рядом со Щепанеком, они несли большой венок из только что зацветшего терновника. Касаясь друг друга, они чувствовали, как дрожат у них руки.

Повернувшись к Кубе, Греля прошептал с глухой злобой:

— Не один садовник в этом деле замешан. Войтан это хорошо понимает. Честного человека убили, бешеные собаки!..

— Жалко вам его... — скорее подтвердил, чем спросил Куба.

— Ну конечно. Чему только не научил меня Испанец.

— Вот видите, солтыс. Видите.

— Да. Учат нас бдительности и наши, и те. Только ты у меня теперь смотри, береги себя, сынок...

Похороны состоялись после полудня. Из костела доносились печальные песнопения о страстях господних...

Збышек Сикора не мог дожидаться, когда Юстина вернется из костела; он приготовил Анельце ужин, уложил ее спать и пошел в деревню. Возвратился он поздно, в голове

у него шумело от выпитого в кооперативе вина. Збышек залился на продавщицу, которая не дала ему третьей бутылки, почти силой вытолкала ночных гостей за дверь и заперла магазин.

Юстина уже спала. Он лег на другой кровати, рядом с Анельцей. Жаркое весеннее солнце за день прогрело комнату, и Збышеку было нестерпимо душно. Он долго ворочался с боку на бок, придвинул к себе лампу вместе со столом, в руках у него зашелестела газета. Не много понял Збышек из того, что прочел в газете. Мысонь снова пугал его, уверяя, что от дела ружанецкого садовника могут потянуться нити ко всяким историям из времен оккупации.

— Сглупил ты, Збышек, что сразу тогда не явился с повинной, пока было время, — иронически сочувствовал ему Мысонь.

— А ты? — в свою очередь наступал Сикора. — Почему ты не явился?

— Я присяги никому не давал, ни к какой организации не принадлежал. У меня документы в порядке.

Не успел Збышек попрощаться с Рафалом, как собутельники в кооперативе стали ему нашептывать, что Юстина у него совсем распустилась, что он, видно, не умеет ее держать в руках, что она и к викарию бежит, и с Мысоном ее уже несколько раз заставляли врасплох.

«Мстит Рафал за свою...» Збышек не испытывал злобы ни к нему, ни к Юстине. Его мучило собственное равнодушие, это было непривычное странное чувство, точно ему не хватало воздуха и в груди стеснило дыхание. Он читал заголовки газетных статей, смутно понимал, что где-то происходит много интересных событий, что можно было бы туда пойти или поехать, стоит только снять шапку с гвоздя, надеть сапоги и выйти за дверь, за калитку, на улицу, а там по дороге двинуться прямо вперед... Быть среди других людей, что-то делать, но что? «Сколько мне лет? — подумал он вдруг. — Двадцать девять! И так пройдет вся жизнь».

Заглушая готовый вырваться стон, Збышек закусил угол подушки. Услышав вздох Юстины, он понял, что она проснулась и насторожилась. Юстина не выдержала:

— День и ночь читаешь ты свои газетенки, все читаешь, читаешь...

Молчание.

— Одуреешь только от них — вот и все. Того, чего

тебе хочется, в них не вычитаешь. Даст бог, все само изменится.

— Душно здесь, Юстина.

— Отворить окно?

— Отвори.

— Павел письмо прислал.

Молчание.

— Жалуются, что его теперь не уважают так, как раньше. Дали место в Небожине, да не очень важное. Школу там новую открыли, гимназию, что ли, не поняла я. Потуши-ка лампу, раз окно открыто, а то всякая мошкара уже наплодилась, летит на свет...

— Тогда лучше затвори окно.

— Ты ведь сказал, что душно.

— Не душно, а холодно.

— Укрыть тебя еще чем-нибудь?

— Не надо. Я сейчас потушу свет.

— Разве станет теплее, если потушишь?

— Да нет. Это я просто так. Лучше я еще почитаю немножко...

— Глаза портишь.

— Так потушить?

— Потуши. Иди ко мне. А то Анельцю разбудим...

— Хорошо. Юстина, где ты столько времени пропадала сегодня?

— На страсти ходила.

— А потом?

Юстина прижалась к Эбышеку.

— Я думала, тебе уж совсем не интересно, что я делаю.

— Ну, ну, говори.

— Ты не рассердишься?

— Нет.

Она вздохнула.

— Как подумаю иной раз, так кажется мне, что не муж и жена мы с тобой, что каждый по-своему думает. А сегодня тебе опять хочется со мною поговорить. Да?

— Да так как-то...

— Иначе и быть не должно. Как мне хочется все тебе рассказывать... всегда...

Молчание.

— Я к законоучителю заходила. За ножницами.

— За ножницами?

— Послушай. Меня ужасно разозлили эти похороны.

у него шумело от выпитого в кооперативе вина. Збышек залился на продавщицу, которая не дала ему третьей бутылки, почти силой вытолкала ночных гостей за дверь и заперла магазин.

Юстина уже спала. Он лег на другой кровати, рядом с Анельцей. Жаркое весеннее солнце за день прогрело комнату, и Збышеку было нестерпимо душно. Он долго ворочался с боку на бок, придвинул к себе лампу вместе со столом, в руках у него зашелестела газета. Не много понял Збышек из того, что прочел в газете. Мысонь снова пугал его, уверяя, что от дела ружанецкого садовника могут потянуться нити ко всяким историям из времен оккупации.

— Сглупил ты, Збышек, что сразу тогда не явился с повинной, пока было время, — иронически сочувствовал ему Мысонь.

— А ты? — в свою очередь наступал Сикора. — Почему ты не явился?

— Я присяги никому не давал, ни к какой организации не принадлежал. У меня документы в порядке.

Не успел Збышек попрощаться с Рафалом, как собутельники в кооперативе стали ему нашептывать, что Юстина у него совсем распустилась, что он, видно, не умеет ее держать в руках, что она и к викарию бегают, и с Мысоном ее уже несколько раз заставляли врасплох.

«Мстит Рафал за свою...» Збышек не испытывал злобы ни к нему, ни к Юстине. Его мучило собственное равнодушие, это было непривычное странное чувство, точно ему не хватало воздуха и в груди стеснило дыхание. Он читал заголовки газетных статей, смутно понимал, что где-то происходит много интересных событий, что можно было бы туда пойти или поехать, стоит только снять шапку с гвоздя, надеть сапоги и выйти за дверь, за калитку, на улицу, а там по дороге двинуться прямо вперед... Быть среди других людей, что-то делать, но что? «Сколько мне лет? — подумал он вдруг. — Двадцать девять! И так пройдет вся жизнь».

Заглушая готовый вырваться стон, Збышек закусил угол подушки. Услышав вздох Юстины, он понял, что она проснулась и насторожилась. Юстина не выдержала:

— День и ночь читаешь ты свои газетенки, все читаешь, читаешь...

Молчание.

— Одуреешь только от них — вот и все. Того, чего

тебе хочется, в них не вычитаешь. Даст бог, все само изменится.

— Душно здесь, Юстина.

— Отворить окно?

— Отвори.

— Павел письмо прислал.

Молчание.

— Жалуются, что его теперь не уважают так, как раньше. Дали место в Небожине, да не очень важное. Школу там новую открыли, гимназию, что ли, не поняла я. Потуши-ка лампу, раз окно открыто, а то всякая мошкара уже наплодилась, летит на свет...

— Тогда лучше затвори окно.

— Ты ведь сказал, что душно.

— Не душно, а холодно.

— Укрыть тебя еще чем-нибудь?

— Не надо. Я сейчас потушу свет.

— Разве станет теплее, если потушишь?

— Да нет. Это я просто так. Лучше я еще почитаю немножко...

— Глаза портишь.

— Так потушить?

— Потуши. Иди ко мне. А то Анельцию разбудим...

— Хорошо. Юстина, где ты столько времени пропадала сегодня?

— На страсти ходила.

— А потом?

Юстина прижалась к Збышеку.

— Я думала, тебе уж совсем не интересно, что я делаю.

— Ну, ну, говори.

— Ты не рассердишься?

— Нет.

Она вздохнула.

— Как подумаю иной раз, так кажется мне, что не муж и жена мы с тобой, что каждый по-своему думает. А сегодня тебе опять хочется со мною поговорить. Да?

— Да так как-то...

— Иначе и быть не должно. Как мне хочется все тебе рассказывать... всегда...

Молчание.

— Я к законоучителю заходила. За ножницами.

— За ножницами?

— Послушай. Меня ужасно разозлили эти похороны.

Хорошо, что ты не видел, ты бы в ужас пришел. Вот еретики! Хоронить без ксэндза, без отпевания! А сколько красных полотнищ, а сколько венков с красными лентами! Некоторые бабы даже плакали, стоя под костелом и глядя на все это.

— Ну, еще бы. Жалко человека.

— Да нет же... Это они от злости...

— Такие вы злые?..

— А ты как думаешь? Сговорила я с одной немжанкой, из нашего братства, растолковала ей все, так, мол, и так — а я уж заранее все обдумала, словно откровение на меня нашло. Она мне и говорит: «Нет, не решусь». «Как не решишься? Пойти на наше христианское кладбище? Вдвоем?» Подождали мы, пока стемнеет.

Она приподнялась, оперлась на локоть, в шепоте ее звучало торжество.

— Я семь лент с венков срезала, семь! Последняя в терновнике запуталась, пришлось ее оставить... Что ты делаешь?

Сикора встал и зажег свет.

— Где они у тебя? Покажи.

— Я только одну взяла... На что мне...

— Покажи.

Вздыхая, она вылезла из-под перины, взяла со стола лампу и пошла на кухню. Збышек последовал за нею.

— Та баба, из Немжи, — продолжала она рассказывать, — наволочку сошьет для думки, шести лент хватит... А мне не нужно...

— Живей, Юстина. Где она у тебя?

Юстина показала рукой на порог и злобно прошипела:

— Красная тряпка... Я пол ею мыла.

— Ну-ка, подними.

Она повернулась к нему лицом, подняла вверх лампу. Стекло тихо зазвенело, словно зажужжал комар.

— Ты что это...

— Подними, подними!

Он взял у нее лампу и поставил на выступ печки. Юстина нагнулась и подала ему серую, мокрую тряпку.

— Выстирай. Сейчас же!

Она дрожала теперь от страха, а Збышек стоял и ждал, пока она кончит. Вода в корыте сразу помутнела. Збышек сам ее выплеснул за порог и налил чистой. Мало-помалу восстановился первоначальный пурпурный цвет ткани.

Юстина выжала ленту, не разгибаясь и не поднимая головы, расправила ее на руке. На спине у нее под ситцевой рубашкой от беззвучного плача поднимались и опускались лопатки.

Збышек оделся, обул сапоги, снял с гвоздя шапку.

— Бандит невинного человека... а ты... — голос у него пресекался, он вырвал у жены мокрую ленту и выбежал на крыльцо.

Она кинулась за ним, настигла его у калитки.

— Так вот ты какой... — она задышалась от ненависти. — Все, что я делаю, не нравится тебе... не боишься кары господней...

— Отойди! Отойди, гадина!

Она не отпускала его; Збышек насилу вырвался и так толкнул ее, что она зашаталась. Юстина бежала за ним, а он уходил размашистым шагом. Она не отставала.

— Куда ты... — кричала она, и в голосе ее звучали страх и презрение. — Жаловаться? На меня? На меня?

Збышек поднял ком земли и замахнулся. Юстина остановилась. Он несколько раз оглянулся — около мостика все еще белела ее рубашка.

С кладбища он вернулся перед самым рассветом.

Юстина поставила для него около кровати кружку горячего молока.

— Зачем же сразу так, — примирительно начала она, но тут же замолчала. Лицо у нее было прозрачно-желтое, а под чуть раскосыми глазами легли синие тени.

Он выпил молоко, отодвинул кружку и закрыл глаза.

— Не знаю, Юстина, как с нами будет. Не могу я, не могу смотреть на тебя.

Несколько дней спустя она ушла из дому, оставив на столе под хлебницей записку, что за вещами и Анельцей придет отца. Старый Хмель медлил с приездом, наконец они явились вдвоем, и как-то так получилось, что Хмель уехал, а Юстина осталась.

— Юстинка сильно кашляет, — сказал Хмель на прощанье, уже сидя в бричке. — Ты, зять, побойся греха, приглядывай за ней...

Юстина и потом убегала — за полтора года, должно быть, раз шесть, это уж вошло у нее в привычку. Иногда ее привозил домой отец, иногда батрак Хмелей. Только один раз она съездила к Павлу в Небожин, но пробыла там очень недолго — не поладила с невесткой, важной

дамой. Даже Анельця уже привыкла к тому, что матери по неделям не бывает дома и что не надо плакать, когда она достает из шкафа и укладывает в корзинку свои платья и темные косынки.

Сикору словно подменили; он стал аккуратнее одеваться и редко заходил в кооперативную лавку. Только попрежнему ему не очень хотелось возиться с хозяйством, и, чтобы как-нибудь просуществовать, он продавал то, что у него осталось после смерти родителей. Дома он держался спокойно и тихо, разговаривал мало, дочке разрешал всякие шалости. Даже с Мысоном он теперь ладил, жил с ним по-добрососедски. Збышек сдал ему в аренду несколько моргов земли, потребовав взамен, чтобы Мысонь только помог ему выполнить поставки. Сикору навещал Мруз, иногда заглядывал к нему Куба Явор, раза два заходила учительница и уговаривала его принять участие в конкурсе на лучшее чтение. Он ни от чего не отказывался, но ничего и не обещал. Если Юстина бывала дома, то сидела по привычке за пяльцами, изредка поднимая глаза от шитья. Трудно ей стало вышивать — пальцы огрубели от работы в хлеву и на соломорезке.

Пришлось Юстине теперь помогать мужу по хозяйству. Если муж просил ее подать чай гостям, она краснела, потому что в доме вечно чего-нибудь недоставало. Гость поднимался в замешательстве из-за стола, не зная, как загладить неловкость хозяина. Сикора горячился, удерживал его.

— Подождите, подождите... — и потирал лоб, словно хотел вспомнить что-то важное и не мог.

— Чудной Сикора, чудной, — сочувственно говорил солтыс. — Не барин он, не мужик, не нищий. И чего он так загрустил... Из-за бабы?

Однажды Сикора увидел в окно, как Анельця играет с Болеком Явором. Это было в один из тех дней, когда Юстина снова ушла в Рыбки. Он позвал детей в дом.

— Болек, знаешь, что мне пришло в голову? Это ты пел тогда «Оку» в школе? Ну, когда было представление и выступал хор?

— Какую «Оку»?

Сикора поднял крышку фисгармонии и одним пальцем наиграл мотив.

— Ах эту?.. — обрадовался Болек. — Знаю.

— А играть еще умеешь? Ты ведь учился в Рыбках...
Добрая была пани, к которой ты ходил?

— Э! — скривился мальчик. — По рукам била...

— Вот видишь, вот видишь, — подхватил Сикора. — Все они такие, вся семья... Ну, садись, попробуй. Сыграй «Оку».

Болек ошибался, ворчал сам на себя, по три раза поправлялся, ища нужную ноту.

— Забыл... Что ты, Болек, думаешь делать, когда вырастешь?

Болек беспомощно на него поглядел, не понимая, о чем идет речь. Анельця даже глаза вытаращила, услышав такой необычный разговор.

— Ну, что тебе по душе? Кем бы ты хотел стать? Трубочистом, ксендзом, доктором?

Болек опустил голову и упрямо пробормотал:

— Я коров пасу, в школу хожу...

— Да. Ну, а потом, когда подрастешь?

Болек задумался.

— Я хотел бы играть на свадьбах.

Сикора похлопал его по плечу.

— Приходи, Болек, к нам. Прямо сюда, в хату. С Анельцей поиграешь, а захочешь, так мы с тобой сыграем, вспомнишь, что забыл, и я заодно с тобой подучусь...

— Лучше всего в воскресенье, как сегодня, — оживился Болек, — а то в другой день меня папа не пустит.

В ту осень Анельця пошла в школу.

Проводил ее отец, а вернулась она с Болеком. Анельця разрешила ему надписать ее имя на первой тетради. Болек постарался вывести как можно красивей: «Анеля Сикора».

И немного ниже «I кл. 1950 г.».

XIV

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

В первые два года школьных занятий Болек ничем не отличался, да и на третий год мало привлекал к себе внимание. Анна не оказывала ему особого покровительства, потому что в школу ходили еще более бедные дети и притом они были гораздо прилежнее и старательнее. А может,

она все еще не могла забыть своей горькой обиды на Явора. Как и многие дети белаявской бедноты, Болек тянул тяжелую лямку. Неряшливый, оборванный, как нищий сирота, он неаккуратно посещал школу, в классном журнале против его фамилии все росло количество палочек, обозначающих число пропущенных уроков. Отец попрежнему заставлял его пасти коров, взваливал на него всякую другую работу — и это казалось мальчику вполне естественным. Мачеха и старая Быська не смели перечить Константию, хоть иной раз и жалели Болека.

В первый день нового 1951 года на почту в Рыбки прибыла посылка из Америки, адресованная в Беляву Альдоне Рапач. Почтовая служащая когда-то была хорошо знакома с Терезой; она позвонила по телефону в Невыхов, советуясь, как поступить.

Тереза ответила:

— В Беляве у Альдонки остался сын, Болек Явор, посылка принадлежит ему. Не хочу я в эти дела вмешиваться, да и не желаю знать, что там брат Роман посылает. Поздно вспомнил он про семью, да, кстати, и не про меня... Недоставало только, чтобы Яворы подумали, будто я...

Из всего содержимого посылки Явор отложил для Болека поношенные, но еще крепкие башмаки, совсем не детские по размеру. «Подрастет, — сказал Явор, — тогда и получит». Но еще зимой Константин передумал и стал сам надевать их в парадных случаях, чтобы они в шкафу не ссохлись. Большую часть вещей Яворы оставили себе, а те, которые не отвечали их белаявским вкусам, продали. Бабке очень не нравилась подаренная ей пестрая блузка, старуха отплевывалась и от консервированных фруктов, пресных, как тыква, и приторно сладких. Их съели с клецками, и Константин, которого новое блюдо привело в веселое настроение, все напевал:

Каська на печь, Мацек следом,

Клецки с тыквой за обедом...

Явор послал Роману Рапачу благодарственное письмо и велел Болеку своей рукой написать страничку. Заранее все обдумав, он продиктовал мальчику сердечные приветы дядюшке. Письмо подействовало: после пасхи почтальон принес из гмины извещение о новой посылке. В тот день дома был один только Явор, он угостил почтальона сивухой, и

они быстро договорились. Как только Явор получил посылку, он сразу распродал все вещи, а семье ничего не сказал. Некоторое время он пил мертвую. Но так как Константин не сдержал слова и заплатил почтальону гораздо меньше, тайна вышла наружу. Пришел Куба и пригрозил, что все расскажет Соляжам и подаст в суд, потому что Константин вор и обкрадывает собственного сына. В первый раз дело у братьев дошло до драки. Гунда не вступилась за мужа: ее глубоко обидело его предательство. В ее памяти всплыли прежние проделки Константия, — и теперь, когда ночью муж ложился рядом с нею, грубый, грязный, провонявший водкой, он был ей ужасно противен. Гунда часто вспоминала покойницу Альдону и плакала. Она пошла к исповеди и призналась ксендзу в своих дурных мыслях, но он ее выбранил, строго-настрого приказав соблюдать супружеское послушание. «Так богу угодно», — наставлял ее ксендз, и Гунда, предавшись горестным грешным размышлениям, никак не могла понять, почему ей так трудно уверовать в божий промысел.

Константий злился, скрежетал от ярости зубами. Ему уже казалось, что он открыл золотоносную жилу, он рассчитывал немало выкачать из американского Рапача. Короткое, сухое письмо, которое вскоре получил Константин, свидетельствовало о том, что кто-то на него пожаловался. Рассудив, что это ему удружил брат, Явор вспыхнул жаждой мести и решил дожидаться только удобного случая.

В ту весну солтыс Греля, к удивлению всей деревни, пустился в первое в своей жизни и к тому же необыкновенно дальнее путешествие. Крестьянскую делегацию от всего воеводства возглавлял Юзеф Соляж. Жена Грели получала открытки из далекой Москвы, потом с Украины, а напоследок из Варшавы. Прошло больше месяца, и, наконец, явился сам солтыс. Его трудно было узнать, так он подковался и так смело обо всем рассуждал; ему столько надо было рассказать своим односельчанам, что он прямо не знал, с чего начать. Сперва он похвастал отрезом на костюме, который ему, как и другим членам делегации, поднесли в подарок рабочие-текстильщики. Соседи диву давались, зажигали спичку и проверяли, чистая ли шерсть, завидовали. Они расспрашивали солтыса про колхозы и никак не могли поверить его необычным рассказам, хотя знали, что Греля не станет врать.

— То ли все что просто чудо, — размышлял вслух

шурин Грели, головастый, сутулый мужик, напоминавший кривой ствол ивы, — то ли вас всех через машины пропустили и поэтому ты, Шимон, так переменялся...

— Через много машин, — подтвердил Греля. — Машин у них пропасть... Не граблями они человека меняют, а вот что переделывают... — и он постучал пальцем по лбу.

— Признавайтесь, солтыс, — сказал кто-то из гостей прямо-таки просительным тоном, — ну пусть уж и правда то, что вы говорите, а все-таки есть тут пропаганда... Ну, хоть немножко уступите!.. В колхоз велят идти?

— Хотите верьте, хотите нет, — подумав, ответил Греля. — Только я очень ко всему прислушивался, и сдается мне, что никто неволить нас и силком загонять в колхозы не собирается. В нашей это воле, как поступить — умно или глупо. Жизнь научит каждого, может, научит и нас. Нравится нам в нужде жить, что ж, поживем еще в нужде... И пускай ваши дочери, сосед, к Мысоням на работу бегают... И пускай каждый друг у дружки на поле втихомолку ворует, когда своего не хватит... И пускай всю жизнь в собственном навозе роется и вилами ветер сгребает... Что ж, нам не привыкать стать, но уж дети наши... Как ты думаешь, Ядвися?

— Что я! — отмахнулась девушка. Она стояла у окна, глядя в темноту и теребя на шее нитку мелких бус. — Мне уже здесь недолго быть.

Подойдя к матери, Ядвися тихо спросила:

— Мама, у нас сегодня пятница или суббота?

— Да что ты! Конечно, суббота.

Ядвися вернулась к окошку. Некоторое время спустя, услышав на дорожке у калитки скрип знакомых шагов, она выбежала во двор.

— Вы вот тут рассказываете, — с обидой в голосе сказал Нехоцкий, — а все это пустые разговоры — лучше у нас не стало. Дурацкой пряжки для уздечки в лавке не достанешь. Курам на смех! Все Рыбки вверх дном переверни, крючков бабе не найдешь. Вот! — Он с издевкой показал на свои штаны. — На честном слове держатся, застегнуть нечем...

Белый лоб Грели стал таким же красным, как его загорелые щеки.

— Не прячьте, Нехоцкий, в Жджорах излишков. Накормите рабочего, который делает пряжки и пуговицы, скорее их достанете. С неба они не свалятся. А что до того, ста-

ло у нас лучше или нет, так советую вам высунуть нос из Белявы и из Рыбок.

— Знали, кого послать поглядеть на чудеса. Ретивого выбрали.

— Вовсе не ретивого, — вскипел задетый за живое солтыс. — Туда много таких поехало, как я. Ни о чем мы понятия не имели. И повезли нас только за тем, чтобы научить шевелить мозгами. И вам, Нехоцкий, пригодился бы такой урок, а то сидите вы тут дурак дураком.

— Набрались ума! Столичная штучка стали...

— Шимон, — вмешалась жена солтыса, — отпусти соседей домой, отдыхать пора...

Когда гости ушли, она озабоченно положила ему на плечо руку.

— Боюсь я, как бы чего худого не вышло из того, что ты рассказываешь... Не разбираюсь я, но только слушать страшно, даже сердце болит... Хоть бы уж Куба толком сказал... Да и разве я знаю, верное у него дело в руках или нет? Могла бы дочка кого-нибудь получше найти, глупая... — Она вздохнула. — Одни огорчения, одни огорчения...

Греля задумался и, казалось, не слышал, о чем говорит жена.

— Ты погляди, мать, как время летит... Месяцев через шесть пойдет наш Янек еще выше, в институт... Мать! — Он выпрямился, его выцветшие глаза заблестели от счастья. — В Беляве еще не бывало такого. Подумай: инженер!

Они поглядели друг на друга с удивлением и даже как будто замешательством, словно вдруг раскрылась тайна, которую каждый хранил про себя.

Грелиха встрепенулась.

— И про дочку надо подумать. Ну, ступай, поищи Ядвисю, да и его позови.

— Ты всегда права...

Соляжи узнали от Янека Грели, что с Болеком неладно — учительница велела им передать, что они должны напомнить о себе Явору, надо дать ему понять, что и на него есть управа, а то он совсем обнаглел и ее замечания ни в грош не ставит. Как раз в эти дни Соляж должен был выступать с докладом в Ружанцах, заодно он решил побывать и в Беляве. Не останавливаясь, прошел он мимо хаты старой Быськи, мельком взглянул на стреху, которая провалилась по обе стороны трубы и с этой раскрытой тру-

бой была похожа на тощую индюшку с ошипанными перьями. Соляж направился прямо в школу и там подробно расспросил про Болека. Все вышло наружу. Учительница послала за Яворами, но пришла только Гунда. Соляж оставил женщин вдвоем, а сам пошел искать Константия.

Гунда смиренно выслушала все упреки и вдруг начала всхлипывать. Не вытирая слез, она торопливо заговорила, словно опасаясь, что учительница прикажет ей замолчать:

— Я знаю, я все знаю, долго в душе это таю, ксендз меня тогда подговорил, да и другие науськали... Вы на меня сердитесь, пани, как же иначе, я ведь тоже сердилась бы, если б меня да кто-нибудь этак, а теперь вот вы, пани... Да что же я могу поделаться, чем горю пособить, мужик-то ведь злой, дома я пикнуть не смею, такое мое житье. Как собака, как собака! Уж вы на меня, пани, не сердитесь, мне и так жизнь не мила, в пору руки на себя наложить...

Гунда сунула руку под большой платок.

— Петушка я вам принесла, не побрезгайте...

И чтобы Анна не отказалась, торопливо прибавила:

— Ничего не поделаешь, пани, придется принять. Я уж голову ему отрубил.

Соляж нашел Константия на лугу, где тот косил сено, и выложил ему все начистоту.

— Берегись, Костек, не обижай мальчишку. Если бы не он, вы бы давно с сумой пошли — и ты, и твоя Гунда. За его счет, за счет маленького Болека живете. Запомни: чужим пользуешься, не ты наследник. Будь Боек постарше да поумнее, ты бы, брат, по-иному запел.

Учительница проводила Соляжа до опушки леса. Он вел велосипед по колее, так было легче; Анна рассказывала ему про всякие первоочередные и мелкие школьные нужды.

— Надо опять помочь нам, — говорила она. — Сдвинуть дело с мертвой точки. А то ведь это просто позор, безобразие. Две классные комнаты в школе пустуют, а я по-прежнему одна и попрежнему у нас только четыре класса. В пятом, шестом и седьмом классах наши дети учатся в чужих школах. Что же, так оно и будет? Надо проверить, кто вставляет палки в колеса? Несчастливая Беява, во всей Польше, видно, самая позабытая...

Соляж поглядел Анне прямо в глаза.

— Вспомните, что было еще два года назад. До сих пор мы отовсюду выгребаем и выметаем кучи мусора — накопились ведь его целые горы. Не отчаивайтесь, скоро и до Беявы дойдет очередь. Подумайте только, — он даже остановился, увлеченный этой мыслью, — взять хотя бы электрификацию: во все деревни и местечки вдоль шоссе уже проведен свет. Почти половина уезда! А ведь это только второй год планового хозяйства. Через пять-шесть лет вы не узнаете Беявы.

— Беява далеко от шоссе...

— Будет ближе, когда эта Сахара, — он сердито pokrutil переднее колесо, — превратится в мощеную дорогу.

— Смотрите, ловлю вас на слове, я вам напому.

— Ладно. Буду помнить.

Некоторое время они шли молча.

— Иной раз, — жаловалась Анна, — иной раз так станет тяжело, так грустно. Прочтешь в газете, какие пьесы играют в театрах, что идет в кино, а тут за окном деревья шумят, корова где-то промычит, курица прокудахнет, что яйцо снесла, и покажется тогда, что земля вращается не одинаково, что всюду жизнь кипит и только в одной Беяве мертвая тишина... Однако довольно скулить. Хорошо, что хоть утешили, и на том спасибо.

В голосе ее прозвучали такие нотки, что Соляж насторожился.

— А как у вас с Тадеушем? — спросил он.

— Ничего. Тадеуш хороший человек. Он бы горы своротил, если бы мог. — Помолчав, она добавила тише: — Я ему очень благодарна.

— Передайте ему, чтобы зашел ко мне, когда будет в Невыхове.

Анна кивнула головой, но тотчас, словно недовольная собой, дотронулась до руки Соляжа. Он взглянул на нее.

— Он стесняется вас.

Соляж в недоумении остановился.

— Стесняется, стесняется, — настаивала она, — я знаю это, вижу, хотя он ничего мне не говорит. Вы вперед продвигаетесь, а он топчется на месте. Ему жаль теперь, что он упустил время, ничему не учился... Тайком от меня книжки читает, даже когда в лес уходит, берет с собой книжку, но так, чтобы я не видела... А чего он от меня таится? Неужели я ему не помогла бы? Но он хочет сам, все сам. И поэтому я, поэтому я... все еще...

Ветер растрепал ее волосы, она откинула прядь, упавшую на глаза, и не договорила.

— Понимаю, — пробормотал Соляж. — И со мной раньше так было. Хорошо, что вы мне об этом напомнили. Пришлите его ко мне.

Все знали, что Соляж занимается политикой, и Явор испугался. Теперь он сам следил, опрятно ли одет Болек и каждый ли день ходит в школу. Старания его были напрасны, мальчик не сумел наверстать потерянные месяцы. Учительница пыталась помочь Болеку и оставалась с ним после уроков. Мальчик от этого совсем растерялся, в голове у него все перепуталось. Анна не знала, что делать — оставить ли его, или, невзирая, на все двойки, которые он нахвата, перетащить в четвертый класс.

— Если бы ты один такой был в школе, — вздохнула она, — я бы как-нибудь с тобой справилась. Но всех отстающих не вытянуть, да вы бы сами потом жалели. Останешься еще на год в третьем классе. Ты рано начал, тебе тогда только седьмой год пошел, немного потеряешь.

— Папа избьет... — всхлипнул Болек.

— Отцу я объясню, не бойся. Ты меньше всего виноват...

Явор не избил Болека, когда узнал о решении учительницы. Он дал сыну покурить свою сигарету и весело хлопал его по спине.

— До десяти будешь считать — и то не пропадешь. Кучером будешь, барышником или купцом, как Пореш. Разве ему плохо? Мстит нам эта дохлятина, — он погрозил кулаком в сторону школы, — а ты не робей. Плюнь на нее, Болек, как на собаку. Мы ей еще покажем, где раки зимуют...

— Константин! — воскликнула Гунда. — И не думай!

— Заткнись, — прикрикнул он на нее, даже не рассердившись.

К осени учительница установила у себя радиоприемник — первый радиоприемник в Беляве. С тех пор как ей дали в школе комнату, Анна работала в ней после уроков и не всегда возвращалась домой, тем более, что Тадеуш довольно часто уезжал то в лес на ревизию, то на конференции и совещания, продолжавшиеся два-три дня. Анна находила горькую прелесть в этой наполовину совместной, наполовину независимой жизни с частыми разлуками и радостными встречами, жизни, свободной от притупляю-

щей чувство обиденщины. Тадеуш покорно подчинился всем ее желаниям. Иногда он заходил к ней после окончания дневных уроков и, так же как в те времена, когда Анна жила у Мысоней, сидел допоздна, пока она работала, никогда не зная, пойдет ли она с ним, попросит ли остаться или отпустит одного.

— Ускользаешь ты от меня, Аня, вечно ускользаешь, — жаловался он иногда, и его хмурые глаза, утратившие с годами свой блеск, светились прежним упорством.

В октябре Анна перенесла радиоприемник в класс, и дети благоговейно слушали передачи для школьников. Теперь по вечерам учительница оставалась в классе и не раз, готовясь к занятиям и исправляя тетради, слушала передачи варшавской радиостанции вплоть до последнего возгласа «Покойной ночи!»

У Яворов меж тем родился еще один ребенок. Константи́й, хоть и был недоволен, но громко хвастал, будто нашел верный способ плодить сыновей — Хельцю, мол, нечего считать, она явилась на свет божий девочкой, чтобы доставить удовольствие Гунде. Мысонь, крестный отец, посоветовал назвать новорожденного Антонием в честь ксендза-настоятеля.

Теперь Боек перенес свою постель в хлев. Однажды около полуночи Константин разбудил доносившийся оттуда шум. Чертыхаясь, он встал и пошел поглядеть, в чем дело. У Лыски запуталась в цепи передняя нога, и цепь туго сдавила корове шею. Тщетно пытаюсь высвободиться, Лыска билась о край желоба. Постель Болека была пуста. Утром Явор выпорол сына, но мальчик уперся и не сказал, где пропадал ночью. Боек все чаще и чаще исчезал по вечерам. Наконец Константин отвел сына за ригу и стегал его до тех пор, пока тот не сознался, куда ходит.

— Ах, ты дурак, дурак, осел, — издевался Явор, — трудно тебя учить уму-разуму... Она тебя обижает, преследует, а ты к ней, к врагу льнешь, как шелудивый пес. Музыки тебе захотелось? Так ты меня попроси, я возьму тебя к кому-нибудь на свадьбу...

Как-то вечером Анна закончила все свои дела несколько раньше обычного. Ей еще не хотелось уходить из класса. По радио хор «Мазовше» пел «Кукушечку», и в этот поздний час школьная комната казалась почти домашнему уютной и при этом чуть-чуть таинственной. Учительница напрягла слух. Она снова услышала, что к окну кто-

то осторожно подкрадывается. Это случилось и раньше, однако Анна была не из пугливых. Не успела она подумать, что надо завесить окошко, как тут же со звоном посыпались осколки стекла. В разбитое окно влетел камень, оцарапал ребро радиоприемника и покатился под парты. Анна выбежала во двор и увидела уже за забором убегающую в поле тень. Тень была короткая, голова едва доставала до полосы света, падавшей из окна. Анна бросилась в погоню, но вскоре запыхалась, и злоумышленник ускользнул. Огорченная, она попросила Тадеуша перенести приемник к ним на квартиру; так печально закончилось слушание радиопередач в классе.

Весной 1952 года Явор собрался строить собственный дом — семья его уже не могла уместиться в конуре старой Быськи, да и самому Константию опротивело жить по чужим углам и напрасно надеяться на скорую смерть тещи. С тех пор как прекратились обильные ужины, здоровье старухи заметно улучшилось.

— Всему виной болтовня про колхоз, — плакался Явор, оправдывая свое многолетнее безделье. — Знал бы я, что дело так затянется, не побоялся бы строить новую хату и совсем иначе действовал бы.

— Разумеется, — согласился Мысонь. — Давно пора.

Явор уловил насмешку и рассердился.

— Теперь ты с советом лезешь. А кто, как не ты, все время страдал меня? Это ты днем и ночью вбивал мне в голову: «Ни к чему, Костек, тебе земля, незачем работать, все равно твоим детям ничего не достанется, все заберут... На Болека ли земля записана, на твое ли имя, все равно отнимут... Живи, пользуйся, пока есть время...»

— Ну и что ж? Плохо тебе было? Отощал?

— Поди к черту, Рафал! Ты еще издеваешься? Старый Сикора меня начал смущать, а ты совсем с пути сбил. И Сикорам ты помог. А я как слепой. Ты, дьявол, колхоза не боялся, знай покупал да покупал, что только под руку подвернется... Неплохо нажился на моем страхе. Конечно! Теперь ты смел, теперь ты спокоен. И потеряешь землю, так у тебя без нее денег куры не клюют, целое богатство в тайниках припрятано.

— Чепуха! Как устроят колхоз, все по миру пойдем.

— Мне уже нечего терять.

— Тебе только так кажется. Коли захочешь, так поднимешься. Все, что от Рапачей осталось, можешь зацапать...

— Ну, а потом...
— Когда потом?
— Говори же, Рафал, не валяй дурака.
— Будь покоен. Теперь я на это дело иначе гляжу. Не будет у нас колхоза.

— Откуда ты знаешь?

— Боятся. Вон в Немже небось попритихли? Их только припугнуть надо! Костек, Костек! — Мысонь разгорячился, и глаза у него сверкнули, как у кошки. — Нельзя этого допустить. Любой способ хорош, только бы им помешать. Если что — и тебе и мне не сдобровать.

Мысонь задыхался, но спустя минуту спросил так спокойно, словно ни о чем таком у них и речи не было:

— И зачем ты эту хату ставишь? Разве тебе не выгодней взять у меня хату Котовских? Она мне не нужна, как сараем пользуюсь...

Явор боялся Мысоня. Нрав у Рафала был изменчивый и неверный, как лед после первых заморозков; Константин никогда не знал, как поступить, чтобы не попасть в ловушку... Он не доверял Мысоню с тех самых пор, как дал себя обмануть при расчете за аренду. «Будь твоя воля, так ты бы всех нас сделал своими батраками да пастухами...»

— Нет, Мысонь, — откровенно признался он. — Мне это что-то не нравится. Зачем мне такая усадьба. В своей конуре хоть и в тесноте, да не в обиде.

— Нет, так нет. Со строительным материалом я тебе подсоблю. Государство не поможет, будь уверен. Ну, а Мруз...

Константия разозлили эти унижительные предложения Мысоня. Но хотя в душе его росла неприязнь к Мысоню, а вместе с ней и зависть, кое-какие его слова крепко запали Явору в память.

«Погоди, — мечтал он, — я еще с тобой сравняюсь».

Для новой хаты Явор вырубил все деревья, какие еще можно было вырубить; не избежал общей участи и старый раскидистый тополь, который так любила его первая жена.

— Оставь, — просила Гунда, — нехорошо это. Ну зачем он тебе? Ствол насквозь прогнил, да и кто строит из тополя?

— Пригодится, — настаивал Константин. — Вон какие у него ветви!

Он взял пилу и вместе с Гундой начал подпиливать тополь. Дело пошло легко, ствол держался чуть ли не на

одной коре. Когда они подпилили дерево, Явор сказал жене:

— Беги домой, пускай Болек мне топор принесет, а ты корму задай корове, пора уже.

Гунда ушла, и вскоре явился Болек с топором.

— Стань-ка здесь, — сказал Явор, — поможешь мне.

Теперь он рубил дерево с той стороны, где оно не было подпилено. Топор быстро взлетал, образуя блестящую дугу, отливавшую синевой металла. Но вот Константин выпрямился, как-то хитро и в то же время смущенно улыбнулся и спросил у Болека:

— Ты небось любишь дядю Соляжа?

— Да... — кивнул головой Болек. Он не понял вопроса и выжидательно смотрел на отца.

Константин помахал опущенным книзу топором и вдруг, словно забавляясь, откинул его прочь.

— Принеси, — приказал он.

Мальчик послушно побежал. Оглушительный шум достиг его так внезапно, что он и опомниться не успел: на какое-то мгновение Болек оцепенел от ужаса и все-таки перепрыгнул через то место, где сверкала сталь топора, сделал еще три-четыре шага и упал, придавленный грохочущей тучей зелени. Потом он привстал на колени — вокруг него и над ним еще дрожала и гудела крона рухнувшего тополя. Это были мучительные и таинственные секунды — как во сне. По лбу, щекам и рукам Болека текла кровь. Позади, кроша и ломая мелкие ветки, врылся в дерн могучий сук и, будто развилкой, подпер раскидистую крону дерева. Негромко потрескивая, ствол держался в наклонном положении, а толстый сук под его напором все глубже уходил в землю.

— Беги, Болек! — словно сквозь шум дождя долетел до мальчика крик отца. — В сторону, в сторону!

С трудом раздвигая ветки, мальчик добрался до более открытого пространства; прутья исхлестали ему лицо. В конце концов Явор дотянулся до сына и помог ему вылезти. Болек почувствовал теперь во всем теле такую боль, будто его избили десятью кнутами.

Отец и сын стояли друг против друга. Явор быстро моргал глазами, руки у него тряслись.

— Ты жив, Болюсь, — бормотал он.

— Ну да... — подтвердил мальчик, устремив на отца, долгий, по-стариковски пытливый взгляд.

В ту весну Боек еще больше подружился с Анельццей. Дочка Сикоры теперь только на год отстала в ученье от Болека. В школу они отправлялись вдвоем. Анельцця заходила за ним либо вызывала из дому свистом, а свистела она не хуже мальчишки. Пройдя часть пути, Боек хватал ее за руку: «Дай хлеба». Девочка отдавала ему половину своего завтрака, а он взамен дарил ей сережки из жолудей, плетенки из камыша, кукол из шишек.

Перед самыми каникулами Боек уговорил Анельццю побродить по лесу. Черника уже созрела, хлеб с ягодами показался им очень вкусным. В полдень Боек предложил скинуть рубашки, дети вымазались черникой в пурпурный цвет, бегали среди густых папоротников, как два чертенка, и кричали что было сил.

— У тебя есть еще хлеб? — спросил Боек.

— Да, кусочек. Лежит на пеньке, там, где рубашки.

Анельцця подбежала к тому месту, где они сложили одежду и ранцы, и вдруг, пронзительно вскрикнув, со всех ног кинулась назад.

— Змея! Змея!

Боек тоже побежал. Он споткнулся о толстую хворостину, остановился, поднял ее и вернулся назад. Шел он все медленнее, высоко поднимая босые ступни. Увидев змею, он начал ее колотить, потом поддел концом хворостины, поднял и сказал:

— Это не змея, а обыкновенный уж.

В голосе его звучало разочарование.

Им стало скучно: обнаружив укрытый в траве, затянутый илом родничок, они умылись, помогая друг другу.

— Я тебе, знаешь сколько могу рассказать, — сообщил Боек. — Я много чего знаю.

— Я тоже много знаю, — похвастала Анельцця.

— Эх ты, дурочка, — рассердился Боек. С минуту они молчали.

— Но ты ведь убил ужа, чего тебе еще надо! — польстила ему Анельцця.

— Подумаешь! — Он схватил девочку за плечи и строго посмотрел на нее. — Мне смерть нипочем, знаешь? Я видел смерть, знаешь? Вот это я и хотел тебе сказать.

Анельцця от удивления вытаращила глаза. Заметив, что Боек изменился в лице, она уже готова была расплакаться.

— Не пугай меня, Боек, ну тебя!..

— Я не пугаю.

— Какая она была, твоя смерть? — поинтересовалась Анельця.

— Большая. Зеленая.

Теперь ему захотелось признаться ей во всем: рассказать и о тополе, и том, как он ходил ночью под окно школы.

— Садись и слушай. Но если только пикнешь кому-нибудь, так я тебя...

Анельця поклялась, что не пикнет.

— Папа приказал мне молчать, — торопливо глотая слова, закончил Болек. — Он на школу сердит и грозил, что убьет меня, если я не послушаюсь. А мой папа... мой папа... — Болек осекся, втянул воздух и задержал дыхание, глаза у него стали словно стеклянные, и против его воли две сердитые слезинки повисли на ресницах.

Анельця целую неделю хранила тайну. Потом доверила ее Янушу. Маленький Мысонь пришел к Болеку и потребовал губную гармонику и складной ножик. Болек побил его, после чего дал ножик. В воскресенье на пастбище к Болеку явилась Анельця. Надела новый фартучек, в косичку вплела две ленточки.

— Почему ты со мной не водишься? Я ничего не говорила, — лгала она в отчаянии. — Януш сам выдумал.

— Нет, ты сказала, — стоял на своем Болек. — Ты такая же, как все. Дура и обманщица.

— А ты злюка и нищий.

Он ничего не ответил, тогда Анельця добавила:

— И бандит.

Он дернул ее за волосы, смял ленточки, разорвал новый фартучек.

— Вот тебе нищий, вот тебе бандит! Вот, вот! Поклялась и разболтала. Сдохнешь за это! Сдохнешь!

Она вырвалась и убежала.

— Ты сам сдохнешь, нищий, — кричала она издали. — Теперь все скажу, все!

Но она ничего не сказала, Януш тоже молчал, и прерванная дружба возобновилась с началом нового школьного года.

В Беляве уже был новый учитель. Звали его Михал Лемжа. Он приехал вместе с инспектором еще в июне, выгрузил с телеги множество мелких свертков, большую корзину с вещами, клетку со скворцом и удочку. Его короткие

тиковые штаны и пышная седоватая борода, ровно расчесанная на обе стороны, вызвали всеобщее удивление. Невысокий, приземистый, с голыми икрами, Лемжа издали казался намного моложе своих лет. У него были большие светлоголубые глаза, большой, не в меру розовый нос, открытая улыбка.

— Политику я не очень люблю, — признался он Анне в первый же вечер, — но общественную работу, разумеется, ценю и не сторонюсь ее. Могу также заложить пасеку... У меня пятнадцать лет стажа, жену я потерял в лагере, а дочка тоже учительница, получила должность. Так и знайте, коллега, я сам просился в Беляву. Здоровье у меня некрепкое, мне нужен покой. Уж будьте так любезны, заварите мне травки...

Из множества пакетиков в несессере он извлек тот, который был нужен, и подал ей.

Лемжа быстро наладил свое хозяйство в комнатке при школе. В течение нескольких дней он сидел на уроках в четвертом классе и записал в блокнот фамилии своих будущих учеников. После раздачи свидетельств новый учитель упаковал несессер, доверил скворца заботам Анны, уложил в футляр английскую удочку и уехал на каникулы.

— Оригинал какой-то, — недоумевала Анна.

Лемжа вернулся в середине августа, и все ее опасения рассеялись.

— Я был с дочкой в летней колонии, — рассказывал старик, — а потом исколесил всю Польшу, в Кракове был, в Новой Гуте... Новая Гута, коллега, похожа на фантастический сон: тут комбинат, а там гуси пасутся, и рядом с гусями растет колоссальный город... Потом был во Вроцлаве, рыба в Олаве не клевала, только на Мазурских озерах...

— Всюду ездили с дочкой?

— С Вандой? Да что вы. У нее там жених недалеко живет, ее силой не оторвешь...

На уездную конференцию в Невыхов Анна поехала вместе с Лемжей. Вечером она не уследила за ним, старик заглянул в пивную, и по возвращении в Беляву ей пришлось заваривать для него травку.

В первые же месяцы после каникул Лемжа завоевал доверие Анны. Пятиклассники, гордые тем, что они первые двинули белявскую школу вперед на целый класс, перестали бегать и шуметь, подчеркивая свое превосходство над малышами. В конце концов Лемжа нашел, что они зря

напускают на себя такую серьезность и надо их немножко расшевелить. Старик раздобыл волейбольный мяч, с помощью ребят вбил столбы и утоптал площадку. Сперва они перекидывали мяч через веревку, потом на занятиях ручным трудом терпеливо сучили пеньку и обзавелись наконец сеткой. Вскоре спортивный азарт охватил все остальные классы, и Анна начала беспокоиться, не пострадают ли от этого библиотека и садик. Когда она поделилась своей тревогой с Лемжей, он смутился, сократил часы игр и в течение нескольких дней пропадал после уроков с удочкой в приречных зарослях, потом стал жаловаться на боли, пил травку и, в конце концов, попросил, чтобы наблюдение за садиком доверили его классу. Старик все больше нравился Анне. Осень прошла спокойно и не утомила ее.

В середине декабря в деревне вспыхнула эпидемия скарлатины. Школу закрыли. Болек заболел одним из первых. Подоив утром корову, Гунда перенесла мальчика из хлева в хату и уложила в постель вместе со своими двумя детьми. Никто ее от этого не предостерег, каждый боялся за себя. Неожиданно заболел четырехлетний Стась и через неделю умер. С жалобами и проклятиями Гунда перетащила Болека к своей матери, старой Быське. Никто из семьи там не показывался — опасались за других детей, — зато украдкой забегала Анелька, на минутку, но ежедневно. За несколько дней до праздников она перестала приходить.

— Что с Анельцей? — допытывался Болек.

Быська совсем уже оглохла и не отвечала. В сочельник вечером Болек остался в хате один, старуха пошла на ужин к Яворам. Болека лихорадило, он забыл про сочельник. Когда стемнело, ему стало невмоготу, приснился дурной сон. Мальчик слез с постели, надел на босу ногу башмаки, накинул куртку. Яворы уже кончили ужинать, как вдруг в дверях появился Болек.

— Что с Анельцей? — спросил он.

Гунда вскочила из-за стола и заслонила Хельцю и люльку с Антосем.

— Побойся бога, воротись сейчас же домой, ужин тебе бабка принесет. Ступай, ступай! Детей заразишь.

— Где Анельца? — упрямо повторил Болек. Лицо у него было красное, отечное, от него так и веяло жаром.

— Анелька у деда с бабкой в Рыбках, — сжалился над сыном Явор. — Пойдем, я тебя провожу.

Они шли, держась за руки, так мирно, как никогда прежде, и Болеку захотелось, чтобы эти минуты длились подольше. Ему было хорошо.

— Папа, — спросил он, — вы должны сейчас же вернуться? Да?

— Должен — не должен, а посижу с тобой.

— Вы одни, папа?

— Один. Мать боится, чтобы от тебя зараза не перешла. До того боится, что даже бабушку обмахивает... — он доверительно хихикнул, и Боек сразу почувствовал себя взрослым. В это мгновение он почти любил отца, и у него само собой сорвалось:

— Анелька просто свинья. Даже не попрощалась со мной.

— Да... — согласился Явор.

Они уже подходили к хате, и Боек набрался храбрости.

— Папа, а папа, обвяжем яблоньки, чтобы уродили. Ведь нынче сочельник.

— Замерзнешь, полезай в постель, — возразил Константин.

— Я не замерзну. Я уже выздоровел, папа, — убежденно сказал Боек и поцеловал руку отца.

Тогда они вошли в сарайчик, Явор выдернул из снопа несколько пучков соломы и наскоро свил жгуты.

— Только потом смотри мне... — и не закончил.

Они торопливо перевязали у плетня несколько яблонь.

— Ну, теперь уродят... — радовался Боек. — У Сикор, наверно, забыли перевязать. Такие богачи, чтоб им все деревья засохли, да, папа? А мы нищие, да, папа? — бесвязно выбалтывал он свою обиду.

Константий, казалось, принял решение. Он откашлялся:

— Раз ты говоришь, что уже окреп, так я тебе скажу. — Говорил он хриплым голосом, тише, чем обычно, закончил вовсе шепотом: — Анельця к тебе больше не придет. Ничего не поделаешь — всяко бывает. Анельця умерла!

— Папа, — пожаловался Боек, — мне очень душно...

Когда он проснулся, в голове у него шумело. Он хотел открыть глаза, но не мог. Прикоснулся пальцем к лицу; кожа была странно упругой и не поддавалась, когда он нажимал на нее. Он не знал, что с ним творится. Ему мерещилось, что его собственные ноги где-то очень далеко;

все вокруг колыхалось. Совсем рядом он слышал чьи-то голоса, но даже не пытался понять, о чем идет речь.

— Ну и крепыш! Смотри ты, все еще жив.

— Распух, как тыква.

— Хоть бы скорей отмучился.

— За ксэндзом надо бы...

— Много ли такой нагрешил.

Болек повернулся к ним лицом.

— Терезка, пойдем же, Терезка, — донесся со двора чей-то как будто знакомый голос. — Пора ехать.

— Родненький мой, родненький... — шептал кто-то над ним. Свет больно резал ему глаза, но сквозь ресницы Болек видел лоб в морщинках, над которым шевелилась прядка седых волос. — Выздоровливай же... Ах, боже мой, если бы не вечные заботы...

От двери повеяло холодом, в комнату ворвался клуб пара, кто-то большой косматый, в кожане, произнес:

— Терезка, сани ждут, опоздаем на поезд. Не спутайте, Гунда, пузырьки...

— Родненький мой, родненький, — еще раз прошестел чей-то голос над ухом Болека — и все стихло.

В другой раз, проснувшись, он почувствовал на лбу чью-то холодную мягкую руку. Болек открыл глаза и увидел учительницу. В комнате больше никого не было. Мороз вывел узоры на оконных стеклах.

Болеку было стыдно и хотелось, чтобы учительница ушла.

— Болек, Болек... Я не знала, что тебе так плохо, бежала к другим детям. Мне только сейчас Соляжи сказали...

— Тетя была здесь? И дядя?

— Да, были.

Он отважился задать еще один вопрос:

— Они сами приехали?

Анна все поняла, но лгать ей было трудно.

— Я им сообщила, что ты заболел. У них тоже скарлатина была в доме. Они привезли к тебе врача, он два раза был. — Анна указала на пузырьки, стоявшие на табулете возле кровати.

— А дядя Куба?

— Дядя Куба на курсах. Он справляется о тебе, помнит. Знаешь... — она заколебалась и понизила голос, — ему сюда трудно прийти, он опять поссорился из-за тебя с твоим отцом.

— Снимите мне, пани, птичку. Она под потолком висит.

Анна беспомощно засуетилась, потом села.

— Нет, Болек, птички. Сам видишь.

— Хельця поломала... — вспомнил он.

— Ничего. Я тебе принесу. У меня есть такая же.

— Значит, вы еще придете?

— А ты хочешь? Приду.

Он закрыл глаза, подумал.

— Радио играет? — спросил он очень тихо.

— У меня? Конечно, играет.

— И «Кукушечку» тоже?

— Ну да. Разное играет.

— Мне снилось... — он не договорил. Долго молчал.

— Ну, Болюсь, ты выздоравливаешь, скоро увидимся в школе.

Она поднялась, но Болек с необычной смелостью удержал ее за руку.

— Нет, не уходите. Я вам что-то скажу.

Она села рядом с ним.

— Говори.

Но теперь он задумался, с трудом глотнул воздух и вдруг обиделся.

— Вы тоже сюда не сами пришли.

Она горячо заперестовала:

— Сама, сама. Никто меня не звал. Ты думаешь, я у тебя тут в первый раз? Я помню о тебе, Болек. О тебе тоже. — честно поправила она.

Мальчик недоверчиво поглядел на нее.

— Анеля вам ничего не говорила?

Она вскочила, словно хотела уйти.

— Что она могла мне сказать? Нет, ничего она мне не говорила.

— Тогда я скажу вам. Я больше не буду ходить в школу. Лучше коров пасти, лучше, лучше, — с ожесточением закричал он.

— Не пойдешь больше в школу?

— Я так ничему не научусь, — он обвел рукой комнату, как бы желая пояснить то, что слишком трудно выразить словами.

— Не говори глупостей, — строго сказала Анна. — У тебя есть семья, дядя Соляж поможет, хорошие люди о тебе думают... Мы не дадим тебе так жить. Только ты должен

сам хотеть учиться. Да и с твоим отцом я еще поговорю.
— Нет, нет! — поспешно возразил он. — Я не хочу, чтобы вы с ним говорили. — И словно для того, чтобы раз навсегда отрезать себе путь к отступлению, Болек сделал усилие и отчетливо произнес: — Это я тогда у вас выбил стекло.

У нее дух захватило.

— Зачем ты это сделал, Болек?

— Потому что я бандит.

Он даже зубами скрипнул, чтобы не расплакаться, и, охваченный страшной тоской, повернулся лицом к стене.

ХV

ГНЕДОИ

За время болезни Болек разучился ходить. В первые дни после выздоровления он как-то высоко поднимал ноги и все топтался на месте. «Как цапля по воде», — удивлялась старая Быська, которую это очень сместило. Вскоре наступили теплые весенние дни. Болек останавливался на углу около хаты и подолгу рассматривал стебельки травы и молодые листочки крапивы, выросшие среди черепков и всякого хлама, выброшенного из хаты. За плетнем зацвел осот. В старом, одичавшем саду «рапачовки», который уже давно называли рощей, Болек искал фиалки. Мало их росло на тощей земле, и они упрямо прятались от детей. Фиалки были маленькие и очень сильно пахли. Раньше, когда Болек искал цветочки, он становился на колени, молился ангелу хранителю и святому Антонию и просил помочь ему. Теперь, вспомнив об этом, он застылся и вдруг увидел рядом с лопухами целый кустик фиалок. «Отнести бы их Анельце», — с грустью подумал он. До сих пор он иногда со страхом думал, что девочка умерла по его вине, ведь это он однажды в гневе накликал на нее беду. Но мало-помалу и страх и горе рассеялись, и мальчику уже не было так тяжело.

Болек тайком ушел в Ружанцы к дяде Кубе. Во время половодья снесло мостик на реке около брода. На уцелевшие старые устои крестьяне положили две жерди — они, как качели, дрожали и прогибались под ногами. Болему нравились теперь маленькие приключения, он представлял

себе всякие опасности, которые нужно побеждать с помощью силы и отваги. Во время болезни, когда дело пошло на поправку, учительница стала присылать ему разные книжки, и Болек полюбил чтение. Он решил отправиться когда-нибудь в Африку или, по крайней мере, в Краков, где учатся Владек Соляж и Янек Греля, чтобы стать большими людьми; только он решил, что поедет один и ни у кого не станет спрашивать позволения.

В тот день разразилась первая ранняя и неистовая буря. В ружанецких садах осыпался весь цвет с деревьев. Молния ударила в липу, росшую перед домом Кубы Явора, и одна из ее могучих ветвей, словно подрубленная топором, упала на крышу и сорвала несколько дранок.

Куба оставил Болека ночевать. Когда они сидели за ужином, Болек вдруг спросил:

— А у вас, дядя, нет сретенской свечки *, вы ее не зажигаете?

— Конечно, нет. Зачем она мне?

— Бабушка и мама всегда зажигают, а как молния сверкнет, так крестятся.

— Пусть их. У меня на крыше громоотвод.

— А у нас нет. Но я знаю, гром все равно не ударит.

— Это почему же?

Болек задумался, а потом, не отвечая на вопрос, сказал:

— Ничего со мной не случится ни сегодня, ни завтра, никогда. Лягу спать, например, и все жду чего-то страшного, но приходит день — и, оказывается, ничего не случилось, потом опять иду спать, просыпаюсь — и опять ничего, и так всегда. Если, например, умирать, так непременно умрет кто-нибудь другой.

Кубе показалось, что Болек рассуждает неумно, хватается без всякой нужды. Он тихонько постучал по ножке стола и сказал неодобрительно:

— Всыпал бы тебе отец за твою болтовню, если бы слышал. Да он и так отдубасит тебя за то, что ко мне ходишь. Проводить тебя, что ли...

— Не надо, дядя. Лыску теперь Хельця пасет, а я учусь.

* Сретенская свеча — свеча, освященная в костеле на сретение; по народному поверью, ее зажигали в грозу, чтобы отвести молнию, и давали в руки умирающему.

- Ну как, успеваешь? Ты ведь много пропустил...
- Учительница мне помогает. Каждый день.
- Вы ладите с нею?
- Да, только арифметика мне не дается, и учительница сердится. Чуть я ошибусь, она делает так... — и Боек, подражая Анне, состроил страшную гримасу.
- Гармоника у тебя еще цела?
- Да.
- Сыграй-ка.
- Для вас, дядя, всегда. Я бы для вас не знаю что сделал...

На обратном пути Боек нашел в лесу ветряницу. Он стал на коленки на сухую хвою и задумался, потом погладил темносерую, покрытую пушком чашечку цветка.

— Расте себе, — сказал он громко.

Боек почувствовал себя счастливым, на душе у него было легко. Солнце светило, от деревьев тянуло сыростью после вчерашнего дождя, и Боек впервые по-настоящему обрадовался тому, что выздоровел и живет на свете.

В начале мая в Беляву приехал Павел Хмель. С тех пор как Павел получил назначение в новую небожинскую школу, он требовал, чтобы его по-старому называли Профессором.

— Я знала, что у нас будет гость, — приветствовала его Юстина. — Вчера гляжу, сорока на забор села, хвост распустила и сокочет, гостей пророчит. Налолго ты к нам?

— Фисгармонию хочу забрать... — И Павел тут же попросил Эбышека аккуратно обшить фисгармонию мешковиной, обить досками и обложить сеном, чтобы по дороге не растрести инструмент. Юстина загрустила и перестала расспрашивать брата. Глаза у Павла были красные, он то и дело вытирал платком потные, уже поредевшие виски. Профессор постарел и подурнел.

— Заезжал к отцу, — рассказывал он за чаем, — плохие, по моему мнению, у нас творятся дела. Кулак, да кулак, только и слышишь, — все против отца. Травят, мешают работать, облагают налогами... Правительство, мне кажется, просто его преследует. Никакой в этом нет логики. Поддерживают голытьбу, которая никогда не имела, да и сейчас не имеет никакого понятия о сельском хозяйстве, а тех, кто кормит страну, преследуют. Да разве можно рубить сук, на котором ты сидишь? Нет, господа, вы стоите на ложном пути. У Англии надо бы нам поучиться...

Павел поглядел на Збышека, но Збышек, казалось, не слушал. Он снял с гвоздя шапку и сказал Юстине:

— Я пойду к Мысонам окучивать картошку.

Они слышали, как за дверью Сикора громко откашлялась и сплюнул.

— Юстинка, вы что, у Мысонеи батрачите? — ужаснулся Хмель.

Юстина смутилась, на глаза у нее наперулились слезы.

— Да разве мы одни, Павлик? Ведь только на похороны Анельци понадобилось больше двух тысяч... Где же их было взять?..

Хмель задумчиво барабанил пальцами по столу.

— И мне тяжело, и мне. Жена с ребенком в Кринице, она все прихварывает... У меня теперь только жалование... — Он наклонился к сестре: — Збышек совсем опустился, я вижу это, сочувствую... Но советую тебе, как брат: сиди здесь, пока можешь, терпи, потому что и у отца жизни не будет...

Хмель пошел в школу, попал туда во время перемены. Девочки, взявшись за руки, играли в кошки и мышки и пронзительно визжали всякий раз, когда кошка настигала свою жертву. Мальчики с победными криками атаковали кучу компоста, которая изображала неприступную крепость. Лемжа хлопал в ладоши, призывая ребят к тишине. День был теплый, пчелы кружились вокруг молодых деревьев шелковичны, мелькая, как золотые искорки.

— Привет вам от дочки, — сказал Хмель, здороваясь с бородатым стариком. — С сентября она переходит в нашу школу.

— Уже? — обрадовался Лемжа. — Ничего мне, негодница, не пишет...

— Да она, как вы знаете, сдавала экстерном дополнительные экзамены. Это не шутка. А что, пан коллега, ведь хорошо теперь быть молодым, а? Раз, два — и готов дипломчик, а там пожалуйста в лицей... Сколько нам раньше приходилось мучиться...

Это было сказано тоном горького превосходства, и Лемжа заступился за Ванду.

— Зря и теперь диплома не дадут. Вы ведь сами говорите, что это не шутка. Четыре года девочка зубрила, ночей не досыпала... — Он оасчувствовался, забыл о мимолетной обиде и схватил Хмеля за руку: — Как я рад! Моя Ванда в доме песни!

— Простите, где?

— В доме песни. Так ведь называют вашу школу. В газете пишут...

— Ах, да, да, — усмехнулся Хмель. — Ее действительно так называют. «Мазовше» в масштабе воеводства...

Снова Лемжу покорило от неуловимо презрительной интонации Хмеля. Прежде чем учитель успел ответить, Павел сказал:

— Что касается вашей дочери, то дело обстоит не совсем так, как вы думаете. Преподавание в нашей, все-таки нетиповой, школе требует от педагога специальной подготовки. У дома песни, как вы его любезно называете, особая программа, сочетающая общее образование с практикой в области искусства... Короче говоря, панна Ванда станет одной из воспитательниц в нашем интернате.

— Но ведь это замечательно, — успокоил его Лемжа. — Это тоже почетный труд.

— Конечно, конечно... Для женщины это подходящая работа, да... — Увидев, что Анна сзывает детей в классы, Хмель, не попрощавшись с Лемжей, побежал к ней.

— Пожалуйста, заходите в учительскую, — сказала Анна. — У меня как раз окно между уроками.

— Раз уж я попал к вам, разрешите мне, — попросил Хмель. — посидеть у вас на одном-двух уроках пения.

Учительница не поняла, куда он клонит.

— Я предпочла бы похвалиться чем-нибудь иным, — смущенно сказала Анна. — С пением у нас дела обстоят неважно, я мало чему научила детей...

Хмель замахал руками; он даже слушать не захотел ее оправданий.

— Это не ваша вина! Не поют нынче в этой глуши, не поют. Умерла песня в здешних деревнях. Народ тут угрюмый, тупой, немusыкальный... Я много лет слежу за этим процессом, записываю свои наблюдения.

— Да, конечно, вы ведь в этих вопросах специалист. Однако же, насколько мне известно, было время, когда вы очень увлекались народной песней, находили много материалов...

Хмель недовольно отмахнулся.

— Было, да прошло. Все приходит в упадок, дорогая пани, все...

Он испытующе поглядел на Анну, словно определяя, насколько с нею можно быть откровенным.

— По моему мнению, — Хмель понизил голос до шепота, — народная музыкальная культура формировалась и расцветала в условиях, если можно так выразиться, специфических: либо там, где мужик испокон веков чувствовал себя барином, где его натура облагораживалась, так сказать, стихийно: пример народный фольклор Подгалья, — либо, и, пожалуй, в еще большей степени, там, где сказалось влияние высших культурных и экономических форм, например в богатой куявской деревне, и вообще там, где средоточием являлась барская... — он щелкнул пальцами, ища нужное слово, — усадьба... В именьях и именьяцах, дорогая пани, Шопен искал свои мазурки...

— Вы всегда так думали? — прервала его Анна.

— Разумеется... впрочем, я не уверен в этом, — растерялся Хмель. — В молодости я понимал народность как силу, так сказать, замкнутую в себе. Абсолютно и имманентно. Да! Но в молодости кто не питает романтических иллюзий!

— Я не совсем вас понимаю, — призналась учительница. — Вы, наверно, слышали песни жнецов?

Он надул розовые, все еще по-детски свежие губы и на мгновение задумался.

— Жнецов! — воскликнул он, подняв указующий перст. — Это аргумент, подкрепляющий мою мысль. Теперь составляют целую антологию песен про кривду, про горькую мужицкую долю. Но такие песни тоже возникли в сфере тех влияний, о которых я упоминал. Притеснение, гнет — это ведь как песчинка, которая необходима для того, чтобы в раковине крестьянской косности родилась жемчужина. И в самом деле, есть что-то возвышенное в том, что искусство, пусть даже его мельчайшая крупица, обязано своим рождением страданию...

— Вы не верите в искусство, рожденное иным путем?

— Не знаю. Зато мне известно, что наш народ перестает петь. Почему? Боюсь доискиваться причин. — И Хмель улыбнулся, как бы желая подчеркнуть невинный характер своих опасений, однако улыбка получилась деланная.

— Я не могу согласиться с вами, — с досадой сказала Анна. — Во-первых, я верю в песни, которым не нужно человеческое горе. Во-вторых, если бы все было так, как вы говорите, то ведь Белява достаточно страдала, больше даже, чем другие деревни...

— И страдает, — согласился Хмель.

— Вы приходили в Беяву, руководили хором, я ведь слышала, — настаивала Анна.

Хмель не то устал, не то потерял охоту разговаривать, он низко опустил голову и сказал невнятно:

— Это были только блуждающие огоньки... Души гаснут без цивилизации...

— Да что вы! Наконец-то к нам идет цивилизация! — воскликнула она с гневом.

Хмель почувствовал себя уязвленным и, забыв об осторожности, порывисто воскликнул:

— Популяризация — это равнение на низы.

Оскоблвшись, они оба умолкли.

— Взгляды взглядами, а об обязанностях тоже нельзя забывать, — деловито и вместе с тем несколько шутливо проговорил Хмель. — По роду своих занятий в Небожине я теперь являюсь чем-то вроде коммивояжера, разыскивающего среди крестьян таланты. Может, в вашей школе есть интересные, музыкально одаренные дети? Вопрос этот не так уж важен, потому что мы принимаем только детей, окончивших начальную школу, но раз уж я здесь, не мешаю...

Он еще раз подчеркнул, что посетил школу по доброй воле, без всяких корыстных мотивов, и это не понравилось Анне.

— Внука Рапачей следовало бы учить музыке, — сказала она.

— Рапачей... гм, гм... Помню, помню. Как его зовут?

— Явор. Болеслав Явор.

— Да. Правильно, Рапачи была культурная семья, да, да. А Яворы ужасные дикари... Гм, я что-то не очень верю.

— Простите: во что вы не верите? В наследственность или во влияние среды?

Он, вероятно, уловил иронию, потому что довольно кисло сказал:

— Я могу прослушать мальчишку. Поншлите его ко мне, к Сикорам, лучше всего завтра после обеда.

Вечером того же дня Павел Хмель уехал из Беявы.

Вскоре после этого Рафал Мысонь зашел к Явору и сообщил ему:

— У тебя мальчишку хотят отнять, Болека. Берегись.

— Как это отнять?

— А так. Очень просто. Никто о нем не заботится, ты

плохой отец. Хотят проучить тебя за то, что Болека дома держишь, он опять забросил школу...

— Да ведь совсем малый от рук отбился, — сказал Явор. — Только и делает, что сидит у этой язвы учительницы да в Ружанцы бегают...

— Да к Сикоре, — прибавил Мысонь. — Нечего сказать, хорошая компания. Они тебя, Костек, вокруг пальца обведут.

— Откуда ты узнал?

— Да от разных людей. Жена Баланека говорила. Об этом советовались уже у солтыса и в немжанской гмине был разговор... Приют, по-ихнему, называется детским домом, знаешь?

Мысонь помолчал, слушая, как тяжело и прерывисто дышит Явор.

— В газете оклеветали нас, — снова стал рассказывать он последние новости. — Вхожу я в кооператив, стоят у прилавка три мужика, а Ядвися им что-то читает, увидела меня и оборвала на полуслове... Я сразу смекнул: клеветой пахнет. На вот, почитай, — и он протянул Константию вчерашний номер «Новин».

У Явора затряслись руки. Он побледнел. В газете прямо, называя всех по именам, писали: Рафал Мысонь из Белявы — эксплуататор и уже два раза попадал в списки лиц, сопротивляющихся распоряжениям властей; весной, когда людям тяжелее всего, он торгует припрятанным зерном. А Константин Явор из Белявы — прихлебатель Мысоня, работает у него как батрак и не щадит даже собственных детей...

— «Фамилия корреспондента, — читал вслух Явор, цедя слова сквозь зубы, — нам известна...»

Он не спеша, аккуратно сложил газету и разгладил ее.

— Голову размозжу, — тихо сказал он. — Только бы узнать...

— Придет время... — Мысонь, казалось, не очень сильно переживал это событие, он стал успокаивать Явора: — Тебе-то что? Сраму только натерпишься, подумаешь, пустое дело. А меня опять будут таскать и допрашивать... И опять, черт бы их драл, без расходов дело не обойдется. Что это такое? — в тонком его голосе прозвучало что-то вроде искреннего удивления. — Насильно хотят честного человека сделать преступником, что ли?

— Только бы узнать, — глухо повторил Явор.

— Твой брат уговорился с Грелями, — переменил Мысонь тему разговора. — В августе обвенчаются. Портниха в Рыбках уже шьет наряд для Ядвиси...

— Пес с ними! — с пеной у рта крикнул Явор.

Мысонь уже направлялся к двери; на пороге он остановился и сказал:

— Возьми, Костек, своего Гнедого. Больше я ходить за ним не стану: слепой, хромой, никакого проку от него.

— Помилуй! Сколько лет он тебе служил!

— Тебе тоже. Только что жрал у меня, а не у тебя. Возьми его, возьми, а то в «Новинах» меня ославят как конокрада...

— А что мне с ним делать?

— Конина, говорят, неплоха, если приправить как следует. Быська съест.

— Гнедой у тебя охромел!

— На твоём мостике, потому что ты дыру не хотел заделывать, хозяин! И твоё сено было на возу.

— Боже милостивый! Да что это за погибель! Сено-то моё, да для твоего сеновала!

— Можешь платить наличными. Как угодно.

— Рафал, черт ты этакий, Рафалек... — но Мысонь уже захлопнул за собой дверь.

В тот вечер Явор без всякой причины избил Гунду и Болека. Оба убежали на ночь к Быське. Утром Гунда вернулась к детям, а Боек остался у бабки. Константин, пряча за спиной палку, пошел за сыном. Боек увидел его в окно, выбежал в сени и успел задвинуть засов.

— Пусти, Боек! — рявкнул Явор.

Тяжело дыша, они стояли по обе стороны двери. Боек не шевельнулся. В висках у него стучало.

— Пусти. Или поди сюда. Живей!

Болеку казалось, что язык у него распух и душит его, как кляп. И вдруг Боек крикнул каким-то низким, хриплым, горловым голосом:

— Не пушу! Не выйду! Не за что бить меня!

На мгновение воцарилась тишина. Скрипнула дверь из хаты, Быська, кряхтя, переступила высокий порог.

— Что за крик? Кур выгоняешь, Болюсь?

— Не пускайте его, бабушка! Это он за мной пришел! Не хочу, не давайте меня, бабуся-я!

Он прижимался к ее переднику, в испуге и отчаянии обхватив ее руками.

— Утоплюсь, повешусь, не пойду к нему. Палач он, не отец!

Явор стукнул в дверь кулаком, потом навалился на нее всем телом: шурша, посыпалась известка.

Быська подошла поближе, припала лицом к щели.

— Костусь! Уйди ты, ради бога. Не пугай ты меня, дай помереть спокойно. Костусь!

Она наставила ухо, прислушиваясь, не ответит ли Явор. Он молчал.

— Костусь, — продолжала старуха. — На что тебе нужен мальчишка. Оставь его у меня. Перекрестись, гнев уляжется, злость пройдет...

Услышав плач старухи, Явор устыдился и ушел.

— Мы с тобой, Болюсь, еще сочтемся. Я тебе покажу палача...

Сведения о Болеке, собранные Мысоном, были не точны. Еще зимой, во время болезни мальчика, Анна справлялась об условиях приема в детский дом. Янек Греля сообщил ей не особенно утешительные вести. Болек не был круглым сиротой: у него были отец и семья, от матери он унаследовал землю. Даже если бы гмина поддержала учительницу и выдала необходимые бумаги, то и тогда пришлось бы через суд лишить Явора отцовских прав. Свидетели должны были показать, что за птица этот Явор. И тут возникала непреодолимая преграда. Все жалели Болека, но никто не хотел идти в свидетели, всем казалось бесчестным обвинять соседа, при всем народе обсуждать его дурные поступки. Судебные формальности пугали даже Збышека Сикору. Кого только Анна ни спрашивала, соблюдая необходимую осторожность, чтобы раньше времени не открывать своих планов, все кончали разговор примерно такими словами: «Болек подрастет и не даст себя бить. У мужицкого мальчишки кожа дубленая, а отец — он все-таки отец».

«Я написал про Болека Явора нашим невыховским пионерам, — сообщал молодой Греля, — а Владек Соляж (мы с ним всегда действуем заодно) написал своему родственнику Адаму Порешу. Может, сообщит что-нибудь да придумаем. Если бы он (Болек) уже кончил седьмой класс, нам легче было бы ему помочь...»

Седьмой класс! Еще три года! Дотянет ли Болек? — убивалась Анна. — Если он и впредь будет находиться дома, при отце, все пойдет прахом. Рано или поздно мальчик измучится, согнется под ярмом, одичает.

Анну обрадовала посылка, пришедшая на имя Болека из незнакомых лиц; ее предусмотрительно отправили по известному адресу. В посылке были две книжки Гайдара, «Броневской», новый пионерский костюм и красивые летние сандалии. Отдельно пришло письмо.

«Дорогие пионеры! — написал в ответ Белек. — Спасибо вам за книжки и подарки. Дорогие пионеры! Теперь я буду о вас думать, и я тоже хочу учиться. Приезжайте к нам, у нас тут есть лес и река. Учителыща и учитель рассказывает нам о школьниках-пионерах, но нашим родителям трудно живется, и они боятся, что некому будет дома работать. Дорогие пионеры! Если приедете, то купите мне губную гармонику, потому что на мою наступила корова и в четырех местах ее испортила. За гармонику я вам заплачу, деньги у меня есть — мне давала тетя и разные люди платили мне за работу. Книжки прочту потом, мне пока еще некогда. Всем вам шлю привет».

В первую неделю каникул молодые Щепанеки поехали в Беляву. У Щепанека был короткий отпуск, приходилось торопиться, чтобы хватило времени на все, что они задумали. Отца Ванды Щепанек знал по двум мимолетным встречам и теперь с некоторой опаской ждал, как встретит их Лемжа.

— К моим родным я тебя не поведу, — сказал Щепанек жене с печальной улыбкой, — у меня их нет. Зато я покажу тебе леса, пески и луга, где я вырос. Ты познакомишься с моими друзьями и, может быть, полюбишь их...

В Рыбках Щепанек решил взять извозчика, но тот не захотел ехать в Беляву. Молодые пошли пешком, часто останавливались и целовались; они провели вдвоем счастливые дни, хотя знали друг друга несколько лет. Дорога была пустынная. В эту пору года, перед жатвой, все кругом дышало ленивым покоем. В невысокой ржи на все лады жужжали и звенели всякие букашки. От васильков, ромашек и маков исходил сладковатый и стойкий аромат, напоминавший запах птичьих перьев.

— Пляска! — сердился Щепанек. — Сколько

красиво!

Щепанек посмотрел на Ванду и забыл о пляске; он хотел ее удивить, откуда здесь, на фоне белявских полей, появились эти серые глаза с жесткими, прямыми рес-

ницами, губки бантиком, детские, круглые щечки и на левой при улыбке ямочка.

В лесу они, как когда-то Анна с Тадеушем, свернули на просеку и отдохнули на берегу реки, возле мостика. Надне оврага журчал по камням мелкий ручеек. На паутине, затянувшей папоротники, плавно скользили серебряные блики.

— Тут были дубы, прекрасные дубы, а теперь их нет, — сокрушался Щепанек. — Все стало по-другому. А мостик-то какой дрянной, надо Тадеуша пристыдить... Нравится тебе у нас? Ну, хоть немножко? — с беспокойством спрашивал он.

— Нравится, очень нравится, — уверяла Ванда. — На нашей улице, там, где мы жили с отцом, ни одно деревцо не росло, дым стлался весь день, противно пахло клеем...

Щепанек останавливал детей, гнавших после обеда скотину на пастбище. Ему казалось странным, что он их не знает. Невнятно, робея, они отвечали, как их зовут; в деревне появилось много новых для Щепанека фамилий — белявские девушки повыходили замуж за нездешних...

Светловолосый подросток с озабоченным, испуганным лицом гнал двух тощих, перепачканных в навозе коровенок. Щепанеку его лицо показалось знакомым.

— Ты чей, сынок?

Паренек украдкой бросил взгляд на мундир Щепанека, потом назвал себя:

— Феликс Жондлик.

— Мама твоя жива?

— Жива. В больнице она, в городе.

— А ты у кого?

— У тетки...

Ванда дала ему конфет. Мальчик не хотел брать, а потом долго еще смотрел им вслед.

В поле на дороге закричала телега. Щепанек с первого взгляда узнал, кто на ней едет, но не успел сказать Ванде. Он побежал вдогонку за телегой, свернувшей на широкую межу между коноплей и горохом.

— Гундзя?

— Я. А вы кто, пан?

И вдруг она так, с вожжами в руках, и перегнулась через высокую грядку телеги. Щепанек обнял Гунду. Она выпустила из рук вожжи и плакала, целуя лицо и волосы Щепанека.

ИИ РЯЗНАЯ, вся в пыли...

Теперь она одновременно громко плакала и смеялась и говорила сквозь смех и слезы:

— Такой важный пан... Такой пан... Не забыл... Сколько я о вас думала, сколько вспоминала...

— Не называй ты меня паном, Гундзя, я такой же Щепанек, как был.

— О боже! А я за люпином... Все торопит Мысонь, все торопит... — Смущенная, взволнованная и счастливая, Гунда не знала, что сказать; слезы, которых она не вытирала, стекали по морщинкам ее преждевременно постаревшего лица. У Щепанека сердце сжалось от тоски и боли, он опустил глаза, чтобы не глядеть на Гунду.

— Я зайду к вам, поболтаем... Болек, верно, уже большой...

Гунда испугалась: только теперь она заметила, что Щепанек не один.

— Лучше не приходи, Щепанек. Стыдно мне, а все-таки не приходи. Такой у меня мужик, что и сказать нельзя...

Она взяла вожжи и кнут и хлестнула кобылку по крутым бокам.

— Не забывай...

Ванда срывала ромашки у края неглубокого рва.

— Это Гунда Явор. Оба мы служили у Яворов. Сперва я, а потом она.

— Гунда Явор служила у Яворов...

— Мне было тогда шестнадцать лет, — вырвалось у Щепанека, хотя она ни о чем не спрашивала.

Они молча шли по голому невысокому холму. Оба устали.

— Видишь кусты и деревья, вон там, справа? — оживился Щепанек. — Пойдем туда, это по дороге в школу. Я тебе покажу, где был дом Рапачей. Тополь там стоял высокий, нет теперь и тополя...

Они свернули на тропинку и пошли через рощу. Здесь было тенисто и прохладно; старые пни белели среди кустов малины и ежевики. Потянуло прелью, как из погребя.

Вдруг они услышали глухие стоны и звуки мерных ударов, точно кто-то бил по земле кувалдой. На крутом повороте тропинки перед ними открылась полянка, на которой росло несколько деревьев. Щепанека и Ванду еще скрывали кусты метлицы и костеря. Рука Щепанека сама

собой потянулась к кобуре. Ванда остановилась как вкопанная и схватила его за руку.

К суку старой яблони была привязана веревка, которая то натягивалась, то обвисала, словно кто-то сильно ее дергал. Петля стягивала шею лошади под самой мордой. Спинной к ним стояли взрослый мужчина и мальчик в пионерской рубашке, у обоих в руках были дубинки. Мужчина, видимо, в этот момент отдыхал. Потом он широко расставил ноги, поднял палку и ударил лошадь раз, другой, третий. Лошадь рванулась, опустила морду, захрипела и снова согнула шею и опустила морду, пытаясь заслонить ее передними ногами, и казалось, что это защищает себя не животное, а ребенок.

— Лупи! Боек, лупи! — орал Явор.

— Не хочу! Не-е-е-е! Не бейте его! — Мальчик швырнул дубинку прочь. Он медленно, шаг за шагом, пятился к кустам.

— Бунт?! — взревел Явор. — Тебе еще мало? Ах ты, ублюдок! — Он замахнулся, но Боек отскочил в сторону. Сильный удар пришелся по лошади. В воздухе разнеслось тонкое, отрывистое ржание, похожее на смех, у лошади подогнулись ноги.

Первой крикнула Ванда. Вместе со Щепанеком она бросилась к яблоне.

Явор на мгновение остолбенел, но тут же кинул дубинку прыгнул в кусты.

Щепанек медленно опустил револьвер. Он тяжело дышал. Маленькое седое облачко недолго плыло над травой — сдул порыв ветра. Щепанек нагнулся и погладил Гнедо по теплой, исполосованной палкой шерсти.

— Да, старина... Не тебе, бедняге, предназначена была пуля... Плохо я тебе отплатил за все прежнее...

— Они не пошли в школу, изменили первоначальный

— Трудно им было теперь встретиться с отцом. Ванда

— еще горько рыдала, Щепанек никак не мог ее успо-

... в доме лесничего они застали Лемжу. Все трое —
— Анна и Мруз — бросились к ним, громко выражая
— радость и удивление. Приезд Щепанеков был для
— неожиданностью. Поднялась общая суматоха, посы-
— вопросы, все стали выражать друг другу свои чув-
— перебой рассказывать новости. Щепанек не был в
почти десять лет. Анна и Тадеуш впервые видели

Ванду. А у Лемжи даже дух захватило, когда дочка среди объятий, поцелуев и извинений призналась ему, что они со Щепанеком уже поженились.

— Дети, дети, — всплеснул он руками, — что это за варварская мода, ни словечка отцу...

Ванда ласково провела рукой по бороде Лемжи.

— Мы очень торопились, старичок, и предпочли к тебе приехать, когда все будет позади, иначе ты бы стал кривиться, да раздумывать, да чинить всякие препятствия...

— Как же теперь? Откажешься от должности? Ты к нему переедешь или он к тебе?

— Вот видишь? Уже начинается. Сейчас никто переезжать не будет. Все останется попрежнему. В работе равноправие. Верно, Щепанек?

— Я собираюсь поселиться в Небожине... — бормотал Щепанек, смущаясь под пристальным взглядом тестя. — От школы близко, а у меня мотоцикл...

— Мотоцикл! Мотоцикл! — разбушевался Лемжа. — Шею свернешь, капитан, девчонку сделаешь несчастной. Я бы ничего не сказал, будь у вас служебная машина.

— Могу достать и служебную машину, — оправдывался Щепанек.

— А вообще, — неумолимо продолжал Лемжа, — я не одобряю столь далеко идущей эмансипации в супружеской жизни. «Все будет попрежнему», — передразнил он дочку. — К чему это приведет? Семья будет разбита.

Случайно взглянув на Анну и Тадеуша, которые слушали его молча, насупившись, Лемжа осекся.

— Тьфу, какие я глупости болтаю, — рассердился он сам на себя. — Была бы любовь, все остальное уладится. Анна, дорогая, заварите мне травки. Я что-то расчувствовался.

Он подошел к Щепанеку, стал на цыпочки и поцеловал его в лоб.

— Была бы любовь... — очень тихо повторил Тадеуш.

Но Анна расслышала. Она коснулась его руки. Не глядя, она догадывалась, что выражают в эту минуту его глаза.

— Да, да, — шепнула она. — Верь мне.

Это было в субботу, и сразу после полдника гостей стало больше. Пришел Куба Явор с Ядвисей, а вслед за ними и солтыс. Анна принялась хлопотать об ужине.

— Травка сегодня будет покрепче, — смеясь, сказала она Лемже.

Тем временем Щепанеки рассказали, что довелось им увидеть в одичавшем саду «рапачовки». Куба побледнел и подпер руками свою тяжелую, большую голову.

— Этого я ему не прощу.

Щепанеку было приятно, что Ванда и Ядвися друг дружке понравились. Они сели в сторонке и теперь вполголоса оживленно беседовали, а Щепанеку не сиделось на месте; его неотступно преследовала мысль, будто он что-то упустил, чего-то не сделал, должен немедленно в чем-то убедиться. В сенцах Анна резала на кухонной доске холодное мясо.

— Я прогуляюсь... — сказал он просительным тоном, опасаясь, как бы она его не задержала.

— Хорошо, Щепанек. Пока сварится картофель...

Он отворил калитку и очутился на знакомой тропинке, по которой когда-то так часто ходил. Сперва Щепанек шел обычным шагом, потом, как в давние времена, побежал через лес и только в открытом поле снова пошел медленнее. Солнце уже близилось к закату, и тень Щепанека причудливо изгибалась на полосках хилого овса. «Убрали ли они оттуда Гнедого?» — думал он с гневом и все возрастающей жалостью. Невольно он прибавил шагу, мысли беспорядочно роились у него в голове: «Он примчал меня

Немжу, были крестины. Гдовяка убили. Фирус погиб. Гунда плачет. Тадеуш и Анна — счастливы ли они? Бея-а, Беява... Маленький Жондлик у тетки. Не пора ли вернуться... Едва солнце зайдет, соазу спускается ночь. Какая здесь глушь. Хорошо ли, что Греля стал солтысом? Слишком он мягкий... Слепой этот Явор, ничего не разгля-а, зря его тогда пожалели... Оно лучше, что отпуск у-ния короткий...»

Щепанек подходил к роще, когда впереди в ольшанике мелькнула тень худенького мальчика. Медленно, осторожно шага, Щепанек двинулся вслед за нею.

— Болек! — позвал он негромко. — Болек!

Никто ему не ответил. Тут, среди деревьев, уже сгуща-ются сумерки. Легкое облачко тумана окутало верхушки че-ех ив, которые склонились над затхлым болотцем, слов-то-то высматривая там. Щепанек постоял с минуту, м присел на пенёк и закурил. «Прячется, должно быть, тца? Подожду...»

Совсем близко послышался шорох, треск ветки под ногами. Щепанек тихонько поднялся. «Позвать? Убежит». Он шагнул вперед. Густая поросль молодой ольхи прикрывала его. Еще несколько шагов — и стена зелени оборвалась. Щепанек очутился на той же полянке, где был днем, но он зашел с другой стороны — и место это показалось ему неожиданно изменившимся. В пяти-шести шагах от него стоял Болек Явор.

Он стоял под той же яблоней, повернувшись лицом к стволу. На притоптанной траве темнела кровь Гнедого, но самого Гнедого уже не было. С ветви свисала веревка, которую так и не отвязали. Мальчик держал конец веревки. Щепанек видел, как содрогаются у него спина и руки. Потом он услышал протяжный прерывистый вздох. Болек накинул петлю на шею. Веревка свободно болталась. Мальчик согнул колени и натянул веревку. Потом поднялся и снова упал на колени. Он проделал это несколько раз так, словно раскачивал качели. Затем, не снимая петли с шеи, разбежался, рванулся, но удержался на привязи. Тогда он отбежал в другую сторону и снова повторил это же движение, и так много-много раз упрямо пригибался к земле и всей тяжестью тела натягивал веревку. Он споткнулся, упал, натянутая веревка удержала его в наклонном положении. Мальчик дрожал, его душил кашель.

— Эй ты! — крикнул Щепанек, подбегая к Болеку. От ужаса и гнева он не мог выговорить больше ни слова. Он подхватил мальчика, приподнял его и дрожащими пальцами развязал петлю.

Тяжело дыша, они стояли друг против друга. Мгновение спустя Болек заглянул Щепанеку в глаза, и тот не успел даже протянуть руку, как мальчик прыгнул в сторону и исчез в кустах.

— Болек! Болек!

В ответ ему зашелестели потревоженные листья. Зло взяло вдруг Щепанека, он даже скрипнул зубами. «Убега-ет», — подумал он и пустился вдогонку за мальчиком.

Болек мчался со всех ног, но Щепанек упрямо не отставал. В гуще деревьев у мальчика было перед ним преимущество, но когда они вырвались на вырубленный участок «рапачовки», Щепанек догнал, наконец, Болека. Он схватил вздувшуюся на спине рубашку, придержал, и оба они пошатнулись.

Они долго не могли отдышаться и присели на одинокий

угловой камень, который когда-то поддерживал стену боковушки в хате Рапачей. Щепанек крепко обхватил Болека и не отпускал.

— Чего вы, пан, хотите? — Глаза Болека сверкали от гнева. — Я не боюсь!

— Ах ты! — крикнул Щепанек. — Чего я хочу! Это я у тебя должен спросить. Ты что делал?

— Сами видите. Убегал.

— Почему?

— Просто так.

— Не хочешь говорить? Ладно. Пойдем домой.

— Не пойду.

— Не пойдешь?

— Нет.

— Где же ты будешь спать? В лесу?

— Пустите меня.

Они помолчали.

— Послушай, Боек. Так нельзя. Скажи, что ты там делал. Зачем ты возился с веревкой.

Боек рванулся. Щепанек сильнее сжал его руку.

— Ты, как заяц. Не беги. Отвечай мне. Я хочу тебе помочь, Боек. Понимаешь? Помочь. Меня зовут Щепанек, я тебя помню вот таким. Еще в колыбели. Знаешь?

— Знаю. Дома часто говорят...

Он скользнул по лицу Щепанека беглым, недоверчивым взглядом, глубоко вздохнул, потом сказал громко и очень внятно:

— Вы, пан, приехали и уедете. Я больше не верю. Ни во что не верю. Ни во что, — повторил он со страстью. И при этих словах Щепанек почувствовал, что Боек перестал сопротивляться и больше не старается вырвать свою руку из его цепких пальцев.

— Вот ты какой! — возмутился Щепанек. — Ты, брат, еще мал, едва жить начинаешь, а рассуждаешь, как старый дед. Сперва убедись, потом говори.

И после паузы Щепанек стал вдруг вспоминать, как будто и не обращаясь к Болеку:

— Не было у меня ни отца, ни матери. Окрестили меня добрые люди, дали мне имя, а подрос, выгнали вон, самим сть было нечего. Хлебнул я горя, пока опять встретил добрых людей, которые помогли мне; и время-то было нень тяжелое, а все-таки они мне и тогда, да и потом еще помогли. И вот хорошо мне — живу я и жить хочу. А ведь

тоже бывали минуты — давно, давно это было, — когда мне казалось, что ничего больше не остается, только сук да петля...

По спине Болека пробежала дрожь, он встал.

— Я не хотел! Что вы! Я не для этого!

— Что?

— Да с веревкой-то. Вы у меня спрашивали.

Щепанек помолчал, выжидая.

— Мне надо было самому испытать. Вы ведь видели, что было с Гнедым...

И, уже не стесняясь, он опустил голову и прижал к глазам кулачки. Щепанек с трудом разобрал его полный отчаяния сдавленный возглас:

— Как ему было больно! Господи боже мой!

— Ты о Гнедом говоришь?

— Да... о Гнедом... И я, я его два раза ударил...

Щепанек дал ему выплакаться.

— Болек, Болек... Хорошо, что я знаю...

Щепанек вскочил, поднял руку, словно принимая важное решение, и порывистым движением опустил ее вниз.

— Тебя нужно забрать из Беявы. Непременно. И как можно скорее.

— Сядьте, пожалуйста, — тихо попросил Болек. — Пожалуйста, не уходите. — И, помолчав, прибавил:

— Раз так, я вам все расскажу.

Он ерошил волосы на висках, движения его выдавали беспокорность и неуверенность.

— Вам первому откроюсь. Мне ведь не с кем поговорить. Пани — она добрая, да я ее стесняюсь. Дядя Куба... он собирается жениться... я все знаю... он и так из-за меня с папой подрался. Папа мне не даст жить ни у дяди, ни у Соляжей, ни у кого. Он хочет, чтобы я жил дома. Так оно есть, и так оно всегда будет. Не хочется мне ни учиться, ни думать. Я учился музыке, да все позабыл. Ходил к Сикоре — запретили. Мысонь мне обещал гармонику за то, что я его коров пас — ведь сам он больше по свадьбам не ходит, гармоника ему не нужна, — два года я пас, а сколько сечко нарезал, дров, воды наносил, листьев нагреб... и не дал. Где-то в городах есть и пионеры, а мне одна досада читать об этом в книжках. Радио у пани слушать — и то нельзя. А меня все тянет к музыке и тянет, и пусть уж лучше все это у меня из головы вылетит, лучше бы я ничего об этом не знал...

На западе угасала последняя бледная полоска зари. Они снова шли через рошу.

— Дома ничего не говори, — сказал в заключение Щепанек. — Жди терпеливо. Когда мы будем возвращаться в Небожин, заедем и заберем тебя с собой либо дядя тебя привезет. В интернате найдется место для тебя, мы уж постараемся. Пока ты будешь нас ждать, учительница все уладит в гмине.

— И вы там будете, в Небожине?

— Я тоже. Жена моя там будет. Ты не бойся, она добрая.

— Далеко этот Небожин?

— Не очень. Ну, Болек. Дай руку.

Щепанек нагнулся, они поглядели друг другу в глаза.

— Ты похож на мать. Только волосы у тебя не такие... Выше голову, брат. Выйдет из тебя человек. Ты должен этого хотеть. Должен!

Заглянув в окно и удостоверившись, что бабка одна, Болек проскользнул в хату. Быська мерно покачивалась над столом, быстро шевеля запавшими губами и перебирая на коленях четки. Увидев Болека, она прервала молитву и немного прикрутила фитиль лампы.

— Отец за тобой приходил, опять он чего-то зол... Еще придет.

Болек, широко раскрыв глаза, остановился посредине хаты.

— Придет? За мной?

— Ах, сынок, сынок, — горевала Быська, — то ли ты такой нехороший, то ли озорник, что тебя Костек так преследует... А я-то чем провинилась, что нет мне покоя ни днем, ни ночью... Вечно, вечно терплю из-за тебя. Надоело мне, смерти у бога прошу...

Он подошел к старухе, поцеловал ей руку.

— Вы, бабушка, хорошая. Еще поживете. А фитиль прикрутите: жаль керосина.

Из-за печки, где у него был тайничок, он достал полочную гармонику, деревянную птичку, подаренную Анной, завернутые в тряпочку сбережения. Украдкой взял шапку, положил в нее птичку и на цыпочках вышел в сени. Быська ничего не видела — у нее слипались глаза, и четки тыли в одеревеневших пальцах.

Щепанеки остались ночевать у Мрузов. Вчетвером они рассказывали о давних и свежих событиях, толкова-

ли о том, как сложится в дальнейшем жизнь. За окнами стояла темная, мирная ночь, и только однообразный шум верхушек сосен нарушал тишину. Наконец, Тадеуш и Щепанек прошли в ригу, чтобы устроить постель на свежем сене. Молодые хотели переночевать в риге.

Когда все было готово, Тадеуш, погасив электрический фонарик, удержал Щепанека за руку.

— Щепанек... Я хочу посоветоваться с тобой об одном деле...

Щепанек в темноте нашел руку Тадеуша и пожал ее.

— Щепанек... Никто об этом не знает. Даже Анне я не говорил. А я... как Боек у Яворов, ты меня поймешь. Томит меня эта жизнь, недоучка я. Дело не в лесоводстве. С этим я кое-как справляюсь. А так, вообще. Я ведь вижу, сколько в Беляве еще дела. Когда сожгли школу, я тогда принял решение. Что ж, не хватает у меня образования. Перед Аней совестно, мало чем я могу помочь ей. Ты не сердись, но как погляжу на тебя, зависть берет. Тресни меня по башке, если хочешь, я заслужил...

Он передохнул, тяжело ему давалось признание.

— Я был у Соляжа. Он обо мне не забыл, хотя было время, когда я и на него переставал надеяться... Нет, он не забыл. Всякий раз, когда бывает в наших краях, заходит к нам. Он расспрашивал обо мне людей, несколько раз просил прийти, приглашал... Ему, говорит, для полного счастья нужно, чтобы я тоже, как когда-то, понимаешь... Он меня уговаривает поступить в партийную школу при воеводском комитете. А можно поехать учиться и на более длительный срок, в Лодзь. Старший лесничий из Ружанцев заменил бы меня, а может, и кого-нибудь другого прислали бы в мой район на это время, тут беды большой не было бы. Да я сам не знаю, как поступить. Мне стукнуло сорок, голова уж не та, да и из дому жалко уходить, от Анны... Я ей не говорю, она бы, не задумываясь, сказала: «Ступай!» И еще — понимаешь? — я боюсь, что очень уж легко у нее это слово вырвется... Сложно все это, Щепанек, совсем я запутался...

Щепанек ответил не сразу.

— Ты всегда был умнее, чем я. Ведь ты первый дал мне толчок, тебе я обязан тем, что стал человеком. Этого я никогда не забуду. И думаю я, что для стоящего дела никогда не бывает слишком поздно. Если в тебе говорит внутренний голос, доверься ему. Помнишь, Тадеуш, что ты

мне сказал, когда я попросил, чтобы вы меня приняли в партию? Вот твои слова: «Ты сам пришел к этому решению, я верю тебе. Оружие без воли ничего не стоит. Ты борец за дело своего класса». Ты, Тадеуш, тоже борец за дело своего класса. Я не могу тебе советовать. Я могу только верить в тебя.

Утром прибежала перепуганная Гунда. Она спросила, не видели ли Мрузы Болека, не остался ли он у них ночевать.

— Нигде его нет, — причитала Гунда. — В Ружанцы он тоже не пошел, потому что Куба у Грелей..

Только теперь Быська обнаружила, что исчезли игрушки Болека, хранившиеся за печкой. А к полудню вся Белява уже знала, что Боек убежал от Яворов.

XVI

НЕБОЖИН

Жизнь тетки Текли в Небожине сложилась неудачно. С самого начала она стала свидетельницей заката и ликвидации водолечебницы Леона Такно. Не помогли на этот раз ни предусмотрительность, ни изворотливость. Комиссии из воеводства, приехавшей накануне летнего сезона 1947 года, не понравились ни целебная вода, ни павильон с ваннами, ни приглашение на роскошный обед. Текля вместе с Такно пытались при помощи протекции и денег исправить дело, принявшее дурной оборот, но все их хлопоты оказались бесплодными и не достигли цели. Павильон сжигали. Леон Такно поплатился за легкую наживу, внекрупный штраф и погасив всю задолженность по налогам.

Позднее Текле пришлось натерпеться еще большего зла.

Процесс банды Яблушко наделал много шума. Постепенно разговоры о нем поутихли, но в Небожине народ все волновался. Здесь хорошо помнили барона Поренца, знали и пресловутую историю его имения, которое пошло в долг за карточные долги и векселя, выданные ростовщиком. Известно было в Небожине и то, что Такно на деле хорошо поживился. И когда газеты принесли поощряющую новость, что под кличкой Яблушко скрывается

последний из Поренцев — единственный сын барона, прокутившего родовое имение, бывший поручик Язловецкого уланского полка и бывший гестаовец, Леон Такно долгое время никому не показывался на глаза.

Текле казалось, что на фотографиях Альфреда Поренца-Яблушко она узнает человека, который дважды посетил их ночью, выдав себя за торговца мясом. Он не вызвал у нее никаких подозрений — Такно в тот период пускался на всякие тайные операции, лихорадочно восполняя ущерб, нанесенный его карману. Теклю не удивляло и то, что по ночам приходил к ним и бывший смотритель павильона — пасынок садовника Рендзиковского из Ружанцев; местные жители дали ему прозвище Меченый, так как у него был большой шрам за ухом. Она знала, что Поренцы, у которых до войны работал Леон Такно, состояли в родстве с ружанецкими помещиками и что ее сожитель еще в те времена знал их служащих. А Меченый, до того как нанялся к Такно, был лакеем у Шниц-Нивиских. После разгрома банды Меченый больше не показывался в Небожине. Теклю мучили дурные мысли, но она предпочитала ни о чем не расспрашивать Леона и не проверять правильности своих догадок. Время шло, а ничего нового не случалось.

Потом Такно взялся за извозный промысел. Это служило неплохим прикрытием торговых операций от посторонних, слишком любопытных глаз. Свободным временем Такно располагал в избытке — за сутки он совершал не больше трех ездов, предоставляя все остальные Паленде, своему старшему товарищу по профессии. Паленда не жаловался на конкуренцию: многие годы они вместе и в полном согласии вели торговлю, вместе придумали для Такно и новое занятие. Все разъезды распределяли по справедливости. О себе они говорили: «Нас государство посадило на козлы». К ночным поездкам отправлялись по очереди, издевались над грошовыми чаевыми и за рюмкой обсуждали вопрос о том, что надежнее — товар или валюта.

С тех пор как в небожинском замке открыли музыкальную школу, извозчики не могли пожаловаться на отсутствие седоков. От железнодорожной станции до школы было километра полтора, а все пассажиры теперь приезжали сюда с багажом. Однако обоим извозчикам больше нравились прежние, спокойные времена.

Такно стал резок и груб с Теклей. Она страдала, по ночам плакала над своей слабостью. Пореш никогда не имел

над ней такой власти, как Леон. «Мне пятьдесят пять лет... — с отчаянием думала Текля. — Ничего лучше я уже не найду...» Чтобы понравиться Леону, она покрасила волосы. Не помогло. Он все-таки засматривался на более молодых, и Теклю терзала ревность. Она уехала к сыну, но через неделю вернулась. У Адама была небольшая квартирка при больнице, каждый вечер к нему приходили гости — коллеги, врачи, какие-то литераторы, даже артистки из театра, все люди образованные; они и разговаривали словно не польски, потому что Текля ничего не понимала в их ученых речах. Она чувствовала, что ее присутствие тяготит Адама, хотя он открыто этого не высказывал. Она подавала гостям чай с печеньем, потом уходила на кухню, неподвижно сидела на связке книг, прикрытой ковриком, и ждала, пока гости уйдут. Подчеркнутая сердечность, с которой они с нею прощались, унижала ее. Она попыталась состязаться в элегантности с молодыми женщинами, посещавшими Адама. Но даже ее шелковый халат с узором из желтых цветов и розовых райских птичек не получил признания. «Мама, — озабоченно сказал Адам, — вы слишком сильно пудритесь...»

Иоланта Хмель в Небожине тоже была дама, и вдобавок жена профессора, но с ней Текля легко уживалась и очень ценила ее дружбу. Они нашли общий язык, вели разговоры не бог весть о чем, а всего лишь о своих знакомых. И вот неожиданно до Текли дошла новость: Хмеля уволили. Для нее это был тяжелый удар.

Леону Такно пришлось взять на себя перевозку багажа Хмелей. Вещей у них была уйма, а барыша он никакого не предвидел. Но Текля твердо стояла на своем.

— Бедняги, — заступалась она за Хмелей. — Недолго тут прожили — и пожалуйте. Такие благородные люди, а скитаются, как цыгане, опять им надо где-то искать куска хлеба... Теперь никто на месте не засидится, если с ними не в ладу живет. Профессор был слишком справедлив, не хотел пускать во дворец нищую голытьбу, старался принимать детей порядочных родителей, состоятельных... Этого ему не могли простить. Пани Иоланта мне все рассказала.

Но Такно не интересовался тем, что рассказывает жена Хмеля.

— Нужно совсем потерять совесть, Леон, чтобы взять с Хмеля хоть пять грошей, — не унималась Текля. — Профессор мой старый знакомый, почти родственник. И с тобой

они любезно обходились, ты им пять отрезов удачно продал...

— Перестань! — крикнул Такно с такой злобой, что Текля выронила кисть, которой кропила белье перед глажением.

Он сразу успокоился и прибавил, оправдываясь:

— Плохо дело. Паленда был в городе и говорит, что в магазинах полно товаров. Ему еле-еле удалось спихнуть то, что взял с собой. Черт его знает, как быть. Пошли слухи, будто все подешевеет... Вот и в деревнях сейчас мужики обнаглели...

Такно молчал, как воды в рот набрал, пока перевозил вещи Хмелей на товарную платформу. Пани Иоланта, повязав голову полотенцем, охая и жалуясь на мигрень, металась по квартире. Она все еще чего-то искала, все еще что-то теряла, перетряхивала уже запакованные тюки, избила маленького Кшиштофа за то, что путается под ногами, наконец, со слезами накинулась на мужа, уверяя, что он сведет ее в могилу, ведь из-за него она в критический момент прервала лечение на курорте. На Леона Такно она покрикивала, как на слугу. «Пять сотен сдеру, — решил он, — раз ты такая важная дама».

Во время последнего рейса на станцию под тяжестью фисгармонии лопнула рессора. Хмель угостил Такно сигаретой и сказал:

— Надеюсь, вам здесь повезет больше, чем нам.

Это прозвучало так многозначительно, что Такно даже не заикнулся о вознаграждении за труд.

Не прошло и двух недель со дня отъезда Хмелей, как Текле сообщили о смерти мужа, Виктора Пореша. Адам писал, что не мог уведомить ее о дне похорон, так как сам поздно узнал — чужие люди, родственники той женщины, с которой спутался Пореш, сами его похоронили. Они-то и повинны в скоропостижной и бесславной смерти Пореша. Он пытался мошеннически присвоить для них какую-то мебель и вывезти ее за пределы дозволенной зоны. На узловой станции все обнаружилось. Пореш удирает от железнодорожной охраны, маневрировавший на путях паровоз сшиб его, и он попал под колеса.

Тетка Текля поплакала над своим вдовством и достала из шкафа черный креп, который берегла еще с похорон сестры.

— Ты комедии не ломай! — сказал Такно. — Лучше

поезжай туда, к любовнице Пореша, пока все его добро не растаскали. И про мебель узнай...

Пролетка у Такно все еще не была починена. Когда Текля уехала, он вызвал младшего Паленду, мастера на все руки, и они вдвоем взялись за ремонт.

Занятые работой, они довольно долго не замечали, что кто-то в упор смотрит на них. Наконец, робкий гость отважился поздороваться. Они обернулись. У ворот стоял паренек в зеленой рубашке и в коротких шерстяных штанишках, шапку он держал в руке. Они приняли его за посыльного.

Такно отложил клещи и молоток и подошел к мальчику.

— Пролетка сломалась, — не дожидаясь вопроса, сказал он. — Я теперь не езжу.

— Я к крестной...

— К кому?

— К тете Текле. К Пореш.

— Нет ее дома. Уехала.

Такно не спеша вернулся к прерванной работе.

— Пан Такно, — спустя добрый час окликнул его Роберт Паленда, — он все еще стоит...

Такно сверкнул глазами и нахмурил густые брови.

— Подойди-ка поближе. Ты откуда?

— Из Беявы. Я к тете...

— Это я слышал, — отрезал Такно. — От Яворов, да?

Он поглядел на побелевшие от пыли сандалии мальчика.

— Ты как сюда добрался? Поездом?

— На весь билет денег не хватило... Верст двадцать пешком прошел, люди мне дорогу показали...

— Докуда ты доехал?

— До Бояновки.

Роберт хлопнул себя по колену и удивленно покачал головой.

— Здорово, брат, шагаешь... Где же ты ночевал?

— Нигде. С рассвета иду.

Смуглое, лоснящееся лицо Леона Такно даже не дрогнуло.

— Тебя дома подучили или ты сам придумал?

Боек не ответил.

— Документы у тебя есть?

Боек согнулся, когда Такно опустил руку ему на плечо. У мальчика зашумело в ушах. Он покраснел и пошел.

— Ишь, какая птица, — тихо, но весьма выразительно проговорил Такно. — Сейчас же отсюда уберешься, как миленький. Этого только мне недоставало... погоди, я помою руки и отведу тебя в гмину.

— Пан Такно, — вдруг сказал Роберт, — может, ему дать поесть... — Он швырнул масленку, перепрыгнул через дышло и, подбежав к мальчику, поддержал его за плечи.

— Садись, брат, что ты так раскис, даже смотреть на тебя страшно. Дать воды?

Такно подумал и спросил:

— За лошадью умеешь ходить?

— Еще бы... — улыбнулся обнадеженный Боек.

— Править сможешь?

— Я в Рыбки один ездил... И в поле за овсом...

— Ну-ка поди сюда, помоги. Подними ось. Нет, не с этой стороны! Вверх! Еще немного!

Когда они кончили, Такно вытер мешковиной замасленные руки.

— Пора перекусить. Скажи-ка мне еще, зачем тебе тетка понадобилась?

Боек выпалил одним духом:

— Мне у папы ужас как плохо. Сюда приедет пани Щепанек, она все знает. Разрешите мне, пожалуйста, подождать ее у тети.

Роберт первый сообразил, в чем дело.

— Ах, это ты о Лемже говоришь, учительнице. Да, да, она вышла за Щепанека, это верно.

— А от нее чего тебе надо?

— Я тут в школу должен поступить, не могу я жить в Беяве.

— А квартиру у меня присмотрел, да? Хитер...

Такно взглянул на Боека подозрительно и неприязненно, но в то же время с явным одобрением.

— Нет, нет, — оправдывался Боек. — Это где-то во дворце...

— Ну, ну... Во дворце. Посмотрим. Тетка твоя, Текля, не сегодня, завтра вернется.

Она вернулась через три дня и еще у ворот громко спросила, где Боек.

— А там голову потеряли! — замахала она руками при виде мальчика. — Ишут!

— Не кричи, — остановил ее Такно, — я дал им знать. Ну, как? Была ты в Беяве?

— Была. С Терезкой. Но к Явору не заходила, опротивел он мне, Терезка одна пошла. Я у Мысонеи ждала...

И не считаясь с тем, интересуют или нет Такно судьбы жителей Беявы, она начала по привычке выкладывать, кого видела, с кем разговаривала, при этом всех называла по именам без всяких пояснений, словно каждому само собой должно было быть понятно, что Юзусиха — это просто Юзусиха, а Баланек — это некто иной, как Баланек. Но Такно сегодня слушал ее внимательно, не прерывая.

— Ну и поплакали мы с Гоноркой! — вздохнула Текля, с волнением вспомнив о том, как она тогда растрогалась. — Гонорка порядочная женщина, всех нас помнит. А как заговорит об Альдонке, сразу слезы на глазах...

— А как Мысонь? — перебил ее Леон. — Здоров? Все у него в порядке?

— А что же у него может быть? — удивилась Текля, не придав особого значения его словам.

— А Гдовяка еще не забыли в деревне?

Текля на мгновение растерялась, она не ожидала такого вопроса.

— Сколько лет назад это было! Нашел, что вспомнить...

— Рассказывай, рассказывай, — потребовал Такно. — Как живут Мысони?

— Любо-дорого смотреть, как они живут. Мы с Терезкой приехали как раз в полдень, Гонорка ничего не могла знать, она нас не ждала; шла она с молоком из коровника, а сапожки на ней хорошие, платье чистенькое в цветочки, передник с плечиками, платочек на голове назад повязан — красивая деревенская хозяйюшка, только по-городскому одета. Ведет нас в дом, пол, как стеклышко, молоко сейчас же на сепаратор... Спрашивает, чего нам угодно — молока или чаю, тут же режет белый хлеб, а в плите огонь трещит, обед варится, это, знаешь, в деревне новость, чтобы к обеду топить, а не утром... Ты представить себе не можешь, как они здорово хозяйничают. Знай землю покупают да покупают. Поверь, я ушла от них в восхищении. В восхищении! И на таких людей собак вешают. Не понимаю. Им бы орден дать, а не срамить в газетах...

Она вдруг повернулась к Болеку.

— Может, я неправду говорю? Ну-ка скажи, как вас в школе учат.

— У Мысонеи хорошо, — подтвердил Болек.

— А твой отец! — она всплеснула руками. — Явор! Какую он конуру поставил! В жизни такой не видывала! Стены из круглячков не толще твоей ноги, из веток, что ли? Терезка говорила, что и пол-то в хате не настлан, и потолок едва держится, и сеней нет... А уж солома на стрехе такая плохая, что просто срам...

Такно потерял терпение.

— Дался тебе этот Явор. Говори, наконец, чего ты добилась. С мебелью что-нибудь вышло?

— С мебелью ничего. Мой Адам тоже чудак. Уперся — нет и кончено! Нельзя, говорит. Да что я, из ума выжила... Какое! Даже запретил мне к той ходить...

Текля показала на привезенный узел.

— Вырвала у этой дряни все, что могла. Тут несколько костюмов Виктора, пригодятся тебе. Болеку штанишки сошью, рубашонку... Ну и шельма! Опутала чужого мужа, без развода, без венчания... и мне, мне, жене, смела возражать!..

Голос у нее был грозный и торжествующий.

— Замухрышка несчастная. Кожа да кости. Да я бы ее голыми руками растерзала! Ну, бумаги у меня все есть, с печатью, я законная вдова. Все в порядке.

— Я сдал верх трем дачникам! — сообщил Такно. — Столоваться не хотят, им нужна только квартира.

— Молодые?

— Не очень.

— Как будут платить? Сразу? Потом?

— Им все равно.

— Могут и по истечении срока. Жильцам надо угождать. Молодые, говоришь... — Она взглянула на Болека. — Выйди-ка, мальчуган, на улицу, поиграй.

Тетка показалась Болеку странной. Как будто и красивей стала, чем раньше, но как-то неприятно изменилась. Не тетка, а пани. Даже в Рыбках таких было мало.

Текля с Такно по целым дням о чем-то шушукались, стараясь, чтобы Болек их не слышал; лишь изредка до него долетали отдельные слова. Мальчика не интересовали их разговоры и споры, он был поглощен новизной впечатлений. Никогда в жизни он не видел гор и рисовал их в школе так, как они ему представлялись, в виде острых, как клювы, скал; он никак не мог поверить, что в горах строят дома, они ведь непременно должны были оттуда

свалиться. Небожинские холмы, пологие, покрытые лесом, привели его в восхищение. Не прошло и недели, как Болек познакомился с поселком, близлежащими полями и рощами. Ему казалось, что все здесь богаче и красивее, чем в Беляве. Река была зеленая, бурливая, непрозрачная и, наверно, глубокая. Болек прошел берегом до дворца. Его поразило великолепие здания и парка, и он усомнился, позволят ли ему когда-нибудь тут поселиться. По аллее среди деревьев прогуливались в обнимку три девочки; на лужайке мальчики в одних трусиках играли в мяч; потом все сразу побежали к реке и скрылись в ивовых зарослях, раздался всплеск воды, поднялся веселый шум — ребяташки стали купаться. Болек удалился, хмурый, полный сомнений. Он узнал, где находится обыкновенная школа, но она ему не понравилась — большое, каменное здание стояло на лысом, лишенном растительности участке. В ту ночь ему приснилось, будто он с Анельцей собирает в роще белые ветряницы. На следующий день тайком от всех он написал открытку Кубе Явору.

«Дорогой дядя, — нацарапал он карандашом, выкраденным у Такно, — я здоров, и тетя со мной хорошо обращается. Когда пани Щепанек за мной приедет, то вы ей, пожалуйста, скажите, что я жду ее здесь. Если бы вы, дорогой дядя, выбрались ко мне, я бы страх как обрадовался, а то мне очень скучно, так скучно, что не знаю, выдержу ли я...»

После этого он каждый день заходил на почту, подкармливал почтальона, спрашивал, нет ли ему писем, тот глядел на него посмеиваясь. Спустя неделю тетка за ужином сказала:

— Если кому-нибудь пишешь, Болюсь, так посоветуйся раньше и покажи, что пишешь. Никого сюда не приглашай, благодари бога за то, что ты у меня живешь, и сиди смирно. Мать у тебя была из хорошего хозяйского рода, а Яворы — дикари, никого из них я знать не хочу.

— Я тоже Явор... — пробормотал Болек.

— Уж я позабочусь, чтобы вышибить из тебя Явора.

Она помолчала и прибавила более ласковым тоном:

— Кубе я сама напишу. Передам от тебя привет, не бойся.

Такно приспособил Болека к извозному делу. Мальчик ездил на станцию, но мало кто пользовался его услугами.

Лето тянулось медленно. Когда подошло время жатвы, погода испортилась, из-за лесистых холмов налетали быстрые тучи и сеяли дождь. Боек набрался храбрости и стал заходить во дворец; он уже знал, где помещается школа, где живут мальчики и где — девочки. Цели своих посещений он никому не открыл, боясь, как бы его не высмеяли. Ванду Щепанек, которую Боек видел только один раз, но довольно хорошо запомнил, он так и не встретил. Когда он сидел на козлах пролетки и смотрел на выходивших с перрона пассажиров, ему часто казалось, что он видит ее в толпе. Всякий раз она бывала иначе одета, и внешность у нее менялась: то она была высокая и худая, то маленькая и щупленькая. Постепенно он стал забывать, какая она из себя и какое у нее лицо.

Хуже всего было оставаться дома с дядей Леоном, как Текля велела ему называть Такно. Сама она часто отлучалась — то уезжала в город за покупками, то заходила поболтать к соседкам, — и Такно тогда не отпускал мальчика от себя ни на шаг, не позволял ему выйти на улицу. И всегда происходило одно и то же. Такно отрезал краюшку хлеба, мазал ее маслом и совал Болеку в руки. Потом садился напротив, и выражение лица у него сразу менялось — при тетке Текле оно никогда таким не бывало. Он устремлял на Болека свои бесцветные неподвижные глаза и приговаривал тихонько, ровно, совсем не шевеля губами:

— Хороший хлеб у Такно. Хорошо жить у Такно. Деньги, которые тебе платят седуки, ты, конечно, воруюшь, всех не отдаешь мне, не ври. Съезжастся семейка. Для начала — ты, потом другие притащатся. Кто знает, сколько там вас, нищих, в деревнях найдется. Богатого дядюшку нашел. Я тебе покажу дядюшку. Пальцем не трону, бить не буду. Сам высохнешь. И попробуй только тетке пикнуть. Гром тебя на месте убьет. При-блуд-а.

Боек давился, швырял хлеб, рвался на улицу.

— Ты куда? — говорил Такно обычным громким голосом. Он часто моргал, словно просыпаясь от сна, его смуглое лицо морщилось в усмешке, а если случалось, что в эту минуту в комнату входила Текля, он говорил ей:

— Поищи-ка чего-нибудь вкусенького и дай парню. Потеха с ним, потеха...

Но едва она поворачивалась к ним спиной, Боек снова чувствовал на себе его тяжелый взгляд. Мальчик бледнел

и убегал на кухню. «Черт, — думал он со страхом. — Или мне мерещится...»

— Странное дело, — огорчалась Текля. — Как будто ест хорошо, а похудел.

К этому времени взрослые уже не скрывали от Болека своих частых ссор.

— Жениться на тебе? — издевался Такно. — А зачем? За кухарку, за прислугу сойдешь. А за жену? Да ты старая баба, старуха! Я волос не крашу, а погляди, какие они у меня! Захочу, так молодую найду. Любая из тех, что живут у нас наверху, пойдет за меня, стоит мне только пальцем кивнуть... Я, Текля, с графинями танцевал на балах.

Она в ответ пригрозила, что бросит его и не вернется.

— Ты думаешь, я не знаю, кто ты такой? Мне есть еще куда податься. Я с Терезкой договорилась, мне в больнице работу дадут хоть сегодня! И квартира у меня есть в Невыхове, так и знай!

Такно поднялся со стула, стал перед ней:

— Ишь какая предусмотрительная! Ну так собирай манатки, чтоб и духу твоего здесь не было!

И после паузы:

— Ты все еще стоишь? Собирай манатки! Убирайся к чертовой матери! Хватит с меня!

Текля все еще не верила. Вдруг Такно поглядел на Болека, ткнул в него пальцем и закатился пронзительным, визгливым смехом.

— Погляди-ка, Текля, какой большой парень! Его бабушка — твоя сестра... Ты старуха! Старуха-а-а!..

Это оскорбление вывело ее из себя.

— Боек, ступай отсюда! — приказала Текля.

Она подскочила к Леону, готовая вцепиться ему в лицо. Он все еще смеялся. Текля опустила руки и сказала с безграничной ненавистью:

— Бандитская шкура! Я все знаю.

Внезапно стало очень тихо, и Текле показалось, что ее удар попал в цель.

— Я знаю о Поренце, — шептала она со злобным торжеством. — И зачем к тебе Меченый приходил, и как ты садовника Рендзиковского целую зиму кормил. Все мне теперь ясно! Ты у меня в руках! Да!

Она потрясла кулаком. Такно сидел на стуле, неподвижный, как камень, сверля ее тяжелым, суровым взглядом.

— Какая ты дура, — сказал он тихо, с нескрываемым презрением. — Рендзиковский искал пасынка, я пустил его однажды переночевать — только и всего. А тебя я больше видеть не хочу, не желаю.

Его самоуверенность смутила Теклю, она растерялась.

— Все равно. Завтра дашь мне окончательный ответ. Да или нет.

— Силой ты ничего не добьешься, — вздохнул он угрюмо.

Утром Такно пошел к Паленде, а Текля начала собирать свои вещи.

— Может, помочь вам, тетя...

Она вскочила, подбежала к Болеку. Нечесанные космы свисали у нее из-за ушей, лицо было синее и измятое.

— Ступай прочь! — крикнула она. — Где ты ни появишься, всюду несчастье приносишь.

Она отпихнула ногой мешок, который только что набила вещами, развязала веревку, вытащила блузки и платья и стала швырять их на пол.

— Никуда я не поеду! Не хочу!

Она, рыдая, упала на мешок.

Болек до полудня просидел в сарае. Такно вызвал его, отвел в сторону и шепотом распорядился:

— Сегодня ночью поедешь с Палендой. За два дня обернешься. Поможешь ему, он тебе все расскажет. Послушай, Болек... что я еще хотел сказать... Да, последи за ним, примечай, сколько ему будут платить.

Такно вошел в кухню и приказал Текле:

— Снаряди мальчишку в путь. В трактирах кормиться им не следует.

Она ничего не ответила. За обедом к еде не притронулась. Только когда вставали из-за стола, сказала тихо и многозначительно:

— Я тебе дала срок до нынешнего дня. Я жду, 'Леон.

Такно словно не расслышал. Наконец, после долгого молчания, проворчал:

— Не сходи с ума, Текля. Приготовь вещи для Паленды. Может быть, костюмы...

— Ничего не стану делать, пока ты не ответишь.

Болека снова выставили за дверь, и он слышал, как они долго и яростно ссорились. Любопытные дачницы перегнулись через перила балкона.

— Пылкая любовь, — произнесла вполголоса старшая из них, и все три прыснули со смеху.

Никогда еще Болек так много не путешествовал и не таскал таких тяжестей. Мальчик, покряхтивая, нес за Палендой чемодан, даже не зная, чем он набит. У Паленды было два своих чемодана. Путешественники пересаживались с поезда на поезд, останавливались на несколько часов в маленьких, похожих на Рыбки, городишках. Болек поджидал Паленду у дверей чужих квартир, а иногда на улице. Потом они отправлялись за город, заходили в дома еще более красивые, чем у Мысоней в Беяве, и хозяева, любезно улыбаясь, угощали Паленду водкой, а Болека — молоком или фруктами. Мальчик видел, что его покровителя всюду встречают как хорошего знакомого или родственника. Несмотря на все эти проявления дружеского расположения, Паленда, оставаясь вдвоем с Болеком, тяжело вздыхал, вытирая со лба пот, и не раз бранился. Он поменялся с Болеком чемоданами, его собственный стал уже легче; Паленда щадил мальчика, боясь, как бы тот не выбился из сил. Напоследок они приехали в город, который ошеломил Болека движением и шумом, длиной улиц, высотой зданий. «Главный город нашего воеводства», — объяснил Паленда, но когда пораженный Болек замер от удивления, он, смеясь, сказал, что в Польше есть города в пять, а может, и в десять раз больше. Они вышли на площадь, тоже изумившую Болека; ему вспомнились ярмарки в Рыбках, но здесь и людей и ларьков было столько, что глазом не окинешь. К Паленде подходили какие-то люди, здоровались с ним, жаловались на тяжелое время. Он уводил их далеко, в невзрачную лавчонку, торговавшую овощами и хлебными изделиями; там, в задней комнате стояли их чемоданы. Паленда много раз заходил туда и снова исчезал, а Болеку велел ждать на захламленном, вонявшем кошками дворе. Мальчик слышал, как покупатели долго торговались с ним. Наконец, Паленда вышел, слегка пошатываясь, лицо у него было красное, он протянул Болеку булку с колбасой. Потом он заперся в будке около мусорной ямы, откуда несло нечистотами. Болек видел сквозь щель в неплотно пригнутой двери, как Паленда пересчитывает деньги, делит их на кучки и перекладывает из кармана в карман. У Болека затекли ноги, ему хотелось спать. У него еще были все кости после ночи, проведенной на жесткой скамейке в вагоне, и город теперь уже не так ему нравился,

как утром. Сгущались сумерки. Болек с облегчением вздохнул, когда они снова очутились в поезде. Он боялся сесть на чемодан, чтобы не продавить его; внезапно ему прикинулась постель в хлеву около Лыски, корова тыкала Болека одним рогом, но ему было не больно, тепло и хорошо.

— Вставай же! — Паленда тряс его затуманенную голову. — На ногах моих лежишь, они у меня совсем онемели. К Небожину подъезжаем.

Они шли под гору по совершенно безлюдной дороге, звезды на небе дрожали так, словно им было холодно. Болек продрог, застегнул повыше воротничок рубашки, одернул рукава.

— У Такно темно, — проворчал Паленда. — Ладно, пойдем к нам ужинать.

Жена Паленды отвела мужа в угол. Болек украдкой поглядывал на нее, она была похожа на Нехоцкого, для полного сходства не хватало только штанов и сапог. Когда она говорила, на подбородке у нее тряслась бородавка с пучком черных волос посередине. Один глаз, прищуренный, глядел на Паленду весело и насмешливо, в другом, широко открытом, светилось беспокойство.

— Останешься у нас до утра, — обратилась она к Болеку.

— Я лучше...

— Останешься у нас до утра, — повторила она.

Роберт отвел его в ригу, они легли спать рядом. Роберт закурил сигарету.

— Искру обронишь, — испугался Болек.

— Пускай, — равнодушно ответил Роберт, но все же прикрыл рукой окурки.

— Ты не боишься отца?

— Конечно, боюсь. Но я до того зол, что если бы все это... Только и знают, что покупают да продают, покупают да продают. Как будто им есть нечего, черт бы их драл. С осени я отсюда дам деру. Только ты ничего не говори.

— Куда-нибудь в город?

— На бумажную фабрику. Сперва в такую школу, где получу специальность, а потом на фабрику. Мои старики ничего не знают, — Роберт хихикнул, — а у меня уже направление в кармане. Конюхом не буду, не желаю.

— Мой папа тоже хотел, чтобы я стал кучером или торговцем.

— А ты хочешь?

— Я уж попробовал. Ни за что.

— Ты, Боек, газеты читаешь?

— Нет. Иногда в школе учительница нам вслух читала.

— Стоит почитать. Хорошее дело. Мне отец запрещает...

Боек уже засыпал, когда Роберт толкнул его в плечо.

— Я тебе вот что скажу. Старики не велели, хотя, верно, чтобы ты спокойно выспался, но зачем от тебя скрывать? Тетки твоей уже нет, она уехала. Вчера утром.

— Как так?.. Почему уехала?..

— Рассердилась и уехала. Теперь уж навсегда.

Он несколько раз подряд затянулся, огонек сигареты вспыхивал, всякий раз освещая его резко очерченный профиль.

— Что они тут вытворяли, смех да и только! Такно швырял ей вслед свертки, узлы, а уж орали оба, не приведи бог! Я отвез ее на станцию на нашей лошади. Она у нас оставила для тебя несколько золотых: немного, говорит, больше нет. Да, вот еще что. Такно отказал тем барышням в мезонине, им тоже пришлось сразу же убраться. Потом он заперся дома на ключ, мать мою не пустил, так там и сидит. Никого не хочет видеть. Ну, скажи, разве он не сумасшедший? Чего ты, Боек! Э, брат, такой большой парень, ну, стоит ли обращать внимание...

Сразу после завтрака Боек взял шапку.

— Проводи его, Роберт, на станцию... — буркнула мать.

— Я еще к дяде... За лошадью надо присмотреть...

— Лошадь его у нас. А дяди тоже дома нет.

Боек прислонился к косяку двери.

— С ним что-нибудь случилось?

— Случилось, не случилось, только вчера был, а сегодня нет его. Ты сильно стучал? — еще раз спросила она у мужа.

— Ну что я, ребенок, что ли?

— Как бы, сохрани бог, чего дурного не...

— Не бойся, — прервал ее Паленда. — Железнодорожники видели его нынче ночью.

— Значит, — вздохнула жена, — за нею поехал. Вместе, верно, приедут, сыграют свадьбу.

Паленда на это ничего не сказал. Он отвел жену в угол, так же как вчера сделала она, и пошептался с нею. При-

щуренный глаз бабы блестел весело и насмешливо, приподнятая бровь над другим глазом придавала лицу выражение тревожной задумчивости.

— Спрячь получше, — сказала она вполголоса, — может, и отдавать не придется...

Роберт вывел из сени свой велосипед.

— Садись, Боек, на раму. Я тебя подвезу.

— Подвези меня ко дворцу, — попросил Боек. — Я еще раз спрошу.

Они попрощались за мостом, там, где от шоссе вдоль ограды парка тянулась тенистая березовая аллея.

— На билет у тебя хватит?

— Не хватит, — признался Боек.

— У меня тоже нет. Как же быть? Опять пешком до Бояновки?

— Да. Дорогу я знаю.

— Ты, брат, ходок. Сразу видно.

Боек пристально поглядел на него.

— У тебя, Роберт, и ноги подлиннее и велосипед. Есть у тебя и мать, и отец, и родной дом. И сигареты и направление в кармане. Ты и так для меня был тут лучше всех. Счастливо оставаться!

Через каменные ворота в конце аллеи Боек вошел на обширный двор с цветочной клумбой против лестницы. К нему кинулись две большие смирные собаки, чуть не сбив его с ног, они положили ему на плечи косматые лапы и стали лизать щеки. Какой-то пожилой человек сгребал с дорожки железными граблями кисти липового цвета. В окне второго этажа стоял маляр в забрызганном фартуке и размахивал белой кистью. В этой части здания было пусто и тихо, а откуда-то из глубины доносились звуки различных инструментов. Боек узнал почти забытые гаммы, которые кто-то играл на рояле. Отдельные чистые звуки, как холодные капли, падали в тенистую зелень сада.

— Кого ты ищешь, мальчик?

— Я ищу пани Щепанек, — ответил Боек человеку с граблями. — Я уже приходил сюда.

— Теперь каникулы. Разве ты не знаешь?

— А как же те? — спросил Боек, кивнув в ту сторону, откуда неслись звуки музыки.

— Ну, кое-кто остался на лето. Не у всех есть дом...

— Не у всех, — подтвердил Боек.

— Подожди-ка. Я пойду спрошу.

Он вошел в дом и довольно долго не возвращался. Наконец он появился в дверях.

— Нет, она еще не вернулась, — сообщил он. — Канцелярия закрыта, не узнаешь, когда она должна быть, а кухарка тоже не знает.

Болек поблагодарил и пошел назад. Он еще раз оглянулся, прислушался, потом шмыгнул в ворота.

В аллее его ждал Роберт. По лицу Болека он догадался, что спрашивать не о чем.

— Дурак я, зачем сказал тебе, чтобы ты шел пешком. Садись, я довезу тебя до Бояновки.

И, уже поставив ногу на педаль, Роберт вспомнил:

— У тебя ничего с собой не было? Ты у Такно ничего не оставил?

Прежде чем надеть шапку, Болек заглянул в нее.

— Была у меня одна вещица... Я бы тебе ее дал, да что...

Он вздохнул, потом сказал в утешение:

— Нечего жалеть. Нам, Роберт, игрушки уже не нужны. Правда?

И с трудом вскарабкался на раму велосипеда: такой он был еще маленький.

XVII

НОЧЬ И УТРО

В поезде Болек расспросил, как ему удобнее всего добраться до Ружанцев, и сошел на третьей станции за жами. Ноги у него ныли после пройденного накануне, и теперь он брел медленно, отдыхая в придорожных. Хлеб, который ему дали за завтраком у Паленды, ел еще в полдень. Мальчика мучил голод, от невеселых голова у него стала тяжелой. День выдался душ- Когда Болек дотащился до ружанецкого леса, легкий окутал солнце, и казалось, что оно вобрало все лучи внезапно помутневшее, красное нутро. Болек пытал- сть черники, но ему было трудно нагибаться, да от- олько больше захотелось есть. «Наемся у дя- решил он.

Кубы Явора был наглухо закрыт. Болек обошел стучал в окна — все было напрасно. Неудача огор-

чила его, и, присев на пороге, он едва не заплакал. На соседних дворах было тихо, только с далеких полей иногда доносился скрип телег, голоса мужиков, понукавших лошадей, да где-то, еще дальше, мерно тарахтел трактор. Наконец Болек увидел торопливо шагавшую по тропинке старушку; она подгоняла хворостинкой трех непослушных, перепачканных в грязи поросят.

— Чух-чух-чух! — кричала старушка. — Пошли в хлев, окаянные, ну же! Всю душу вымотали, черти безрогие!

Болек помог ей загнать поросят во двор, а потом спросил:

— Бабушка, вы не знаете, где Явор?

Старушка попыталась распрямить согбенную годами спину, но ей удалось только поднять голову.

— Как не знать? Я ему каждое утро молоко ношу. У нас, сынок, кончили жать, сегодня последние снопы свозят. Вот и отправили жнейку в Друловицы со всей бригадой, или как ее там называют, и Явор с ними. Теперь там кипит работа.

— Далеко эти Друловицы?

— Хо-хо, отсюда верст семь будет, а то и побольше. До вечера, сынок, не дойдешь. Зайди лучше ко мне в хату, пахты попьешь...

— Дайте и хлебца кусочек, — попросил Болек.

— Да я бы тебя и сама угостила, не беспокойся. Ты славный мальчик.

— А дядя к вечеру вернется, бабушка?

— Значит, ты ему родня. Так бы сразу и сказал. — Она задумалась. — Вернется ли, нет ли, кто его знает. До рассвета выехали, я видела, а твой дядя бригадир, или как его там величают, взял велосипед. Не всегда он теперь тут ночует, молод, пришла его пора...

— Бабушка, — прервал ее Болек, — скажите ему... Вы не забудете?

— Чего это я забуду! — рассердилась старушка. — Я ему молоко ношу...

— Скажите ему, что я тут был.

— Это, значит, кто?

— Болек. Он знает. И пусть он непременно придет ко мне.

— Это куда же?

— В Беляву. Дядя знает, вы только ему скажите, непременно, бабушка, скажите.

— Скажу, скажу. Уж я буду его ждать, коли так.

«Изобьет меня отец или не изобьет? — размышлял Боек, плетясь в Беляву. — Надо было Щепанека слушать...» Боек боялся возвращаться, боялся отца, и все-таки его тянуло домой. Он тешил себя робкой надеждой, что, может, мачеха заступится за него. А завтра или послезавтра придет дядя Куба и как-нибудь ему поможет. Потом придет Щепанек. Лишь бы только дожждаться...

Когда Боек подошел к пригорку около брода, где весной он нашел ветряницу, в чаще леса заиграл горн. Боек удивился и, хотя страшно устал, все же захотел узнать, где это играют. Когда-то он читал повесть об охотниках, которые таким сигналом возвещали конец облавы на зверя. Свернув в лес, Боек миновал две просеки и вдруг остановился. На поляне, где когда-то стояла старая лесная сторожка, тянулся ряд палаток. Сначала Боек не заметил, что здесь есть люди. Но вот вместе с нарастающими звуками горна на поляну высыпала ватага ребят в знакомых Болеку рубашках и красных галстуках. Впереди шли пионеры повыше ростом; малыши, замыкавшие шествие, сели на ноги и сбивались с шагу. А вел их всех мальчик, должно быть, немногим старше Болека, он-то и играл на горне. Боек видел, как у него раздулись щеки, мальчик вывел самую высокую ноту, горн умолк. Ряды расстроились, из-за палаток выбежали другие ребята, где-то дальше, откуда вкусно пахло жареным мясом, раздался свисток, и вся поляна наполнилась веселым гомоном и шумом.

— Слава жнецам! — крикнул кто-то, обращаясь к ребятам, которые только что пришли, и сразу же другие голоса подхватили.

— Слава жнецам!

— Гуляш на ужин, гуляш!.. Объявите сбор!

Теперь свистки раздались с разных сторон. Перед палатками, гремя жестяной посудой, выстроились отряды и промаршировали вглубь леса. На поляне, под высокой, тройной мачтой с бело-красным флагом, осталось несколько мальчиков, они заметили Болека.

— Товарищ, подойди-ка поближе, — позвал один из них.

Боек оробел и не тронулся с места, тогда они сами пошли к нему.

— Ты из Белявы? — спросил тот же мальчик, и Боек назвал горниста.

— Пионер? — задал вопрос другой мальчик, поглядев на рубашку Болека.

— Из Белявы. Только я не пионер. Рубашку мне прислали из Невыхова.

Горнист хлопнул в ладоши, потом поднял руки, словно собираясь обнять Болека.

— Либо я болван, костяная нога, кочан капусты и вообще все, что угодно, либо ты... Болек Явор?

— Болек Явор.

Пионеры обрадовались, обступили Болека тесным кольцом и приветствовали его, стараясь перекрычать друг друга.

— Друг! Пишешь нам, чтобы мы приехали, а сам?!

— Хорош, нечего сказать! Мы к тебе в гости, а ты сбежал!

— Помогаем тут в поле, на уборке, а тебя нет.

— Послезавтра первый и второй отряды. И в плане Яворы...

— Да оставьте вы его в покое. Знаете ведь, как было...

— Мы тебе гармонику привезли... Сбегай-ка, Влодек, к водителю.

— Лучше пойдем с нами, Болек. Поужинаем.

Они говорили наперебой, Болеку не удавалось вставить ни слова. Ошеломленный, счастливый, он глядел на дружески улыбающиеся лица. Никогда еще не было ему так хорошо в обществе других мальчиков. Но вдруг он вспомнил, откуда пришел сюда, вспомнил, что возвращается домой. Солнце садилось, лучи его уже едва пробивались сквозь нижние ветви деревьев. Болек смутился и опечалился.

— Если вы меня примете, так я приду к вам завтра, под воскресенье. Я еще дома не был...

Мальчики тоже приуныли, но веселый горнист, не теряя хорошего расположения духа, похлопал Болека по плечу.

— Ладно! — сказал он. — Завтра у нас костер. Приходи сразу после обеда, на репетицию. Ты, Болек, непременно должен сыграть на новой гармонике! А потом возьми ее себе...

Болек нагнулся, провел рукой по траве.

— Лишь бы дождя не было. Росы нет...

Горнист похвалил его:

— Из тебя, Болек, хороший пионер выйдет, я вижу! Ты зови меня по имени Стефан, Стефан Вайда.

Пионеры проводили его по дорожке до брода.

— Жаль, Болек, что тебя не было на нашем большом костре, — сказал Стефан. — Мы всю деревню сюда созвали.

— На июльский праздник, знаешь? — пояснил другой мальчик. А самый старший из них, с заметным пушком на верхней губе, важно пробасил:

— А тебе известно, Болек, что это за праздник?

— Еще бы. Учительница нам в школе говорила...

— Замечательная у вас учительница. Учитель, тот с бородой, тоже свой парень. Они сказали, что после каникул возьмутся за работу... ЗМП* собираются организовать. Пора, пора.

Ребята уже подошли к мостику, и Стефан сердито пнул ногой конец жерди.

— Мостик мы вам тут поставим с перилами. Отряд взял на себя обязательство. Стыдно смотреть на такое безобразие.

Когда пионеры пошли назад, Болек прибавил шагу. Он не жалел, что задержался, ему хотелось прийти домой, когда совсем стемнеет, и все же сейчас он чуть не бежал. Грудь его кипела восторгом, сладким и вместе с тем тревожным, которого он сам не мог бы объяснить. «Скорей бы наступило завтра...» — мечтал он, воодушевленный надеждой, и все-таки его охватывал страх перед тем, что произойдет в самые ближайшие часы. «Пустое, — подбадривал он себя. — Ну, изобьет. Точно меня никогда не били? Поболит, поболит, а потом, к вечеру...» И снова перед его глазами возникала поляна, палатки, мачта с развевающимся флагом и рядом Стефан размахивает маленьким блестящим горном и говорит: «Из тебя, Болек, хороший пионер выйдет. Зови меня по имени...»

Проходя мимо дома Мруза, Болек подумал, не зайти ли и расспросить обо всем, но у него не хватило решимости. Он постоял с минуту в надежде, что лесничий, может, появится во дворе, но вокруг царил тишина. Болек побуждал дальше, обогнул «рапачовку»; теперь он шел, пригнувшись, осторожно ступая. Так он дошел до плетня, а которым находился общий двор Яворов и Быськи. Пальчуган залег в бурьяне и сквозь просветы плетня стал смотреть на двери и окна обеих хат. На чахлой траве

* ЗМП (Związek Młodzieży Polskiej) — Союз Польской Моло-

медленно бледнели их тени. Два глиняных горшка, насаженных на рукояти вил у порога, потускнели, утратив свой яркий блеск. Вышла Быська и, притворяясь, будто сыплет зерно, заманила в сенцы упрямую курицу; в быстро сгущавшихся сумерках курица тыкалась, как слепая. Потом Боек увидел, как мачеха вышла из хлева с подойником, — нетрудно было догадаться, что в нем совсем мало молока. Хельця забежала за угол, огляделась вокруг и присела на корточки. Боек все еще ждал. Теперь, когда он смотрел из своего укрытия на хату отца и на хату бабки, ему казалось, будто давным-давно в какой-то книжке он уже читал о том, что с ним теперь происходит; странно было ему, откуда это он взялся здесь, в бурьяне, под плетнем, а там, в доме, никто о нем ничего не знает. Что бы это было, если бы вдруг из дверей хаты выбежал сейчас, у него на глазах, этаким мальчуган в зеленой рубашке, попросту говоря, Боек Явор, а за ним с криком и проклятиями погнался бы Константин Явор, отец, с ремнем в руке или с палкой... В этот момент Боек ощутил на руке, которой он подпер лицо, тепло собственного дыхания, и резкая, сильная дрожь заставила его очнуться, исчез туман, застилавший сознание и вызывавший чувство слабости. «Это смерть меня миновала», — подумал Боек. Внезапно его охватила спокойная уверенность, что здесь, у Яворов и Быски, он надолго не останется. В то же мгновение он съежился и пригнул голову к самой земле. Из сеней вышел отец. Он щелкнул пальцами по одному горшку, потом по другому, ударил кулаком о косяк и направился к воротам.

— Костек! Гляди, не засиживайся! — крикнула ему вслед Гунда.

Он даже не обернулся.

Боек еще немного подождал и, наконец, отважился перелезть через плетень. Он решил сперва поговорить с бабкой: она ведь всегда к нему хорошо относилась. Однако дверь ее хаты уже была заперта изнутри, а стучать было бесполезно: Быська все равно не услышала бы. Но Боек знал, как можно проникнуть в хату. У глухой стены валялась старая, выщербленная решетка от телеги. Он поднял ее, поставил, она доставала до стрехи. Раздвинув солому, Боек проскользнул на чердак, а с низкого чердака спустился прямо на глиняный пол сеней. Сквозь сон прокудталась курица, захлопала крыльями в своей клетке. Но Боек уже был в хате; он смущенно, с грустным облегчением

вдохнул, узнав знакомый, неизменно затхлый запах этих стен. Было темно. Он задел ногой ведро, поскользнулся, неудачно ухватился рукой за жестяную крышку, она упала на кухонную плиту и долго яростно гремела. Когда шум прекратился, из того угла, где стояла кровать старухи, донеслись слова, в которых звучала просьба и ласковый упрек:

— Оставь ты меня, Блажек, в покое. Ходишь и ходишь... Вечный покой тебе, не ходи ты больше сюда, я сама приду к тебе.

В руках у нее загремели четки. По спине Болека пробежали мурашки. Он подошел к постели, наклонился над подушкой и раздельно произнес:

— Это я, бабушка. Боек. Не бойтесь.

Быська не выразила ни испуга, ни удивления.

— Я думала... Старый Бысь мне привиделся... Нездоровая я, сынок, ноги у меня все стынут, стынут... Может, лампу засветишь?

— Вам что-нибудь нужно?

— Нет. Не нужно. Сядь поближе, чтобы я тебя слышала. Ты, кажись, в Небожине был? А тут вчера тебя все спрашивали...

Боек оцепенел.

— Кто бабушка?

— Приподними-ка подушку, я сяду, а то мне трудно говорить. Куба был, Явор, с какой-то пани и здешней учительницей. Ничего они не добились. Костек от них спрятались... — Она тихо, добродушно рассмеялась и похлопала Болека по колену. — Ну и дошлый мужик этот Явор, ну и дошлый...

— Где эта пани? — Слова застревали у Болека в горле, пришлось повторить вопрос.

— Да разве я знаю... Спроси у Гунды. Мне они мало что говорят, да я и не слышу...

Боек вышел во двор, постучал в окно к мачехе.

— Отворите, мама. Это я, Боек.

Он видел, как Гунда стала зажигать лампу. Она еще не успела раздеться и лечь. Пламя зажигалки осветило большую дыру в ее платье, мелькнуло голое тело — на Гунде не было рубашки.

Хельця и Антось уже спали в ногах ее постели; Явору она еще не постилала.

— Ах, Боек, Боек... Хельця вместо тебя коров пасет,

за Антеком некому присмотреть, мне приходится работать за двоих, за троих — жатва у нас и у Мысоней... Я серпом порезалась, погляди... Какой из меня работник! А тебя носит по свету...

Гунда говорила без злобы, голос у нее был тихий и усталый, она все время зевала.

— Пани Щепанек приходила за мной? Скажите, мама!

— Приходила. Я сказала, что ты у тетки в Небожине. Сегодня утром она уехала вместе с Лемжей. Ты с ними разминулся. Ах, сынок. Не все ли равно тебе? Ведь не возьмут они тебя, если отец не пустит. А он не пустит, я вижу. Пробовала уломать его, нечего мальчишке тут делать, говорю. Так он меня изругал. Сегодня новое мученье. Сердит, страх как сердит из-за газеты. Этого он тебе не простит.

— Какой газеты?

Гунда недоверчиво поглядела на Болека.

— Неужто не знаешь? Я думала, это ты сам. Потому и убежал.

— Что, мама?

— Сегодня дал ему кто-то эту газету. Там все описано: как он Гнедого бил в роще... Как тебя заставлял... По всей деревне об этом звон пошел...

Болек присел на край постели.

— Мама, — прошептал он, — дайте мне поесть. Я так проголодался...

«Пропало, — думал он, глотая холодную картошку, — опять все пропало. И к пионерам я завтра не пойду после такого срама».

— Ну, ступай к бабушке, — приказала Гунда. — Как бы он тебя тут не застал... Не знаю, что с тобой будет. Боюсь. Куба обещал прийти, может, он за тебя заступится. Хотя отец с Кубой не хочет разговаривать, да и ни с кем, от всех прячется, а потом на мне вымещает... Жизнь мне опостылела. — И с горечью она пробормотала: — С одним этим прохвостом в ладу живет. На нашу беду.

Гунда проводила Болека и, когда он уходил, сказала вдогонку:

— Не запирай за собой дверь. Вернется пьяный, я к вам убегу...

Явор еще не был пьян, хотя перед глазами у негоплыли круги и кухня Мысоня то раздувалась, то сжималась, как воздушный шар. В углу стояла огромная бутылка в пле-

тенке из ивовых прутьев — молодое вино булькало в бродильной трубке, и этот однообразный звук вызывал тошноту. Рафал наполнял рюмки.

— Напейся, Костусь. Зальешь горе, легче станет.

Они сидели за столом одни. Гонорка в соседней комнате пререкалась с Янушем, который никак не хотел ложиться спать.

— Пойду еще раз под окошко к Грелям погляжу... — упирался мальчик.

— Хватит, хватит! Не надо. Ишь, какой шпион! — Осторожно, чтобы не сделать ему больно, Гонорка шлепнула сына по щеке. Но Януш все равно обиделся, скривил рот, собираясь заплакать, и сердито крикнул:

— Не тронь меня!.. Я папе скажу!.. Папа хозяин, не ты!..

Тогда она притворила дверь в кухню, сорвала с него трикотажную рубашку и повалила его на постель лицом в перину.

— Вот как ты со мной разговариваешь! Спи! Спи, дурное семейство! Только шевельнись. Молитву лежа прочтешь, и так сойдет. Не реви, а то я тебе задам...

Гонорка задула лампу, прислушалась, заснул ли сын. Потом она открыла окно и села на подоконник. Небо было беззвездное, а воздух горячий и такой плотный, что, казалось, его можно было сжать рукой. У Сикоры в окнах светился тусклый огонек, потом погас. Откуда-то подул ветер, швырнул в лицо песчинками. Раз, другой скрипнули петли калитки.

Кухня Мысонеи то взлетала, то опускалась, как плот на воде. И казалось, что вода шумит везде — и в хате, и снаружи, за стеной. Явор поднял рюмку, выпил, перегнулся через угол стола, чтобы лучше слышать Рафала.

— Ветер поднялся, Яворек... И ночь темная... Я тебе дам дубинку, чтобы ты на дороге не свалился... Хороша палочка, из молодого дубка, я сам ее сегодня вырезал, оковал железом...

— На что мне дубинка, Рафалек? Я и так дойду...

— Тебе никогда ничего не нужно. Есть дырявые портки — и ладно. А братишка твой у солтыса в гостях, пляшут там все вокруг него, улещивают, как бы не раздумал жениться, такой важный барин, колхозный генерал... Через неделю, в субботу, сыграет братишка с дочкой солтыса собачью свадьбу, а пройдет неделя, другая, и начнут они все вместе наводить в Беляве порядок...

Явор поднял кулак, глаза у него сверкнули.

— Не говори, Рафалек, не терзай ты моего сердца.

— Как же не говорить. Одна у нас доля. Я для тебя, Костусь, ничего не пожалею, ты хороший сосед, добрый человек, ты один. Я тебе как брат родной.

— Как брат родной... Брат... Пойду к Грелям, черт бы их драл, башки раскрою...

— Со всеми не справишься. А там все собрались. Мруз, который тебя столько раз унижал. Его любовница, которая над тобой столько раз издевалась, Греля, который тебя штрафами преследует. Но не они самые вредные. Я тебе сегодня открою, кто хуже всех. Советуются теперь, как бы тебя по миру пустить. Сперва мальчишку у тебя отберут, а потом землю. Ловко придумали.

Константий, тяжело дыша, потянулся к бутылке.

— Что ты сделаешь с Кубой, если он придет за Болеком? Если покажет документ, что ты должен парня отдать?

— Болека нет.

— Есть. Вернулся Болек. Наш Януш видел его у пионеров.

Явор вскочил из-за стола, кинулся было к двери.

— Сиди, Костусь, — удержал его Мысонь. — Иначе надо действовать. С мальчишкой будь поласковой, не он виноват. Ты его не бей, не стражай, он теперь для тебя клад. Ты врага бей. — Он наклонился к самому лицу Явора, темные усики его встопорщились, обнажились мелкие зубы, с губ сорвался злобный шепот: — Знаешь, кто тебя в газете пропечатал?

Явор затрясся. Мысонь видел, как тонкая струйка пота потекла у него по лбу, переползла через набухшую, синюю вену и повисла над дергавшейся бровью. Константин обхватил Мысоня обеими руками, сжал пальцы так, что Мысонь зашипел от боли.

— Пусти! Выпей водки!

У Явора дико горели глаза.

— Скажи. Убью.

Они посидели еще около часу, потом оба встали.

— Я тебя провожу до Грелей, чтобы ты сам увидел, — сказал Мысонь. — Дальше один доберешься?

— Черт доведет. — Голос у Явора был пьяный, хриплый. — Но... как быть, если он останется у Грелей на ночь?

— Не останется. Во время уборки для них нет воскресенья...

— Рафал, брат мой единственный, дай руку.

— Ну?

— Мы, Рафал, не на жизнь, а на смерть...

— Пойдем. Пойдем же!

Они вышли на дорогу, не заметив Эбышека, стоявшего под плетнем на своем дворе. Сикора прикрыл ладонью огонек сигареты. Он слышал, как Мысонь сказал:

— Мне надо выспаться, я завтра к ранней обедне собираюсь...

Песок на дороге приглушил шум шагов, а ветер унес конец фразы.

Сикора хотел уже вернуться домой и погасил недокуренную сигарету. Гонорка появилась так неожиданно, что он вздрогнул.

— Каждый вечер, Эбышек, торчишь ты тут под плетнем... Чего ты мучаешься?

— Не знаю... Спать не хочется... Привык, должно быть.

— Я тебя часто вижу. Смотришь, смотришь, иной раз на дорогу, а иной раз просто так, будто спишь. Юстинка дома?

— Что ты спрашиваешь, знаешь ведь, что нет ее.

— Опять у отца?

— У Павла. Вызвал ее, очень жалостное письмо прислал. Жена его бросила, плохо ему теперь живется. К другому уехала. Это в ее-то годы! А ребенок остался с ним, с отцом. Вот Юстинку и тянет к этому ребенку.

Гонорка вздохнула.

— Бедная Юстинка. Так детей любит, а бог своих не дает...

Он промолчал.

— И ты бедный... И я бедная... Если бы ты, Эбышек, знал! Как стану я вспоминать, как стану вспоминать, так мне жаль...

— Чего тебе жаль? Плохо живешь?

Лицо ее, едва белевшее во мраке, вдруг исчезло, и он догадался, что Гонорка низко опустила голову.

— Рафал уже не тот, что прежде. Я тебе никогда не говорю, ведь ты на нас сердишься. Как вернулся он и узнал от людей про нас с тобой, его будто подменили. Меня ни во что не ставит и Януша этому учит... Ему только землю, землю давай, богатство... Мало я видела счастья, страх как мало.

Она придвинулась к нему ближе, и внезапно он почувствовал на груди, в разрезе рубашки, ее дрожащую руку. Збышек отпрянул.

— Нет, Гонорка. От хорошей жизни ты бесишься, нет у тебя никакой любви ко мне. Никогда ты меня не любила, пустое все это. Как было у тебя холодное сердце, так и осталось, и плачешь ты только о себе. Ну, не плачь.

Он слегка погладил ее по волосам.

— Ступай домой, Рафал скоро вернется.

— Молчи лучше! — крикнула она. — Это ты каменный. Не могу я больше терпеть, не могу я больше видеть, как ты мучаешься один...

— Не убивайся. Больше ты меня не увидишь, даже под плетнем не буду стоять. То, что нужно было высмотреть, я высмотрел. Дорога из Белявы ведет за лес — на нее только я и глядел...

Все вышло так, как сказал Мысонь. В тот вечер ужин у Грелей не затянулся — и хозяева и гости устали на уборке. Первыми попрощались учительница и Мруз, а вскоре поднялся из-за стола и Куба Явор. Ядвися бросила на него беспокойный взгляд, он смутился, она выжидательно посмотрела на отца.

— Так все сошлось сразу... Приехал я к вам прямо из Друловиц, а скоро рассвет, мне опять там надо быть, проверить, все ли в порядке, как там хлопцы... Мы дали обязательство, надо выполнить его.

— Только бы погода не помешала. Завтра приедешь?

— Под вечер. К брату хочу зайти. Мне Ванда велела взять от него письменное согласие... вы знаете, я уже рассказывал вам. Хорошо было бы, солтыс, если бы мы с вами вдвоем пошли.

— Он опять от нас спрячется.

— Может, зайти, когда он спит? Другого выхода нет.

Ядвися довела Кубу до дороги; она шла рядом с ним, прижимаясь лицом к рукаву его парусиновой блузы. Вдруг она остановилась.

— Не ходи ты к брату, к Явору! Пусть учительница все уладит, или отец, или кто-нибудь другой... Я бы и сама пошла, да меня он не испугается.

Куба рассмеялся:

— Ты словно мои мысли читаешь. Я тоже сейчас подумал, стоит ли завтра воскресенье портить. Не пойти ли к нему еще сегодня? Не дает мне это дело покоя...

— Не ходи ты туда, — повторила Ядвися. — Я боюсь, что он уже знает.

— Ну и пусть. Я и сам ему скажу.

— Такой смелый, а небось не подписался.

— Скажешь тоже! — вспыхнул он. — Я подписался, и гмина засвидетельствовала, что все правда. А вот не напечатала подпись... Вероятно, потому, что фамилия у нас одна и это показалось бы странным для тех, кто нас не знает.

— Не сердись, — примирительно сказала Ядвися.

— И ты не сердись, что я о разных делах думаю, когда ты со мной...

— Это мне в тебе и нравится.

— Сегодня днем я написал письмо директору небожинской школы, Ванда дала мне адрес... Только еще не отослал, неоткуда было.

— Как у тебя на все время находится, право...

— Времени достаточно. Только когда я с тобой, мне его всегда не хватает.

Они дошли до развилины, откуда одна дорожка вела к дому лесничего и дальше на Ружанцы.

— А может, все-таки... — нерешительно сказал Куба. — Не стоит откладывать.

Но Ядвися схватила руль его велосипеда и повернула в другую сторону.

— Теперь уж я тебя не оставляю, иначе ты пойдешь к Яворам. До самых Ружанцев провожу тебя, раз ты такой.

— А потом я тебя пойду провожать, и ночь пройдет.

— Разве так не бывало?

— Сегодня нельзя. Тебе, Ядвися, надо домой идти...

— Хоть до брода провожу. Все равно на велосипеде не поедешь, слишком темно.

— Я на этой тропинке знаю каждый камешек. Вот смотри, сейчас справа будет куст терновника...

Неожиданная молния, одновременно близкая и отдаленная, осветила поле перед ними.

— Ты угадал, — засмеялась Ядвися, — здесь терновник.

— Дальше ты не пойдешь, — сказал Куба. — Вернемся. Одну я тебя не пушу.

Она обняла его.

— Хоть бы ты был за сто миль от меня, все равно я уже не одна. И не провожай меня, а то рассержусь. Мне наши белявские дороги тоже хорошо знакомы.

— Ты ходила по ним с другим... до меня?

— Никогда. Ты меня считаешь такой старухой? Ты первый мне во сне приснился.

— Спасибо, Ядвися, за то, что ждала меня... Скоро пять лет минет, как я из армии вернулся...

— Меня тогда еще не отдали бы замуж. А я часто думала, когда ты не приходил из Ружанцев, что ты раздумал, не хочешь больше...

— Знаешь ведь, как было дело. Только с весны у меня свой дом. Наш дом, Ядвися...

Они крепко поцеловались, даже дыхание захватило.

— Не верится, — сказала она изменившимся голосом, — что на свете бывает такое счастье...

Время для Константия тянулось медленно. Овраг, по которому текла река, был неглубокий, вытянув руку, с середины можно было достать до мостика. Константин помыл лицо и немного отрезвел. Издалека, сквозь шум ветра доносились из лесной чащи прерывистые свистки. Он вздрогнул, но тут же вспомнил о пионерском лагере. «Поздно уже, не придут сюда, щенки», — презрительно подумал он и успокоился. Он ждал, когда начнет лить дождь. Но в мелкой воде только прочертила зигзаг сперва одна, потом другая молния, и даже не загремело. Как-то странно наплывали тучи; ветер дул порывами с разных сторон, не сильный, несмотря на ночную пору, и горячий. Константин подполз по отлогому берегу под самый край мостика и сел на траве. Ему хотелось курить. Гнев овладевал им по временам, внезапно вспыхивая, как пламя на сквозняке. «Ну что я тут делаю?..» Но он тотчас же вспомнил свой позор и чуть не задохнулся от ненависти. «А если он меня узнает?» Явор крепко стиснул в руке дубинку. «Не узнает». Он озибался вокруг, ему пришло в голову, что Рафал не пошел домой, а спрятался поблизости и следит, высматривает, не струсил ли он, догадывается о его колебаниях. Ему стало стыдно перед Мысоном. «Убей меня гром, выдержи». Грудь ему стеснило, лицо задергалось, он вытер холодные капли пота. «Спился я... И чего я тут сижу?.. — подумал Явор, но сразу пришел в себя. — Искупаю выродка, раза два стукну по башке, попомнит он меня». Над рекой захлопала крыльями ночная птица, застонала, как дитя. «Скажу двадцать раз «Богородицу». Если к тому времени не придет, пойду домой спать, спать...» И Явор отложил палку, чтобы она не мешала ему загибать пальцы при счете.

— Еще немного — и он бы заснул. Шуршанье песка под шинами велосипеда слилось с шумом сосен. Явор услышал над самой головой лязг металла и медленные шаги, кто-то шел в темноте ощупью. Когда Константин собрался с духом, было уже поздно — последний твердый шаг на мостике прозвучал уверенно и гулко, звуки следующих шагов приглушила дорожка.

Куба остановился. Он поглядел вверх, где между вершинами деревьев чуть заметно светлела узкая полоска неба. «Будет гроза или нет?.. До утра, верно, пронесет». Он нетерпеливо топнул ногой, его раздражала собственная нерешительность. «Неужели я поддался страхам Ядвиси? Струсил? Нет! От такого срама мне все равно сегодня не заснуть». Он постоял в задумчивости и, чтобы утвердиться в принятом решении, сказал вслух:

— Если что задумаешь, лучше всего сделать сразу.

Куба повернул велосипед, чиркнул спичкой раз, другой. Взойти на мостик с этого конца оказалось легче, жерди тут были шире и сверху стесаны. «Бег по пересеченной местности», — вспомнились ему дни солдатских учений. Он поднял велосипед и понес его, балансируя. Куба был уже на середине мостика. Вдруг на одно мгновение в голове у него помутилось. Он ощутил толчок, его подбросило вверх, он круто шагнул в бок, покачнулся, выпустил велосипед. Раздался всплеск воды, и дышать стало нечем. Куба вскочил, брызги слепили ему глаза, перед ним промелькнула тень, более темная, чем река. Он пригнул голову, палка опустилась на плечо, он почувствовал жгучую боль, рука сразу онемела. Куба вслепую толкнул нападавшего и по шуму воды догадался, что тот покачнулся. Тогда, подхватив велосипед, Куба заслонился колесом от нового удара и бросился вперед. Он размахнулся, но не попал, — его оглушил удар по голове. Стиснув зубы от боли и бешенства, он перескочил через затрещавший под ногами велосипед и настиг врага. Вцепившись друг в друга, они катились по песчаному берегу. Куба брал верх. Он сжал коленями бедра противника, развел и придавил к земле его руки. Нагибаясь все ниже, он почти касался лбом его лица, слышал, как хрипло он дышит, чувствовал, как несет от него водкой. В ту же секунду, прежде чем Куба успел увернуться, Константин треснул его головой в челюсть. У Кубы снова помутилось в голове, мускулы ослабли.

— Ах, предатель!..



Константий подтянул колено к самой груди. Два удара кулаком в подбородок снова придавили его к земле. Третий удар наотмашь пришелся по щеке.

— Вот тебе, пьяница!

Тогда Константин напрягся и, изо всех сил ударив его ногой, вскочил и бросился бежать. Он вцепился пальцами в крутой берег, из-под его ног осыпался песок. Куба, который уже нагонял его, задержался, чтобы разбежаться перед прыжком. «Не уйду! Он узнает меня!» Холод ужаса охватил внезапно Константия и направил его руку. Движением, опередившим мысль, он сунул руку под блузу, за пояс, выхватил из полотняного мешочка обломок косы и всадил в грудь брата. Прямо перед собой, совсем близко он увидел широко раскрытые глаза Кубы, они были темнее ночи.

— Конста...

Куба разжал руки и опустил голову на плечо Константия; медленно оседая, он вдруг раскинул руки и упал навзничь...

Что-то шелестело, что-то шумело, а на верхушке сосны полоскался раздуваемый ветром флаг; потом вдоль палаток галопом проскакал Гнедой; перед глазами поплыли красные и желтые круги и вдруг раздался сперва далекий, потом все более близкий голос:

— Изгоните из меня нечистого...

Болек проснулся и стал озиаться, не понимая, где он находится. В хате было непривычно светло. Свет резал ему глаза. Черная туча всполошившихся мух гудела над печкой. Постель бабки была пуста. Старуха занавешивала окошко платком. Посредине хаты стояла Гунда, она прижала руки к вискам, подняла вверх локти и все покачивалась из стороны в сторону медленно, однообразно. Перед нею на коленях стоял Явор, держа в руке зажженную сретенскую свечу. Он обращал лицо то к Гунде, то к старухе. В глазах его застыли дикий испуг и отчаяние.

— Нечистый попутал, изгоните из меня нечистого, окурите кадилом, перекрестите свечой...

— Скажи, скажи лучше, где ты его оставил! Может, он жив!

— Умер, умер, умер... Брата я убил, родного брата, слушайте, слушайте, брата Кубу я убил...

Он упал ничком на глиняный пол и, выронив свечу, стал рвать на себе волосы, биться лбом оземь, стонать, пла-

кать и хрипло кричать. Потом, дотянувшись до ног Гунды, обхватил ее колени.

— Я не хотел... Верь мне... Не выдавайте меня, я не хотел...

Быська села на лавку и, держа четки за крестик, быстро без остановки крестилась им.

— Сними святой образ, — сказала она Гунде, — пусть поклянется, что не хотел убивать.

Гунда отошла в угол, взяла ведро, плеснула водой на Явора. Он попрежнему стоял на коленях. Она схватила его за плечи.

— Убийца! Нет тебе пощады. Ты — Каин!

Он устремил на нее обезумевшие глаза и проговорил:

— Нет пощады. Смертный грех.

— Где он? Где Куба?

— На реке. Около брода. Там я его... Ножом.

Он сказал это тихо, и тотчас лицо у него исказилось, он прижал скрюченные пальцы ко лбу, к глазам и весь изогнулся, набирая воздух для вопля.

— Расступись, мать сыра земля!..

— Не креститесь, мама, — сказала Гунда. — И образ не поможет. Подите сюда, помогите мне втащить его на постель. Поди и ты, Болек.

Явор схватил Болеска за руку, но мальчик вырвал ее, дрожа от ужаса и отвращения.

— Сын... Сынок родной... Спаси...

Они даже вдвоем не могли справиться с Явором; он припал к краю постели, уткнулся головой в перину и так, полулежа, полустоя на коленях, рыдал. Внезапно рыдания перешли в громкий пьяный храп.

Болек все еще не понимал, все еще не верил. Он посмотрел на Гунду и на бабу, поднял и положил на стол сретенскую свечу и вдруг увидел, что по щекам мачехи текут круглые, крупные слезы.

— Дядя Куба! — крикнул он.

— Болек, — всхлипывала Гунда, — что делать? Боже, боже... не знаю... Беги, Болек, за кем-нибудь... За кем... Один Мысонь...

Сделав над собой усилие, Гунда приказала:

— Беги за Мысоном. Он его споил. Пусть теперь поможет.

На дороге ветер кружил столбы песка, затихал и снова поднимался. Было еще темно, но край неба на востоке чуть-

чуть посветлел. В два прыжка Боек одолел ступеньки крыльца и стукнул кулаком в дверь.

— Пан Сикора! Пан Сикора!.. Явор человека убил!..

Вдвоем они помчались напрямик через поле, спотыкаясь на густо заросших межах, перепрыгивая через кротовины на полях, лежавших под паром. Наконец они добежали до домика Мруза.

— Куда ты... — остановил Мруз Анну. — Останься. Это не для тебя.

Голос у него был суровый и сдавленный, говорил он с трудом.

Она отвела его руку:

— Я пойду к Грелям.

— Скажешь Ядвисе?

— Не знаю. Надо послать кого-нибудь в Немжу. Там есть телефон.

Придя к месту происшествия, они увидели, что их уже опередили. На берегу поблескивали электрические фонарики, а чуть поодаль ярко горели факелы. Пионеры уже уложили Кубу на носилки. Под распахнутой рубашкой белела перевязка.

— Что с ним? — едва слышно прошептал Мруз. Он чувствовал, как Боек сжимает и разжимает пальцы в его руке.

— Жив. Рана глубокая. Он без сознания...

— Когда вы его нашли?

— Четверть часа назад. Наши дежурные совершали обход вдоль берега и услышали стоны. Голова у него была в воде, но здесь мелко, он от воды приходил в себя.

На просеке затрещал мотор.

— Наш мотоцикл, — сказал Стефан Вайда. — Инструктор уезжает в город за скорой помощью и за милицией.

И вдруг Сикора пожал руку Тадеуша и побежал между деревьями прямо на свет фары.

— Гражданин! — крикнул он. — Я еду с вами.

Они понеслись по ружанецкому шоссе, сильно сократив этим дорогу, и меньше чем за час были в Невыхове.

— Вы знаете, где больница? — спросил Сикора.

Инструктор уездного комитета ЗМП, возглавлявший в Беляве пионерский лагерь, обиделся.

— Ба, — фыркнул он, явно подчеркивая свое превосходство. — Моя мать санитарка...

Но Збышек не смутился.

— Вот и хорошо, — одобрительно сказал он. — Отправляйтесь туда и вернитесь с каретой, нужно показать им дорогу. А я сообщу в милицию. Как туда пройти, я знаю.

Дежурный по комиссариату выслушал Сикору, позвонил по телефону и коротко, лаконично передал донесение. Со стороны могло показаться, будто ничто его не удивляет и не возмущает. У него было еще очень молодое лицо с впалыми щеками, до половины затененное козырьком фуражки, глаз не было видно. Кончив писать, он снял фуражку, вытер платком густые седые волосы, внимательно поглядел на Сикору и сказал:

— Я был с Якубом в одном лагере. Знаю его и по Ружанцам... Его должны спасти.

Он выдул окурок и положил стеклянный мундштук на край стола — стекло зазвенело, так дрожала его рука.

«Вот оно как, — думал Сикора, притихший и уже совершенно спокойный, — значит, вот оно как бывает, совсем просто, стоит сюда прийти, если что-нибудь случится...»

В дежурную комнату заходили все новые люди, Сикору еще расспрашивали о подробностях, но теперь уже все торопились. На дворе загудел мотор, и милиционер поднял на Сикору несколько удивленные глаза.

— Вы ведь из Белявы? Почему же вы не идете? Поезжайте вместе с ними.

Сикора встал, перегнулся через деревянный барьер и сказал:

— Позвоните, гражданин, еще раз. Я вас прошу... У меня тут другое дело, мое собственное. Я с ним мучаюсь восемь лет...

Гунда в каком-то оцепенении ждала возвращения Болека, ждала Мысоня. Прошел час, другой. Константин повалился на пол около постели, стянул на себя перину; он кричал во сне, вскакивал, снова падал и храпел. Она смотрела на него с ненавистью, какой никогда еще не знала, глаза у нее были сухи.

— С ума сойти можно. Кому я столько лет верила...

— Что ты говоришь? — очнулась Быська.

— Уходите, мама, отсюда. Страшно сидеть с этим зверем... Уходите. Побудьте с детьми, они ведь одни.

Гунда словно очнулась от долгого сна.

— Нужно было сразу к солтысу...

На пороге хаты Грелей сидел Болек. Он оперся головой о створку двери, руки у него повисли вдоль тела. Шаги мачехи разбудили мальчика.

— Его уже повезли, — сообщил он усталым голосом. — В больницу.

— Жив! Боже милостивый!

— Может, выживет, а может, и нет, так они сказали. Мама... — Болек встал, губы у него задрожали, — он ведь выживет, правда?

Рассвет едва брезжил, но в хате солтыса был слышен шум голосов.

— О нас там советуются, — вздохнул Болек.

— Несчастливая Ядвися...

— Она поехала с дядей, останется пока при нем в Невыхове...

Из сеней выглянул Греля; лицо у него пожелтело, глаза лихорадочно горели.

— Мы уже знаем, Гунда. Возвращайтесь домой, а мальчика оставьте. Ты, Болек, пойдешь с Мрузом. Тебе дадут поесть, ты выспаться должен.

— Это ты сказал про отца? — шепотом спросила Гунда.

— Я.

— Правильно сделал.

Она хотела приласкать мальчика, но ее смутил по-взрослому суровый блеск его глаз.

— Нет у меня отца, — сказал он.

Болек шатался от усталости, и Тадеуш почти нес его к себе домой. Анна шла рядом. Эта ночь оставила след на ее лице. Худые щеки Анны, казалось, озарял скрытый внутренний свет. От ветра из-под платка выбилась прядка темных волос, одна серебряная нить отделилась и колыхалась над бровью, как зыбкий луч. Тадеуш, поддерживая мальчика, шедшего посередине, дотянулся до Анны, обнял ее за шею.

— Вот видишь, — говорила она, — все-таки не пропали даром мои труды и ученье в школе... Не к Мысоню пошел он за помощью. — Она кивнула головой в сторону Болека.

— Да, — ответил Тадеуш. — Да.

Он переждал, пока стихнет внезапно поднявшийся ветер, и наклонился к Анне.

— Сегодня я принял решение, — сказал он. — Там, около Кубы. Ты знаешь, о чем я говорю?

— Кажется, знаю.

— Я намекал тебе однажды, когда Щепанеки у нас ночевали.

— Помню.

— Подождешь меня и на этот раз?

Глаза ее улыбнулись.

— Я останусь здесь и никуда не уеду. Мы научились ждать друг друга — и ты, и я.

— Дождемся? — голос его задрожал от беспокойного чувства, которое ей было так хорошо знакомо.

— Дождемся. Я верила в это с самого начала.

— Ты терпеливая, Аня.

— А ты мне верен, мой дорогой.

Теперь они вдвоем вели Болека.

— Он останется у нас?

— Где захочет. Грели тоже говорили, что возьмут его к себе. Но мне хочется, чтобы он был со мной. Ты уедешь...

— Так будет лучше. Кончатся для мальчишки дни неволи.

— Уже кончились. Никто ему теперь не запретит учиться.

— Ты отвезешь его в Небожин?

Анна нагнулась, повернула Болека лицом к себе.

— Болек, ты как думаешь? Ты слышал, о чем мы говорили?

Он ответил тихим, полусонным голосом:

— Вы такая хорошая, пани... Там, в Небожине, меня еще не станут учить музыке, примут пока в такую же школу, как здесь...

— Значит, ты хочешь до седьмого класса жить у меня?

— В Беляве. Но потом уж непременно, да?

— Даю тебе слово. Непременно.

— И дядя Куба выздоровеет...

— Аня, — сказал Мруз, — надвигается гроза. Надо поторопиться.

Он взял Болека на руки и понес, как маленького ребенка, — ему было не очень тяжело. Они как раз подошли к дому, когда налетел первый сильный порыв бури. Болек не слышал ее грозного шума. Он спал.

Явор долго просыпался. В хате дребезжали стекла. Он поднял голову. За окном клубилась желтая, мутная пыль. Явор встал, он задыхался от страшных ночных видений, голову у него ломило. Он облокотился о стол. Свеча, которую он толкнул, покатила на пол. И вдруг все ясно пред-

ставилось ему. Он вскрикнул. Сунул руку за пояс, ножа не было. Явор был один в хате. Он выбежал в сени, запер дверь на засов. В хате стало так темно, словно снова наступила ночь. Он подошел к окну. На миг сквозь разодранную вихрем стену пыли пробилась огненная заря, блеснула и снова погасла, как будто ее захлопнули крышкой. От сосен с холма неслась, громоздясь, плотная лавина песка. Она промчалась через поле Явора, взметнула копны ржи, закружила в воздухе снопы, и вот ураган уже пронесся над дорогой, повалил плетень, с треском обломил ветви яблони и обрушился на стену дома. На чердаке что-то тяжело грохнуло, затрещали балки, посыпалась известка. Явор съежился, закрыл руками голову.

Сразу, безо всякого перехода, стало тихо, шумел теперь только ливень. Вскоре и ливень стих так же внезапно, как и ветер; открылся край неба, багровый от утренней зари. Посреди двора, как бесформенный гриб, лежала крыша дома Явора. Константин заморгал, протер глаза. Из его хаты выбежала Хельця, постояла минутку у покосившейся стены, потом стремительно кинулась назад.

— Явор тяжело сел на лавку, опустил голову на стол. Мерно тикали часы.

— Рафал, Рафал! До чего ты меня довел! — вдруг завыл Константин.

Он бросился в сени, отодвинул засов, выбежал во двор и остановился как вкопанный. За поваленным плетнем, вдоль дороги, вокруг всего двора стоял народ: мужики и бабы, старики и молодые, даже дети. Некоторые пришли с лопатами, кто-то погрозил топором.

— Не уйдешь, бандит! — крикнул паренек с желтыми, как солома, волосами.

— И не пробуй! — подхватил стоявший у ворот маленький Баланек.

Бабы выкрикивали проклятия, ругали его, грозили кулаками.

Явор отступил в сени. Он приставил к лазу клетку для кур и взобрался по ней на чердак. Печную трубу повалила буря, и среди прогнившей соломы валялись груды кирпича и глины. Над продырявленной крышей ясно небо. Раздвигая солому и озираясь по сторонам, Константин пополз на четвереньках вдоль стропил. Но и со стороны рощи народ преградил ему путь к бегству. Он спустился вниз, вошел в хату и издали, так, чтобы его не увидели с ули-

цы, поглядел в окно. Потом закрыл глаза, сжал пальцы и замер, охваченный одним напряженным, мучительным желанием, чтобы скорее произошло то, чего ждет он и все эти люди на улице. «Двум смертям не бывать», — подумал он в отчаянии. Услышав шум автомобиля, он окинул взглядом хату, взял с лавки шапку и вышел.

Он покорно дал надеть на себя кандалы, сам протянул руки. Не проронил ни слова, когда его выводили на дорогу.

— Попрощайтесь с женой, с детьми, — негромко сказал офицер.

Они остановились. Гунда шла к ним, ведя за руку маленького Антося. Хельця стояла у порога; пряча лицо в подоле рубашки, она смотрела на всех с любопытством и страхом.

Гунда остановилась в нескольких шагах от Явора и ближе к нему не подошла.

— Ты не убил его, — сказала она с горьким милосердием.

При этих словах он затрясся, низко опустил голову и заплакал, как маленький.

— Плачь, — сказала Гунда. — Плачь и подумай о том, что ты натворил. — И она показала сперва на его наручники, а потом на дом — покосившийся, без крыши, с голыми стропилами.

Крестьяне неподвижно стояли вокруг. Когда за часо-венкой, за мостом затих шум мотора милицейской машины, Гунда воскликнула:

— Пусть возьмут того, кто повинен в этом несчастье!

Она вытянула руку, и все проследили взглядом за движением этой руки: пальцем Гунда показала на пышно разросшийся сад, над которым блестела железная крыша дома Мысонеи.

Греля шагнул вперед и сказал:

— Придет час, и он ответит перед законом. Прошло его время в нашей деревне. Все мы виноваты, все мы были слепы. Не один Явор... все мы поплатились.

Он широким взмахом руки обвел побитые бурей поля.

— Это господь послал испытание! — сказала жена Баланека.

— Соседи! Мысонеи и Нехоцких бог не тронул, потому что бы своими руками все скосили, сжали им и в риги свезли, а свое отложили напоследок. Не коснулось испытание и ксендза-настоятеля — спросите у тех, кто пошел к ранней

обедне. Но я должен сказать, что и в Ружанцах сегодня не все плачут, и вы сами знаете, почему.

— Как же так, солтыс? — удивился седенький старичок в колушке, несмотря на летнее время накинутом на плечи. — Что же вы Мысоней равняете с ружанецкими?

— Плохо вы меня поняли. Ружанецкие другим не вредят, со своими делами справятся, так еще соседям помогут. А Мысони...

— Солтыс, — прервал его один из членов громадского совета, — придет время, на собрании обсудим...

— Если люди согласны, так и теперь у нас собрание.

— Вы Гунде скажите, зачем мы сюда пришли.

— Вам, Гунда, — повысил голос Греля, — мы поможем в беде. Хату поправим, хлеба дадим. Так решила громада. Правильно я говорю?

Смешанный одобрительный гул голосов поддержал его.

— Я должен сказать вам также, что с нынешнего дня громада берет на свое попечение вашего Болека и будет содержать его. Мы будем нести все расходы на ученье, одежду и оказывать ему вместе с гминой всякую иную помощь, вам заботиться о нем не придется. Я первый, как сына, приму в дом сироту — мой сын в городе учится, да и дочка Ядвися, если бог даст, Якуб выздоровеет, тоже уйдет из дому. Да и не один я, и другие тоже подписались. И это по справедливости наш долг, потому что мы все тоже виноваты. При свидетелях говорю, так решила громада. Верно?

Все громко подтвердили, что верно.

Но Гунда не отозвалась ни единым словом, будто не слышала ни солтыса, ни всех остальных. Она все еще стояла вполоборота к ним, на том самом месте, где прощалась с Константием, и не отводила глаз от покосившегося угла своей хаты и голых стропил. К матери, крадучись, подошла Хельця и дернула ее за платье.

— Мама, пойдем, пойдем, бабушке худо, ксендза просит...

Гунда, не понимая, посмотрела на дочку. Потом перевела взгляд на свои красные руки, на платье, под которым вздувался живот, на босые ноги и обеими руками прикрыла то место на груди, где оторвалась заплатка и просвечивало голое тело. От Немжи, из-за сада Мысоней, из-за железной крыши их дома плыл колокольный звон. Костел напоминал верующим о воскресенье, возвещал начало торжественной службы.

Гунда отняла руки от груди. Прижав их к вискам и подняв локти, она стала покачиваться из стороны в сторону медленно, однообразно. И вдруг сказала:

— Люди добрые, неужели я не увижу лучшей жизни?

Неужели, Беява, ты не увидишь лучшей жизни?

Подумай.

Встал день над твоей скудной землею. Желтая пена все еще плывет по колеям дорог, буря засыпала песком полоски овса и картофеля, покрыла грязью бесчисленные борозды и межи. Солнце робко пробивается сквозь тучи, и лучи его падают на опустошенные бурей поля. Крепко пахнет люпин, по лугам после ливня стелется туман, в изменчивом свете то вспыхивают, то гаснут разметанные по жнивью снопы ржи, а дальше над ивами и ольшаником синеют леса.

Прекрасна ты, Беява, даже в горе, и голые поля твои полны надежды.

Ветер утих, издалека несется звонкий и чистый голос пионерского горна. Слушают его игру деревенские дети.

Прозвонят еще раз колокола в костеле. Пойдут люди в Немжу к обедне. Будут просить у бога прощения за бедствие, которое он на них наслал. Будут молить его, чтобы их собственную силу, в которую они не верят, он заменил своим могуществом. Бедные люди, послушные старым, темным законам.

Но сегодня еще раньше, чем они, встали на рассвете лучшие из твоих людей, Беява, чтобы заклеить преступников, оказать помощь несчастной женщине, спасти ребенка.

Пройдет и это воскресенье, Беява, и ты ляжешь спать перед новым днем труда. Пробудишься ты на рассвете в понедельник, но разве для той же жизни? Разве ты не слышала призыва Гунды Явор? Разве ты не хочешь лучшей жизни?

Беява, моя родная!

Ответь!

ВИЛЬГЕЛЬМ МАХ

Польский писатель Вильгельм Мах родился в 1917 году в селе Каменке, неподалеку от Кракова. Он рано лишился родителей и рос сиротой. Детские и отроческие годы его прошли в деревне. В 1936 году Мах уехал в Краков, где после окончания Высшего педагогического училища был призван в армию.

В сентябрьские дни 1939 года, когда гитлеровские полчища вторглись на территорию Польши, Мах с оружием в руках сражался против захватчиков. Как и для всего польского народа, сентябрьская катастрофа явилась для Маха тяжелым ударом.

Во время оккупации Мах жил главным образом в Кракове и принимал активное участие в работе нелегальных кружков. Уже после освобождения Польши, в 1947 году, Мах окончил Краковский университет по отделению польского языка и литературы.

Творческую деятельность писатель начал в 1945 году, когда польский народ стал строить новую, свободную Польшу. Как и многим другим представителям польской интеллигенции, Маху нужно было отрешиться от старых взглядов на жизнь, принять новое искусство. Этот путь перестройки мировоззрения не был для писателя легким. Однако уже первые его произведения — новеллы, очерки, роман «Ржавчина» — показали, что в лице Маха польская литература получила нового одаренного прозаика, способного живо откликаться на запросы времени и глубоко проникать в психологию своих героев.

Большую роль в формировании мировоззрения Маха сыграла писательская конференция, состоявшаяся в 1951 году. О значении этой конференции Мах писал: «Мы пришли в одиночку, а ушли, став коллективом. Мы хорошо поняли свое единство с народом».

Почувствовав себя членом большого коллектива, Мах становится активным участником строительства новой жизни. «Красота новой жизни, — пишет Мах, — которой я когда-то так боялся, стала моей собственностью. Я принимаю наступающий день просто, по-хозяйски. Каждый даст ему урожай своего труда».

Писатель все чаще начинает обращаться к новой для него тематике, новая жизнь и строители этой жизни прочно входят в его произведения.

В романе «Дом Явора» (1954) изображена польская деревня в период с 1939 по 1954 год. Рассказывая о событиях большого исторического значения, Мах берет хорошо знакомую ему с детства действительность и рисует перед читателями героев такими, какие они есть, со всеми их противоречиями. Читатель чувствует, что Мах любит людей, страдает за них и умеет видеть в человеке прежде всего человека. Но в душе писателя живет и ненависть к тому, что задерживает и мешает становлению новой жизни в Польше. Именно эти чувства — любовь и ненависть — помогли Маху создать произведение, к которому трудно остаться равнодушным.

З. Холонина.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. В Беяве	5
II. Крестины	13
III. Семейная хроника	30
IV. Деревенские дела	45
V. Новый год	69
VI. Музыка. Расставание	81
VII. Переезд	98
VIII. Дороги в Беяву	110
IX. У Терезы	124
X. Школа	140
XI. Лес	156
XII. Пастбище	164
XIII. Ружанды. Красная лента	178
XIV. Первая любовь	195
XV. Гнедой	214
XVI. Небожин	235
XVII. Ночь и утро	251
З. Холонина. Вильгельм Мах	276

В. Мах
ДОМ ЯВОРА

Редактор *Е. Н. КОСТРОВА*
Художник *Б. Н. Гладков*
Технический редактор *М. А. Есеева*
Корректор *Т. П. Пашковская*

Сдано в производство 2/VII—1956 г.
Подписано к печати 15/X—1956 г.
Бумага 84×108^{1/2}—4,4 бум. л.
14,4 печ. л. Уч.-изд. л. 15,3
Изд. № 12/2863. Цена 7 р. 65 к.
Заказ 554.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, Ново-Алексеевская, 52.

20-я типография Главполиграфпрома
Министерства культуры СССР
Москва, Ново-Алексеевская, 52